

НОВЫЙ Журнал

105

THE NEW
REVIEW

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Act of August 12, 1970: Section 3685, Title 39, United States Code)

1. Title of Publication—The New Review.
2. Date of Filing—Sept. 28. 71.
3. Frequency of issue—Quarterly (March, June, September, December).
4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.

5. Location of the headquarters or general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

6. Names and addresses of publisher, editor, and managing editor—Publisher, The New Review Incorp. 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025; Editor, Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N.Y. 10025; Managing editor, Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N.Y. 10025.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given.)

The New Review Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025; Alexis Goldenweiser, President 523 West 112-th Street, New York, 10025; Zoya Yurieff, Secretary 46-04, 196-th Street Flushing, N.Y. 11358; David Shub, Treasurer 355, 8th Ave., New York, N.Y. 10001.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages or other securities.—None.

9. For optional completion by publishers mailing at the regular rates (Section 132.121, Postal Service Manual).

39 U. S. C. 3626 provides in pertinent part: "No person who would have been entitled to mail matter under former section 4359 of this title shall mail such matter at the rates provided under this subsection unless he files annually with the Postal Service a written request for permission to mail matter at such rates."

In accordance with the provisions of this statute, I hereby request permission to mail the publication named in Item 1 at the reduced postage rates presently authorized by 39 U. S. C. 3626.

(Signature and title of editor, publisher, business manager, or owner).—Roman Goul, Editor.

10. For completion by nonprofit organizations authorized to mail at special rates (Section 132.122, Postal Manual).

The purpose, function, and nonprofit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purposes.—Have not changed during preceding 12 months.

11. Extent and nature of circulation

	<i>Average No. of copies each issue during preceding 12 months</i>	<i>Actual number of copies of single issue published nearest to filing date</i>
A. Total No. copies printed (Net Press Run)	1600	1600
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	380	369
2. Mail Subscriptions	1188	1180
C. Total paid circulation	1568	1549
D. Free distribution by mail, carrier or other means		
1. Samples, complimentary, and other free copies	20	20
2. Copies distributed to news agents, but not sold	—	—
E. Total distribution (Sum of C and D)	1588	1569
F. Office use, left-over, unaccounted, spoiled after printing	12	31
G. Total (Sum of E & F—should equal net press run shown in A)	1600	1600

I certify that the statements made by me above are correct and complete.
(Signature of editor, publisher, business manager, or owner)—Roman Goul, Ed.

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Тридцатый год издания

Редактор: РОМАН ГУЛЬ
Секретарь Редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, December 1971
Quarterly, No. 105
2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
Subscription Price \$15. — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York N.Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

<i>Забывтый рассказ Владимира Соловьева</i>	5
<i>И. Чиннов — Стихи</i>	10
<i>И. Ельцов — Крюк</i>	11
<i>Ю. Иваск — Стихи</i>	40
<i>М. Андреев — Перекресток</i>	41
<i>Н. Моршен — Стихи</i>	58
<i>Г. Газданов — Эвелина и ее друзья</i>	59
<i>И. Чиннов — Стихи</i>	75
<i>В. Вейдле — Толстой об искусстве</i>	76
<i>И. Елагин — Стихи</i>	114
<i>Г. Адамович — Бунин. Воспоминания</i>	115
<i>Д. Кленовский — Стихи</i>	138
<i>Н. Андреев — Отчина и ее автор</i>	139
<i>В. Перелешин — Стихи</i>	142
<i>Т. Фесенко — Леся Украинка</i>	143
<i>Г. Глинка — Стихи</i>	163
<i>Н. Первушин — Встречался ли Достоевский с Гоголем?</i>	164

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Н. Туров — Падение Ростова</i>	173
<i>Г. Вернадский — Крым</i>	203
<i>Письма И. Бунина к Л. Зурову</i>	225
<i>Д. Шуб — Из давних лет</i>	232

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>К. Павлов — ООН и КНР</i>	240
<i>А. Авторханов — Вечный Микоян</i>	249
<i>В. Ильин — Достоевский и Бердяев</i>	260

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

<i>Н. Андреев — Л. Ф. Зуров</i>	274
<i>Е. Винавер — О поэзии Михаила Кантора</i>	276

БИБЛИОГРАФИЯ: <i>В. Вейдле — Об исторических трудах Н. Е. Андреева. Др. Д. Викор — Б. Ижболдин. История мысли русских немарксистских экономистов. Ю. Сречинский — Полвека русской периодики (1917-1968), составлено М. Шатовым под ред. Н. Хэйл. Е. Климов — К. Петров-Водкин о Живописи. Т. Фесенко — В. Петров. Колумбы российские. Т. Фесенко — Борис Крюков. Р. Плетнев — Ода «Бог» Державина. — Письмо Н. Е. Андреева Р. Б. Гулю об «Августе 1914-го»</i>	282
--	-----

PRINTED BY WALDON PRESS, INC.
216 West 18 Street, New York, N.Y. 10011

ЗАБЫТЫЙ РАССКАЗ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА

Рассказ Соловьева, «Отрывок из одного дневника», был напечатан в 1900-м году — год смерти Соловьева, в альманахе «Денница», изданном под редакцией П. П. Гнедича, К. К. Случевского и И. И. Ясинского, стр. 194-198. Больше всего в альманахе было поэзии. Отдел прозы был много короче. Подбор авторов был довольно пестрый. Нашел я этот рассказ совершенно случайно. Упоминаний о нем в литературе я никогда не встречал.

Стиль рассказа своеобразный. Собственно это запись бреда. Воображаемый автор дневника устал от своих «досточтимых корреспондентов», от множества получаемых им писем, на которые приходится сочинять «скучные и живые ответы», «от несчетноголовой, несчетноименной гидры всероссийского праздномыслия, празднописания и неделания». Это — сущее рабство, ад земной. И он уходит в мечтание о временах древних, временах древнего рабства, которое было, по крайней мере, полно жизни, хотя и грубой. Скуке противопоставляется бурная страсть. Весь «отрывок» в стиле Гофмана. Гофмана Соловьев переводил в свои ранние годы.

До сих пор был известен только один рассказ Соловьева: «На заре туманной юности», имевший автобиографический характер, — впервые напечатан в майской книжке «Русской Мысли» 1892-го года. «Повесть об Антихристе», впрочем, тоже в известном смысле «рассказ», в утопически-фантастическом стиле. Когда точно был написан переиздаваемый теперь рассказ, остается неясно.

Прот. Георгий Флоровский

Владимир Соловьев: Отрывок из одного дневника

Не так давно умер в Петербурге скоропостижно один литератор. Я не знаю, было-ли вскрытие, но думаю, что он сам покончил с собою. У него на столе были найдены последние листы дневника, писанные, повидимому, в день смерти. Мне разрешено их напечатать, разумеется, без имени. Покойный был классик и всегда издевался над декадентами. Но он под конец, очевидно, сделался декадентом в душе. Эти листки представляют явно-психопатический характер и с этой стороны могут быть любопытны.

Нет, не могу больше терпеть этого адского состояния. Перед ним настоящее рабство, действительная каторга — идеал жизни человеческой. Сколько раз я всею душой уносился в мечтания о временах древнего рабства и воображал себя собственностью какой-нибудь одной известной мне семьи, которая могла-бы быть доброю, патриархальною, и я жил-бы как у Христа за пазухой, на всем готовом, мирно отдавшись полезному труду по своим способностям, в простом добром согласии и общении с богами, с людьми и с прочею тварью. А попались дурные господа — тут интерес действительного трагизма, и притом двоякого, на выбор: или трагизм внутреннего подвига, или трагизм и надежды внешней борьбы. Положим, я молод и к ресигнации не способен — выбираю борьбу. Мой злой господин, зная, что я литературно образован и притом слаб здоровьем, нарочно, вместо того, чтобы давать мне переписывать в доме греческие и латинские рукописи, или переводить сирийские и халдейские, заставляет меня целые дни работать мельничными жерновами на открытом воздухе и кормит овсянкой, как собаку. Через год такой жизни становлюсь Геркулесом — простите предсмертный каламбур. Ну, думаю, погоди ты, недочищенный варвар! Всю ту силу, которую теперь трачу понапрасну на то, чтобы быть неизменно учтивым со всем множеством своих принудительных корреспондентов, — я сосредоточил бы тогда на одном: приобрести расположение своего господина, чтобы вернее покончить с ним. Нравственных сомнений у меня не было-бы, да и не

могло-бы быть, ведь я военно-пленный, и мой победитель своим обращением доказывает мне, что военное положение между нами не кончено; значит, здесь всякий обман есть позволительная и одобрительная военная хитрость; притом другого-то оружия у меня пока и нет.

И вот мне удастся расположить к себе злого господина и стать главным управляющим. Как всякий главный управляющий, я живу барином и, главное, имею много свободного времени, чтобы хорошо обдумать свой замысел и подготовить его исполнение, — а отказываться от него из-за хорошей жизни я уже никак не стану: я знаю, что мгновенная прихоть злого и глупого хозяина может меня вернуть к мельничным жерновам и овсянке, а то и привязать на крест. Господин едет осматривать свои поместья в южной Италии и берет меня с собой. Что за красота этот объезд Парфенопейского залива между лазурным морем, светлыми серыми горами, и розовым небом по вечерам! Разжиревший варвар ничего не понимает и дрыхнет, сопя и поминутно икая, в своей дурацкой колеснице. Наслаждаюсь один я и зрелищем прекрасной страны, и предвкушением еще иного, жгучего наслаждения. Я уже завел знакомства и сговорился с сицилийскими пиратами. Господин ужинает в своей вилле и, в знак особой благосклонности, велит мне служить ему за столом. А рабы на вилле уже стороною обработаны, но без моего видимого участия, а то бы, наверное, нашлись предатели. Прислуживая хозяину за ужином, я обдумываю, чем бы его прихлопнуть. В Риме, когда я получил от него в первый раз много серебра в дар, я сейчас-же пошел к одной ведьме и отдал ей это серебро за драгоценный яд, привезенный ею из Индии. Я мог-бы теперь легко поднести его хозяину в вине или подливке, но мне вдруг захотелось своими глазами посмотреть, какая кровь у этого животного, и я решил приберечь яд до другого случая, а хозяину лишь понемногу убавлял долю воды в чашах с вином. Когда-же он, охмелевши захрапел, я вышел в сад, еще раз поглядел на серебрянное море и, взяв хороший белый камень, вернулся к своему единственному врагу и, с радостным замиранием сердца, разможил ему голову.

Лампады ярко светили. Я увидел красную струю, но мне показалось мало видеть, я прильнул к ней губами и потянул в себя теплую противную жидкость. Вдруг мертвый как-будто затрепетал и вздохнул. Я на миг испугался но тотчас-же понял, что это были только газы. Я пошел на кухню, взял большой острый нож, которым разрезали свиные туши, и вернулся к мертвому, чтобы отрезать ему голову. Это было дело не легкое: не за что было ухватить эту безбородую и лысую голову. Наконец, мне удалось перерезать шейный позвонок и, завернув голову в кухонное полотенце, я привязал ее к своему поясу для поднесения в дар кому следует. Между тем, морские разбойники причалили и, встреченные нашими рабами, как освободители, занялись сообща грабежом виллы, а потом зажгли ее. Я видел ее зарево, когда горными тропинками пробирался в лагерь Спартака, с легким мечом у бедра и тяжелым трофеем за поясом.

Какой яркий сон! А действительность? — Эта груда писем и сочинение скучных и лживых ответов. У-у-у! Раб может обмануть и убить своего господина и убежать к Спартаку, но какой Спартак, или какой Алкид, избавит меня от несчетноголовой, несчетноименной гидры всероссийского праздномыслия, празднописания и неделания? Каким камнем размозжу я эти бесчисленные головы и какую простоквашу буду тянуть из их артерий! Нет, конечно, не хочу! Знаю, что иду в ад, — я не так наивен и прекраснодушен, чтобы не верить в Бога и в дьявола. Знаю, что иду в ад, но знаю также, что там будет лучше. Досадно, конечно, что и в аду люди живут (не говоря уже о чертях), но, по крайней мере, писем-то уж не будет.

Нет, — *Главный ад, Геенская улица*, — на почте таких адресов не принимают. Знаю я все аргументы против самоубийства и знаю, что все они справедливы, но перед одним мигмом уверенности, что вот завтра не придется принуждать себя писать неизвестным лицам о неинтересных вещах перед мыслью о возможности этой сдачкой уверенности умолкают все рассуждения.

Прощайте, досточтимые мои корреспонденты, прощайте,

люди столь пустые, что даже тот микроскопический ореол публичного мужчины, что украшает мою голову, возбуждает в вас неудержимое стремление почтовым путем приобщиться к его сиянию. Прощайте, бесчисленные нули, все не с той стороны заходящие за мою единицу, — счастливо оставаться.

На этом рукопись оканчивалась. Предшествовавшие листки, вероятно сожженные самоубийцей, объяснили бы, как развилась его душевная болезнь. Возможно, впрочем, что она имела только физические причины. Дело темное.



Прощайте, Кошей Кощеич!
Еще кощее Кощея
Средь пищи, вещей и чая
Пищала тощая шея,
Несчастье нам завещая.

Но души наши витали
Рассеянно в эмпиреях,
В Равенне, где Сан Витале,
В заоблачных Пиренеях,
В Египтах лазурно-смуглых
Династии Птолемеев,
В туманных крикливых джунглях
Среди лиловых пигмеев.

И мы улетели в лепет
Земфиры, зефира, эфира!
В лазурном и лунном небе
Нашли мы Царевну Лебедь,
Чертог изумрудной игрушки,
Прекрасной Царевны Лягушки.

Прощайте, Кошей Кощеич!
Здорово, Иван Царевич!

Игорь Чиннов

КРЮК

«Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жизни... Зачем? Хочет он узнать смысл и цель своего существования, ему не говорят или же говорят нелепости; он стучится — ему не отворяют; к нему приходит смерть — тоже против его воли».

А. П. Чехов «Палата № 6»

Еще будучи студентом художественного института, Ломакин отличался самобытным талантом и упорным характером. Его учебные работы вызывали споры, институтские дискуссии и зависть середняков. Преподаватели прямо говорили: «Ломакин надежда выпуска. Он еще сам не знает, не сознает, какой силищи художник сидит в нем».

Для работы над дипломом, кафедра предложила ему поехать на целину. Через шесть месяцев, куча эскизов и полотно огромных размеров, — «Хлеб целинный», было показано руководителю дипломом, доценту Евгению Кирилловичу Рудо-

Автор рассказа «Крюк» — Игорь Иванович Ельцов родился в 1928 г. в Эстонии. По окончании Всесоюзного Государственного Института Кинематографии по режиссерскому факультету работал в Таллине в «Таллин-фильм» начальником и главным редактором сценарного отдела. Поставил фильмы «В доме остаются мужчины», «Незванные гости», «Под одной крышей», «Ноль три» и др. С 1959 г. состоял членом Союза Советских Кинематографистов. В декабре 1966 г. приехал в Англию с группой кинодеятелей и в январе 1967 г. «выбрал свободу». Живет в Лондоне. Опубликовал на Западе два рассказа — «Трансплантация» и «Грязные снега». Член лондонского Пен Клуба в изгнании. РЕД.

больскому. Седенький, сухопарый старичок глядел на представленную работу и молчал. Он был озадачен и встревожен. Этого он не ожидал. Нервный тик дергал его правый глаз и щеку... Это был результат восьми лет лагерей, по ложному обвинению в шпионаже и измене родины, в тридцатьседьмом. Эти годы оставили на нем печать осторожности и боязливости. Студента Ломакина он обожал. Ему нравились его способности, прямой и искренний подход к искусству. Главным Рудобольский считал подготовить студента к самостоятельной жизни в творчестве, к жизни, где много черствых и злых людей. Когда со студентами он ходил на выставки, почти всегда повторял одно и то же: «Талант, дети мои, это редкий дар столетия. Еще не было случая в истории, чтобы талант не был воспринят, как вызов. Дремлющая уютно, серая масса ремесленников плохо реагирует на яркий свет. Помните, нельзя пассивать, а главное, чтоб корни не подрубили... Помните у Пушкина: «Они любить умеют только мертвых»... кажется так? А?! Хорошо! Это о нас, о художниках сказал, страдалец великий, убей меня Бог из пистолета!». Этой любимой поговоркой постоянно завершалось, поучение ученикам.

Сейчас доцент, с явной растерянностью, смотрел с расстояния на полотно своего самого любимого ученика и не мог найти нужные слова для начала разговора...

Ломакин стоял рядом, кося глазом на учителя, ожидая его мнения. Евгений Кириллович положил руку на плечо дипломанта и не глядя ему в глаза с дрожью в голосе тихо заговорил:

— Голубчик! Вы же знаете, как я вас люблю. Вы были моим лучшим студентом... Да, с точки зрения художественного мастерства... Никто вас не упрекнет, это бесспорно удалось, но, помилуйте, как вы показываете объект?... Вы понимаете о чем я? Они же нас за это по головке не погладят. Простор и ощущение безкрайности вы передаете великолепно, но дождь и печально стоящие пирамиды зерна, уходящие в серое небо, ну, что вам стоило... ну,... хотя бы навес, брезент, на худой конец. А эти зловещие мутные потоки с золотым зерном... лужи... Помилуйте! Это нельзя показать кафедре. Я

вас умоляю, у вас впереди жизнь, подумайте. Перепишите, я выпрошу отсрочку защиты. Они вам эту работу никогда не простят! Комиссия вас срежет. Убей меня Бог из пистолета, пока не поздно, надо что-то делать. Милый Ломакин, у меня семья... и не время сейчас дергать тигра за ус. — Доцент уже не просил, молил, ломая сухие, длинные пальцы.

Уговоры не помогли. Ломакин представил картину к защите. После опонента слово взял председатель, маститый академик, прозванный «парадным генералом» за серию монументальных работ. Не вставая с места, поминутно отдуваясь, он назвал дипломника одаренным, но с явной тенденцией к пессимизму в творческом видении жизни, формалистический уклон заставляет насторожиться его, студент не твердо представляет себе основы марксистской эстетики. Затем, он долго говорил о великой миссии художника в социалистическом обществе и закончил речь словами: «Мы никому не позволим очернять нашу действительность и будем всегда бороться против буржуазного влияния!»

Ломакин после этого пал духом, потеряв всякую надежду на получение диплома. Но, все обошлось. Ему поставили тройку и больше всех радовался доцент Евгений Кириллович. По этому случаю вечер закончился в шашлычной...



Институт остался позади, началась жизнь художника... или, как часто говорят, — жизнь свободного художника.

С трудом, через знакомых, Ломакину удалось вскоре устроить небольшую студию-мастерскую, в одном из московских подвалов. Не хватало дневного света, но для начала и это не беда. Ломакин весь ушел в искусство. Он работал день и ночь, готовя персональную выставку. Через год он представил несколько работ для городской выставки. Комиссия отклонила. Рекомендовали «поработать над темой, над стилем...» Прошел еще год. Ломакин не бросал надежду на персональную выставку. Принес новые картины в Союз. На этот раз старшие коллеги дали ясно понять, что если он и впредь будет так работать — о выставке придется забыть.

Критиковали его за абстракционистские тенденции, за нежелание видеть жизнь во всей ее многогранности. Жизнь его делалась труднее и труднее. Ломакин упорно пробивался в одном направлении — быть в искусстве самим собой. За все время ему не удалось продать ни одной большой работы. Нужно было как-то жить. Скрываясь от друзей, по вечерам, после дня творческих мучений, он брал маленький чемоданчик и ехал на окраину города. Его ждали с нетерпением в женских общежитиях, где он выдавал себя за фотографа. Особенно ценились раскрашенные фотоснимки.

Но мысль о персональной выставке не покидала его, хотя он уже почти в нее не верил. Пробовал написать компромиссную композицию, что-то вроде — «Утро великой стройки», но дальше эскизов дело не пошло. Друзья подбадривали, хвалили. Но Ломакин отказался продолжать наотрез: «Не могу я... Не умею и не хочу! Если пишешь не от души, не от нутра, то бросай кисти. Вот, все это написано от души, и кое-кому нравится!»

Так бился он года четыре и однажды сдался, решив уехать из столицы, временно, на север, в надежде на лучшие времена, чтоб сохранить силы и здоровье. На реставрационные работы требовались художники и другие специалисты, об этом Ломакину сообщил приятель из Худфонда. По правительственному указу начали приводить в порядок разграбленные и разрушенные старинные, деревянные церкви Поморья. О реставраторах и старых храмах заговорили газеты. Увлечение русской стариной входило в моду в интеллигентской среде столицы. Говорить о Владимире, о Суздале, об Архангельском крае — считалось хорошим тоном. Ломакин подписал договор на год и укатил на север спасать полуразвалившиеся церквушки, которых еще не мало в тех краях на пустырях, да подле деревень.

Приехав в Архангельск, Ломакин сразу же пошел в Областной Отдел Культуры. Здесь с ним поговорили и направили в деревню Загрийе. Стоит эта деревня на песчанном пригорке-гряде, видимо отсюда и название. Деревню опоясывает небольшая, но глубокая и бойкая речушка, что впадает в устье

Северной Двины. Деревня древняя, дома деревянные в два ряда, добротнo срубленные из толстенных сосен. Смотрят дома окнами друг на друга через широкую дорогу, окна обрамлены ажурными наличниками. Самому молодому, самому новому дому, не меньше полсотни лет. Живут здесь издавна беловолосые да голубоглазые поморы, рослые, здоровенные.

Дом своей новой хозяйки пришлось искать недолго. Жила она на самом краю деревни, в высоком старом доме с глухим, по-северному, нижним этажем, который когда-то служил вместительным амбаром, чуланом и погребом. Недалеко от дома, над рекой, на обрыве возвышалась та самая церквушка, из-за которой и приехал Ломакин в Загравье. Восьмигранная, бревенчатой кладки, с вытянутым лукообразным прохудившимся куполом, без креста и колоколов. «Наверное на утильлом сдали, а деньги пропили, это у нас умеют», подумал Ломакин.

В этот утренний час, на фоне лилового холодного неба, церквушка являла собой печальное зрелище. Стояла она одиноко, сиротливо, глядя с высоты обрыва на широко раскинувшееся село.

«Работу надо будет начать с креста... Церковь без креста?.. Никогда не думал, что это может быть так грустно».

Он стоял и глядел на купол, вокруг которого с криками носились галки. Пахло дымом, где-то жгли на огороде мусор, кричали петухи, лаяли собаки... Поднявшись на крыльцо дома, Ломакин постучал в тяжелую еловую дверь. На стук никто не отозвался. Открыв дверь, он вошел в просторные темные сени. Пахло резко укропом и квашеными огурцами. Пригладился, нашел входную дверь в избу и снова постучал, на этот раз не так решительно... Но опять никто не ответил. Ломакин отворил дверь и остановился на пороге.

В передней, чистой горнице, опрятная сгорбленная бабка, лет семидесяти, возилась у большой русской печи, орудуя ухватом...

— Можно войти? — неестественно громко спросил Ломакин, полагая, что бабка туга на оба уха.

— Уж, в избе. Чего ж там, можно?... — сильно окая,

напевно, по-архангельски, отозвалась старуха, вытирая руки о подол. — Проходи, мил человек, садись. Может чайку с дороги... аль щец?

Ломакин вытер ноги о половик, поблагодарил бабку, снял ранец, чемоданчик поставил на лавку, выскобленную добела. Представился и протянул областную бумагу, — направление на жительство. Бабка строго и придирчиво оглядела прищельца. Бумагу положила на подоконник под цветочник.

— Прасковья Филипповна я. Кличут на селе Филипповной, оно сподручней и тебе.

Бабка засуеутилась, стала показывать комнаты, увешанные фотографиями и рисованными ковриками, потом стала ставить самовар. Ломакин приглядывался к новой обстановке. Первое, что бросилось в глаза, это — чистота. Пол был устлан домотканными половиками-дорожками, в другой комнате, что выходила окнами на улицу, Красный угол утопал в иконах, перед образами светился огонек лампадки.

Сели за стол.

— Чайку, это хорошо. Зябко нынче на дворе, — художник держал блюдце на пяти растопыренных пальцах, подражая старухе, он говорил и дул на горячий чай, приготовленный из каких-то местных пахучих трав. Пузатые помятые бока, начищенного до блеска, старинного самовара искаженно отражали предметы и сидевших за столом. Самовар попыхивал и уютно шумел.

— ...Сыновья мои пропали на войне. Трое было. Старик помер, царство ему небесное... Ты живи с Богом сколько тебе надо. Места вон сколько.

— У меня, Филипповна, план такой: приведу церковь в порядок, а там видно будет. Может и останусь, местá здесь красивые, люди добрые, чего больше человеку надо?

— Невестки бросили дом. Жили, жили, чего-то ждали, а чего ждать-то? Мертвые не вертаются. Молодые были, вот и укатили в город.

— Жизнь такая, убей меня Бог из пистолета. Сегодня не знаешь, где завтра будешь.

— А это нехорошо так про Бога... Грешно. Небось сам крещеный.

— Нет. Не в то время на свет объявился, наверно в войну и крестить-то некому было. Попов пересажали еще в тридцать седьмом.

Бабке этот разговор прихотился не по душе и Ломакин пожалел, что вместо «священников» сказал «попов». Попробовал замять начатый разговор:

— Это не ругательство, а так, присказка, от учителя осталось...

Так и началась у столичного художника-неудачника Ломакина новая жизнь на севере в Загравье. Ему сразу как-то повезло с людьми, а таких добрых и душевных людей, как поморы трудно найти в целой России. Ценят в здешних краях прямоту и честность. К скрытным относятся с опаской, не доверяют в разговорах, но если ты пришелся по душе — последний кусок отдадут.



Филипповна хранила ключи от церкви и вызвалась сама сопровождать Ломакина. Он шел впереди, она с большим ключем семенила за ним. Подойдя к дверям она перекрестилась. Ржавый замок не сразу поддался... Узкая, высокая дверь с визгливым скрипом отворилась. Птичьим помётом и сыростью дынуло в лицо. Вспугнутые голуби стайей шарахнулись из одного угла в другой, поднимая тучи рыжей пыли и пуха.

Косые, солнечные полосы света проходили в дыры прохудившегося купола, живописно бросая яркие пятна на стены. Бабка снова перекрестилась и зашептала слова молитвы... Ломакин стоял посреди церкви, задрав голову, оглядывая необычное деревянное сооружение. Еще в Архангельске ему сообщили некоторые данные об этой церкви. Построена в шестнадцатом веке, без единого гвоздя и скобы. В этом была ее уникальность. И кто знает, что случилось бы с ней, может разобрали бы на дрова, как не раз случалось в этих краях с деревянными церквями, если бы не простой случай. Летом на «Волге» прикатил из Архангельска, говорят по пути остано-

вился, знаменитый московский писатель-депутат, любитель старины. Целый день он ходил вокруг да около церквушки, охал да ахал. Филипповна отворила для него дверь. Он щупал стены, ходил взад-вперед и опять охал и ахал. Деревенские бабы решили, что пришел конец «храму», как они называли церковку. Скоро появилась большая статья о памятниках деревянной архитектуры севера, где много было сказано о загрявской церкви. Писатель назвал ее «уникальной северной красавицей» и предложил немедленно начать реставрационные работы.

— Кажись в двадцать шестом, перед колхозами, я уж запаматовала, — начала старуха разговор, — председатель наш, оглоед окаянный, велел комсомолам иконы на улицу выносить, да ими пешеходную дорожку мостить. Что поменьше были, бабы по чердакам в опилки попрятали, да по чуланам рассовали. И нынче можно найти на чердаках... в дома боязно было... Преседатель, Колька Рябой, так и сказал: «Найду в доме икону — сгною!» Сам, бес рябой, раньше других сгнил, прости Господи, какой-то нехорошей болезнью хворал года два и кончился, как прбклятый. Большими иконами от алтаря всю дорогу замостили, у Нюшкинова дома, что сопровтив нашего, кусок рябовского греха и поныне виден. Я так обхожу это место, трава там не растет, а Труханчик, писарь наш, все смеялся да ехидничал, раз шел домой по «грешному месту», темно было, доска выскочила, свалился, с тех пор на костылях скакает. Всех дохторей перевидел, а нога ходить не хочет. А бывало дело на праздники напьется и пляшет на этом месте. Я ему из окна по-хорошему: «Турханчик, шел бы домой», а он мне: «Филипповна, это я на зло бабам — богомолкам». Теперь шабаш, ползает по другой стороне. Да, и ныне, рыскают по деревням всякие девки стриженные в штанах с бородастыми мальцами. «Бабуся, нет ли иконки какой ненужной?» — «Зачем тебе иконка?», спрашиваю — «Да так, на память. Вон, та темная, ничего не видно, отдай иль продай. — Наши архангельские прямо требуют, в музеи еной место, бабка, того и гляди силком возьмут».

Излив душу бабка ушла, просила не забыть про ужин.

В церкви стало тихо, слышно было как каркают над куполом вороны и ветер шепчет в дырявой крыше. Ломакин в воображении развесил тусклые иконы по бревенчатым стенам, воздвиг золоченый алтарь, зажег свечи и впустил молящихся. Зазвучали голоса хора и густой бас дьякона потряс своды... Потом в купель опускали младенца и от счастья плакала молодая мать. Длиннобородый батя, качая в руках первенца, творил молитву, благословляя новоявленного христианина на жизнь... Это сменилось грустью, прощальной печалью; родные и близкие прощались с усопшим. Теперь уже другой голос читал заупокойную молитву... Огоньки тонких свечей трепетали, заставляя дергаться черные тени на стенах... Вдруг ярким светом озарились сотни ликов глядящих со стен, радостно запел звонкий хор и молодые застыли в первом брачном поцелуе... Вся деревня, которой уже давно нет в живых, поздравляла молодоженов... В пустом полутемном помещении церкви на коленях перед «Чудотворной» отбивает поклоны старушка, одинокая свеча почти догорела, а она все молится и молится...

Скрип двери оборвал поток фантазии, рисовавшей картины прошлой жизни церкви. Ломакин обернулся и смущенно улыбнулся. В дверь подглядывали деревенские мальчишки.

— Ну?... Чего глазееете?

Мальчишки захихикали, хлопнули дверью и убежали.

Снова стало тихо и мысли о прошлой глубокой истории церкви продолжали роиться в голове: «...За три века сколько же поколений здесь перебивало? ...Тут их крестили, венчали и отпевали... И если бы не рябой председатель, глядели бы люди на тебя, как на исходную и конечную точку в их простой жизни... Без церкви русскому нельзя», — размышлял художник, разглядывая сломанный крест, сдернутый веревкой в конце двадцатых. «Вот с креста и начну. Какая же церковь без креста?».



Скоро узнал Ломакин, что деревенские бабы-богомолки в течение нескольких десятков лет несли тайную охрану «хра-

ма». Как только кто из чужих появлялся на селе, они тут как тут. Для них это было священным делом. Проходя мимо церкви они останавливались, оглядывались... Подняв голову крестились на купол, хоть и не было креста. Когда бабы разузнали через Филипповну, что «товарищ художник» решил начать починку церкви с креста, он стал желанным гостем в деревне. Старухи толковали, что послан он в Загрявье в ответ на письма и заявления верующих, просивших у областного начальства об открытии «храма».

Шли споры... Одни утверждали, это мол уступка «центра». Другие прямо говорили: «Как-же, ждите, когда рак на горе свистнет! Музей будут делать, бабыньки, антихристы толстопузые!»

Но, человеку свойственно надеяться и люди надеялись, — чудеса бывают. Приведут церковь в порядок, а там гляди может и священник подоспеет. В соседней Сухановке так и было. Бабы стали подъезжать к Ломакину. Заводили разговор, как мол и что... Приходили к нему на работу в церковь с узелками: чего только не приносили, — творожку, сметаны, медку... Когда разнюхали, что художник балуется крепкой, стали и бутылочку подсовывать в узелке. Ломакин понимал, что от него ждут чего-то особенного, но не в его натуре было крутить да вертеть:

— Бабыньки, мое дело маленькое... Вы к начальству, ему виднее. Я художник, по договору приехал.

Не добившись ничего путного бабы оставили его в покое и перестали приносить гостинцы.

День за днем Ломакин не спеша копошился в церквушке с утра до вечера. Появились друзья и знакомые на селе и в Архангельске, среди местных художников. Аванс, полученный по договору, таял. Нужно было подумать о подработке. Пригодился старый «ФЭД» и столичный опыт фотографа. Девки везде любят сниматься, чем хуже загрявские? В чулане Филипповны расчистил уголок для проявки пленок, взял чемоданчик, в котором были прихвачены из столицы две желтых фетровых шляпки, белый кружевной воротничок, навечно накрахмаленный. часики «Малютка» без механизма, но с «золо-

тым» браслетом и отправился на промысел... Большим успехом пользовалась композиция типа — «Привет из юга», в круглой или овальной рамке лицо, подпертое кулачком, на руке часы с «золотым» браслетом и шляпка... Шляпку Ломакин, как правило, надвигал клиентке на левый глаз, закрывая бровь. Снимок стоил рубль. Спрос был хоть куда, и зарабатывал Ломакин с лихвой. После работы, каждый вечер он заглядывал в «Сельпо», брал у Моти четвертинку и шел не спеша домой к ужину. Филипповна не садилась без него, ждала у окна... Когда он приходил, она ворчала, ставила на стол соленые огурцы, картошку, горшок наваристых щей и еще что-нибудь. Ломакин садился, наливал в личный граненый стаканчик «московскую»... минуток этак пять глядел на родимую с глубокой меланхолией, и медленно, не спуская глаз со стаканчика, подносил водку к губам. Крепко жмурился. Кузнечным мехом глубоко втягивал дыхание, на секунду замирал, и торжественно опрокидывал стаканчик так, что водка тонкой струйкой бежала прямо в горло. Выпив, резко ударял стаканом по столу, так, что посуда подпрыгивала и дребезжала. Лицо полыхало и выражало крайнее удовольствие. Он не пил водку, он принимал ее.

Бабку Филипповну при этом всякий раз передергивало. Она плевалась и махала руками:

— Тьф-у! Тьф-у! Нечистая сила... — приговаривала она, не веря своим глазам. Художник делал эту процедуру почти каждый день, а бабка никак не могла привыкнуть и смириться.

Ломакин широко улыбался:

— Это, Филипповна, даже очень чистая сила. Погляди, как слезинка. Без нее нам сегодня нельзя. Без нее родимой я давно бы загремел на колеснице в края облачные... Как выпьешь, так и полегчает, крюка не чувствуешь. Понимаешь, он вцепился в меня и не отпускает. Держит...

— Да, ну-у тя... Поне-ес! Погубит она тебя. Шутка ль кажинный божий день прикладываться.

Хмелел Ломакин быстро. После каждого стаканчика делался все молчаливее и молчаливее. Лицо багровело, тяжелело. Глаза мутнели. Наступало обычное состояние пьяной меланхо-

лии и хандры. Филипповна не выносила этого, вставала, шла к себе:

— Скрутит она тебя, окаянная, скрутит! Она только и ждет таких... Пристрастился, больно глядеть...

Ломакин, не обращая внимания на бабу, водил вилкой в тарелке, ловя капусту. Наливал новую... Закусывал... Иногда начинал говорить вслух, закатывая глаза к потолку. Нельзя было понять смысла слов, говорил до тех пор пока не обнаруживал, что в бутылке ничего не осталось. После ужина, тяжело ступая, шатаясь шел к себе и еще долго произносил непонятные для бабки слова, иногда гневно и зло. Филипповна прислушивалась и крестилась. Она понимала, что, что-то непонятное происходит в душе ее жильца. Она жалела его, когда он мучился.



Однажды вечером, после работы, у церкви Ломакин встречал миленькую незнакомку. Она стояла у старой березы, с неестественной многозначительностью изучала фасад церкви. Ломакин увидев ее, подумал: «Очередная психопатка до русской старины... пускает пузыри.». Она подошла к Ломакину и сходу высыпала на него ушат вопросов. Ломакин молча стоял и сушал, и когда она не получила ни одного внятного ответа, тут же принялась сама отвечать на поставленные ею вопросы, при этом даже поучала Ломакина. Из разговора выяснилось, что она новая сельская учительница, и что еще вчера она не имела никакого представления о деревне. Вся ее жизнь прошла в Ленинграде. Всю энергию она всегда отдавала беготне по театрам и очень любит народное искусство. Теперь она довольна своим институтским направлением на север, где еще сохранились такие «чудные церквушки».

— В школе полагается меня называть Елена Александровна, — тут она смущенно заулыбалась и кокетливо сказала, — но, мне кажется, что я еще никакая не Елена Александровна. Я все еще — Ленка!

После этого дня она стала приходить в церковь каждый день после уроков. Не спрашивая разрешения скоблила зам-

шелые бревна, убирала мусор... И все расспрашивала, рассказывала и поучала Ломакина, как и полагается учительнице, для которой все — ученики и нуждаются в ее знаниях. Непосредственность и наивность Ленки раздражала Ломакина. Про себя он называл ее — «ученой душой».

Шли дни... Постепенно раздражение сменилось чем-то вроде... ну, скажем она не приходила, он начинал выглядывать в дверь, думал не стряслось ли чего с ней. Однажды он поймал себя на мысли, что с ней ему легче работается и что даже в минуты ожидания ему хорошо, ему нравилось ждать и тревожиться.

Ленка попросила устроить творческую встречу с ее классом. Он, ненавидящий все эти встречи, не мог ей отказать. Целых два часа он рассказывал ребятам об иконах и церквях их края. Особенно была довольна Ленка.



После долгого перерыва Ломакин неожиданно для себя взялся за кисти. Он долго бродил по полям и по берегу речки, выбирая точку для этюда. Работал вдохновенно... Из нескольких этюдов, Ленке показал два: речка огибающая деревню с церквушкой на заднем плане и береза, та старая береза, у которой они впервые встретились. Ленка пришла в неописуемый восторг. Для Ломакина это был момент настоящего счастья и где-то глубоко внутри затеплилось чувство надежды: «Не все еще... Жив художник Ломакин. Жив!...» — глядя на этюды и на Ленку, думал он.

— Как много света, солнца... Не правда ли? Хорошо!

— Нравится? — задумчиво спросил Ломакин.

— Очень!

— Дарю.

— Ну, что ты... Такие хорошие картины. Тебе не жалко?

— Жалко. Художнику всегда жалко терять свои картины, как матери жалко терять детей... В картину художник, если он настоящий художник, вкладывает обязательно частицу себя... Когда я пишу, я мучусь... Это сладкие муки, ты понимаешь, происходит какой-то сложный, необъяснимый процесс

трансформации моего характера, моей натуры... И если всё получается, как ты хочешь, то в картине ты обязательно оставляешь немного самого себя. А такие мастера, как Рембрандт, Рубенс — они растворили себя в своих картинах. Они писали, писали... чем больше они писали картин, тем меньше оставалось их жизни. Они всё отдавали им. Понимаешь, физически и духовно они погибли от своего искусства, как врач, отдающий частицу своего здоровья больному. А-а... Это тебе не понять. Жизнь большого, настоящего художника — неминуемое самоубийство.

Понимала Ленка или нет эту философию Ломакина — неизвестно, но слушала она его затаив дыхание, не решаясь перебить.

Ломакин подарил ей оба этюда. Ленка принесла пейзаж деревни в школу и повесила в классе. Ребятишки двусмысленно хихикали, намекая на художника. Пейзаж же со старой березой, повесила над своей кроватью.

Филипповна не осталась в стороне от ломакинского увлечения. Что было сил она расхваливала учительку и поносила жизнь бобыля. По деревне поползли слухи, что к новому году художник и учительница собираются расписаться. Деревенские бабы с большим уважением стали глядеть на непутевого художника. По их понятиям парень вроде б за ум взялся. Дело задумал хорошее.

И действительно, Ломакина будто подменили: почти бросил заглядывать к Моте в Сельпо, сбрил бороду, подстригся, стал опрятнее.

«Слава Богу, — думала Филипповна, — остепенился. Горькой меньше балуется... Верное дело — семью задумал. Дай-то ему. Господи, счастья да милых деток».

Но, никто не мог предугадать неожиданного разворота судьбы. В людской жизни, как и в природе — тысячи необъяснимых вещей. Кто бывал в степи, знает, вдруг ни с того, ни с сего в чистом голубом небе за несколько минут вырастает из облачка черный столб вихря, пыль закрывает солнце и день превращается в ночь. Откуда этот смреч? Никто не может сказать. Людские взаимоотношения еще более таинствен-

ны. Часто человек начинает идти против другого казалось бы без каких-либо на то причин, или причиною бывает случайно оброненное обидное слово, поступок и даже взгляд, — все это вдруг в одно мгновение поднимает душевную бурю, перерастающую в человеческую драму. Люди начинают искать объяснения случившемуся, ища ответа на вопрос: кто опустил между ними барьер безразличия или даже барьер ненависти.

Вот так теперь ломал себе голову Ломакин, пораженный неожиданной переменой в отношениях с Ленкой, без которой он не представлял свою жизнь еще совсем недавно. Сегодня теплые чувства сменились холодом безразличия, между ними росла стена. Также, как неожиданно она появилась в его жизни, — также неожиданно она уходила, оставляя позади тысячи «почему?». Вину Ломакину не хотелось брать на себя, ему еще казалось, что все пройдет, все образуется и будут они снова счастливы. Он ждал... Ждал... А она уплывала от него все дальше и дальше... Какая-то сила толкала его обратно в старую колею. Он сопротивлялся, но ничего не мог поделать с собой.

Он снова стал заходить к Моте. Приходил поздно вечером, стучал в дверь. Выходил с черного хода, спрятав четвертинку в потайной карман.

Пил он теперь перед ужином у себя взаперти. Случалось приходила Ленка. Тогда он вообще не выходил к столу. Ленка, посидев с Филипповной часок, уходила, не увидев Ломакина, который валялся в одежде на постели, уставив пьяные глаза в потолок. Он слышал, как шепчет бабка, как она шлепает по избе, как бубнит себе под нос, после ухода Ленки, выражая чувства негодования.

В деревне, — как в деревне, вся жизнь, как на ладони, в одном конце ворона каркнет, в другом соловьем отзовется. Поплыли разные слухи. Чего только не говорили деревенские веззнайки...

Один клялись, что всё началось с избиения учительки художником. Нашлись и такие кто божился, что не стоять ей на этом месте, если она врет. Другие видели учительку в городе с Серёгой бригадиром и этого Ломакин простить не может.

Третьи шли дальше: «художник-то, поохальничал, пузо сделал, а теперь морду воротит, скотина столичная; там все так, как кобели бездомные». Чего только не говорили. Одни считали своим долгом срамить учительницу и обвинять ее во всех ста грехах, другие Ломакина.

Кончилось все тем, что молодая учительница, потеряв всякую надежду на Ломакина, заклеванная бабьими сплетнями, уговорила начальника Гороно перевести ее в другой район, в другую школу.

Ленка уехала и Ломакин запил сильнее прежнего. Назанимал денег. Перестал ходить на работу. Валялся в постели и пил... пил... и молчал. Филипповна подолгу стучала в его дверь, упрашивая хоть огуречного рассола черпачёк выпить. Ломакин только иногда повторял одни и те же слова:

— Меня крюк не пускает... Я вперед хочу, а он тянее-ет... Крю-юк!

Филипповна крестилась и качала головой:

— Крюк, крюк! Ишь нажрался-то, до самых чертиков. Полно-те, будет... третьи сутки маковой росинки в рот не брал. Не евши разве можно?... Этак и до греха, не дай Бог, можно дойти.

Ломакин продолжал свое:

— Мне, Филипповна, крюк мешает, держит... не пускает... — хрипел пьяный голос из-за двери.

Бабка просила открыть дверь, боясь как бы пьяный Ломакин не обронил окурок и не спалил бы избу и себя, но никакие уговоры не помогали. Запершись на задвижку он лежал в одиночестве в полуугарном состоянии, а в возбужденном воображении бесконечной лентой проходили картины его прошлой жизни. Они то расплывались, то резко рисовали предметы, лица... Это были дни, годы... Хронология была сбивчивой и поэтому Ломакин напрягал сознание, пытаясь мелькающие картинки разложить по полкам годов. Картинки не слушались, прыгали с полки на полку, а лента его жизни неудержимо неслась вперед, показывая ему необыкновенные страницы еще не наступивших лет... Картины будущего плыли

в безцветной нефокусности... Линии ломались и переплетались... То три, то четыре изображения наплывали друг на друга. Зеленые пятна тонули в красном, красные потоки дождя, красный снег... Красное небо...

Неожиданно лента закрутилась в обратном направлении, достигла какого-то предела и остановилась. Остановил ее крюк. Гигантский крюк, похожий на огромную руку. Ломакин почувствовал, как крюк вцепился в него, а ему надо идти по длинной дороге, среди колосющейся ржи, крюк держит, тянет... Кругом стоны невидимых людей по всему бескрайнему полю. Он пробовал вырваться и если удавалось, то только на несколько секунд. Крюк хватал его снова и тянул назад или просто держал и не давал двигаться вперед. Он пробовал кричать. Его слабый крик утонул в хоре стонущих ржаного поля. Ломакин не хотел подчиниться крюку, пробовал бороться, но... чем больше он бился, тем меньше сил оставалось. Каждая попытка вырваться из-под власти гигантского крюка отражалась на нем в виде стотысячного разряда.

Теперь время бежало мимо него, бежало вперед и струи свежего ветра, бегущего времени, обжигали его лицо. Годы бежали и звали его... Он дергался, но не двигался с места. Крюк держал крепко. А вырваться хотелось. Хотелось улететь с этим свежим жгучим ветром.

— Я художник! — кричал Ломакин изо всех сил. — Мне вперед надо! Я люблю искусство больше чем себя... Поверьте! Отпустите! Время-то уходит вперед. Время это самое дорогое, что есть у нас, у художников.

Крюк пуще прежнего держал Ломакина за самую душу, его железная клешня лязгала и смеялась над бессилием Ломакина, который не мог вырваться из-под власти железного крюка. Он молил, просил снова и снова. Все, что ему крюк разрешал, — это рисовать крюки. Черная краска была запрещена. Темные тени от крюка следовало изображать золотистой охрой. Больше всего ценилась красная. Ломакин отбросил кисти и пробовал закрыть глаза...



Ломакин проснулся рано, с петухами. Болела голова. Он тихо вышел на двор, припоминая что же ему приснилось?

По-малому здесь ходят за избу... Из-за угла дома тянуло сыростью реки. Над лугами неподвижно стояли косматые, рваные облака лилового тумана. Низко, стремительно пронеслись дикие утки. Вдали залаяла простуженная соседская собака. На другой стороне речки мычали коровы, ожидая проспавшего пастуха.

Ломакин потянулся, набрал всей грудью пьянящий воздух и подумал: «Хорошо, дышится-то как...»

Вспомнил сон во всех мелких подробностях. Раньше ему только рассказывали, что сны бывают и цветные... теперь у него самого был такой необычный кошмар. Цвет снова замаячил перед глазами, переходя от длинных полос в яркие звезды... Опять он увидел гигантский крюк. Было такое ощущение, что сон продолжался...

От вчерашней водки ломило в голове и хотелось пить. Он вернулся в избу. В сених отвалил крышку огуречной бочки, зачерпнул мутного рассола. Холодная, кислая влага прошла по всем жилам, как вода для путника в пустыне. Ломакин аж крикнул от удовольствия и на цыпочках вошел в прихожую, боясь разбудить еще спавшую Филипповну.

Он лег в постель, но уснуть уж не мог. Поползли мысли... о Ленке, о своей невезучести, о московской жизни, о неудачных и счастливых днях, о цветном сне с железным крюком...

Все больше и больше Ломакину жизнь стала казаться плутовской игрой судьбы с ним в поддавки. То она тебе что-то даст, то возьмет обратно... и возьмет обратно больше, чем даст!

«Осталось у меня одно, — размышлял он, — жить и ждать, ждать и жить. А чего собственно ждать? Чего ради жить? Что может изменить эту серую, безцельную жизнь?.. Новое русло? Со свежей проточной водой? Новая пристань и новая лодка?.. По затхлоу, гнилой воде далеко не уплышь — задохнешься. В лодку не брать академиков в бобро-

вых шапках и стукачей разных, только чистых. Надо помнить об ошибке Ноева Ковчега. И будет чудное время. Возьму кисти, брошу на палитру краски и не разум, а душа разбросает пятна по холсту... И никто не упрекнет, никто не скажет, что ты не так пишешь, не то пишешь... И всю логику можно будет послать к...»

Ломакин так размечтался, что забыл про завтрак.

Филипповна стучала в дверь:

— По-ора уж, — сильно окая и растягивая звуки, певуче звала она, — самовар-то мне не осилить к столу. Пособил бы?..

— Иду-у, Филипповна! — крикнул Ломакин, нехотя вставая с кровати.

Чай пили молча, поглядывая в окно. Филипповна сердилась на Ломакина за Ленку.

Реставрационные работы в церкви подвигались медленно. Голые, замшелые стены старых бревен, разрисованные пятнами солнечного света, пробивающегося сквозь выбитые окна и прохудившийся купол, навлекали на него меланхолию, навели на размышления о разных сторонах жизни. Так он пришел к выводу, что жизнь его случайна и что в жизни все случайно, хотя всё имеет видимость закономерности: «Где-то у Чехова сказано, не помню, человек не знает откуда он пришел. Никто, никогда не ответит на этот банальный, казалось бы, простой вопрос. Откуда ты пришел в наш мир?.. Куда ты уйдешь? Разве кто на это сможет ответить?.. Правда, все делают вид, что это проще простого, что даже говорить об этом глупо и невежественно. Взять тебя, почему ты здесь сейчас? Может-быть ты вечен? Не исключено, что ты уже был, жил, умирал и снова появлялся. Ведь такие теории есть...»

Однажды выйдя из церкви на перекур, он поймал себя на странной мысли. Глядя на окна... «...в пропорциях окна, если к этому подходить условно, есть что-то от нашей человеческой жизни. Если условно принять схему нашего сознательного бытия за простое окно, во всех его измерениях... как четырехугольную щель во вселенную. И иду я вдоль этого окна уже много лет... сколько еще идти? если бы знать... А разве извест-

но откуда вошел в это окно и куда уйдешь, когда оно кончится? Странно! У окна всегда есть начало и конец, — ширина. Но и высота у всех окон разная. Одним дано видеть на уровне своих близоруких глаз — не больше. Другой, как широкоугольник, схватывает такую высоту, что диву даешься, и далеко вглубь окна, до самого горизонта всё ясно видит... Странно!»

Ломакин лежал на земле закинув руки за голову и смотрел на церковное окно, узкое и длинное, наполовину забитое досками:

«...хорошо, длинное, широкое, узкое, глубокое... мутное, прозрачное, но как не крути в один прекрасный момент, кто-то вытолкнет тебя за карниз... Куда? В темноту... в никуда. Вот так! И все что видел в окне — погаснет, как задутая свеча. И круг твой замкнется. Как начался ни с чего, так и кончился. Великолепно! Но может быть это не круг? Спираль? И закрутишься то ли вниз, то ли вверх, это неважно... и неожиданно выплывешь в новое окно, еще шире и выше, а таких окон у тебя уже было много до этого, только все это неизвестно тебе... Не исключено, это мое трехмиллиардное... и мир стомиллионный... я все кручу и кручу по бесконечной спирали и никогда не будет повторений. И везде я разный... непохожий на предыдущего меня... уже не человек, не...»

Поток фантазии, который бы неизвестно куда привел Ломакина, был прерван появлением двух баб. Они шли с поля, проходя мимо церкви, осенили себя крестным знамением и тихо, боясь потревожить художника, сказали:

— Бог на помощь!

Ломакин от неожиданности подскочил, и невпопад ответил:

— Сам не сделаешь, Бог не поможет!

— Неправда ваша, — покачала головой закутанная по глаза в шерстяной платок сутулая, с печальными добрыми глазами. Другая, крестясь на подготовленный к позолоте крест, стоявший у бревенчатой стены, шопотом добавила:

— Разве так можно... Нехоро-ошо, милай!

Бабы также тихо удалились, как и появились.

Ломакину было несколько досадно за прерванный поток

мыслей. Пусть это все бредовая фантазия, но художнику без фантазии, без воображаемого мира — нельзя. В характере Ломакина было играть с собственным воображаемым, с фантастическим двойником, которого он спускал с цепи, как изголодавшегося по свободе пса, давая ему волю. Это было не просто удовольствие, это пьянило и успокаивало, уводило из мира, от которого было тошно и стыдно. И если фантазия увядала, если воображение отказывалось, тогда он запивал. Поток мыслей обычно развивался не в бытовом, реалистическом плане, а в духе сюрреалистических полотен. Они ожидали, безсюжетным фильмом проносились перед ним...

Это был блаженный, добрый, счастливый мир, где он был главным обитателем. Мир такой, о котором он мечтал, который так и остался для него мечтой, миражем в пустыне.



Подоспело время ехать в область за «золотом» для покрытия креста. По архангельской заявке бронза была затребована из республиканского министерства еще в прошлом году. Получение дефицитного товара ускорило специальное правительственное решение о реставрации памятников старины, стоящих на линиях маршрута для иностранных туристов.

Загривье попало в эту полосу и Облисполком снял «золотой» фонд с фабрики деревянных игрушек не взирая на шум и угрозы директора. Весь фонд целиком был передан реставраторам, а их насчитывалось в области десятка два.

«Товарищи с игрушкой — обойдутся. Чем хуже охра?» — заявило начальство.

По этой причине, Ломакину не пришлось долго обивать пороги. Пришел на базу. Получил мешок бронзы и отправился на радостях подкрепиться в свою столовку. Бывая в городе, он не пропускал возможности посидеть, покурить и поглазеть там на народ, выпить пивка, пропустить сотку, другую.

Ломакин сел за свободный столик у окна. Мешок поставил промеж ног, так чтобы чувствовать его ногой. Через минут десять, подошла полная, грудастая официантка, с мизерным,

накрахмаленным кружевным передничком, ей было под пятьдесят, но все посетители называли её — просто Валечка.

— Чего-то вас долго не было? Зрасте... чего будете? — дежурным тоном сказала она, закатив кокетливо глаза к потолку. — Сильно работаете? — приготовила огрызок карандаша на веревочке для записи заказа.

— Сама знаешь, Валечка. Наше дело такое, вкалывай да вкалывай. Дай мне селедочку и... в общем, как обычно.

Валечка плавной, ленивой походкой поплыла меж столов, задевая бедрами клиентов и стулья.

В то время, когда Ломакин ждал свою селедку и «стопадесяд с прицепом», за стол сел высокий, сухопарый мужчина в залатанном дорожном холщевом плаще, в руках у него был выдавший виды школьный портфельчик, перевязанный бичевой.

Человек был чем-то глубоко расстроен. Он сел на стул, не сняв фуражки.

«Лесничий, — подумал Ломакин, — вызвали в область, намылили голову, вот теперь не может очухаться».

Человек заказал сто грамм, кружку пива. Залпом опустошил стакан, запил пивом. Лицо его чуть прояснилось, он вынул пачку «Беломора», протянул Ломакину.

— Только что бросил, — ответил Ломакин.

Валечка принесла ему заказ. Ломакин наколот кусок ржавой селедки на кончик вилки, поднес граненый стакан ко рту и не спеша опрокинул. Не морщась закусил селедкой и в каком-то блаженном оцепенении сидел несколько мгновений совершенно безучастный ко всему окружающему. Видно было, как он испытывает удовольствие от тепла, которое медленно расходуется по жилам. Потом он вздрогнул, тронул мешок с бронзой ногой, прижал его к ножке стола и глубоко вздохнул.

Скоро завязался непринужденный разговор между двумя молчаливыми незнакомцами, так обычно бывает в таких местах за рюмкой.

Выяснилось, озабоченный человек, директор районной фабрики деревянных игрушек «Северный олень».

— Зарезали меня без ножа, друг, областные снабженцы!

— жаловался он, — весь фонд «золота», по решению Главснаба передали каким-то рестораторам. Черте знает что это за публика. Таких сроду не было в наших краях. Ясно, дело темное. Я их в управлении спрашиваю: «Кому? Я говорю, кто важнее на сегодняшний день, — церковь али игрушка?! Старухи али дети?!.. То-то! Молчите?... Они мне толкуют охра, дескать, тоже желтый цвет иметь и не хуже «золота». Они меня, бюрократы, учат каким материалом работать. Я до «Крокодила» дойду... Знаем эти штучки. Это, брат, политикой пахивает... Нет, ты меня правильно пойми, для меня народное дело важнее всего. Ну, план, конечно и план тоже, но главное дать игрушку ребенку и на экспорт, тоже важное. Игрушку, ее, брат, соображать надо... Она у меня, во где! — директор ударил себя в грудь. — Пускай они себе этой охрой жопу намажут!» — тут он с досадой и обидой сплюнул папиросу и выдал многоступенчатый мат, от которого даже выдавшая виды Валечка, остановилась и покачала головой:

— Постыдились бы, Ефрем Денисыч, а еще директор. В общественном месте, а не на фабрике у себя.

Директор замолчал, он понял, что погорячился. Это случилось с ним постоянно, когда выпивал, а выпивал он ежедневно.

Ломакин слушал директора и размышлял, а мысли становились все больше и больше ватными:

«Кода же ты разнюхал про золотишко, плешивый черт. Не пройдет, не-е... номер, я говорю не пройдет... и таких мы раньше видели. Она нам для креста выделена, и всё тут. Баста! Иди поищи других лапушков. Фонды кому выделили? Нам реставраторам. Кто выделил, — начальство, а начальству видней. У нас сегодня дела поважнее ложек, матрешек... Исторически-е памятники, деревянное зодчество, товарищ директор, дело государственной важности...»

Заказали еще по сто, потом повторили и переповторили по стопятьдесят и продолжали задушевный разговор. Чем больше пили, тем больше была душа нараспашку.

— Я тебе скажу, Ефрем Денисыч, ты все правильно толкуешь, но это все мимо, так, разговорчики. Ты с плана боишь-

ся сорваться. Премии лишиться. Ладно, ладно, я понимаю тебя. При чем тут дети... Ложки... матрешки... Ты видел за-гивскую церковь? А-а! Не видел. Ты ничего не видел. Без единого гвоздя она три века стоит и стоять еще столько будет. А ты ложки, матрешки! Такого сооружения второго в мире нет. Это гордость нашей православной архитектуры. Ни татары, не председатели в двадцатом разорить не смогли. А ты свои ложки, матрешки.

— Ты в мое положение войди, я директор али кто?... Вот оно и есть...

— Ерун-нду поришь! — прервал его Ломакин, — директор, директор... Заладил. Шибко ты бдительный, осторожный. Трусишь ты, начальство и план, — вот твоя вся жизнь. Мы с рождения все шибко трусливы, шоры с глаз боимся сдернуть, вот и живем — ложки, матрешки!

Директор не сдавался. Он снова заладил разговор о спресе золоченых матрешек «Интуристом», о популярности деревянных ложек на международной выставке в Дамаске, и что без «золота» хоть ложись да помирай. С него требуют, а что он может?

Ломакин неожиданно перестал ловить мешок под столом. Директор говорил так искренне, что ему стало жалко этого необтесанного раба производства и плана. Ефрем Денисыч тянулся к Ломакину через стол, хватал его за руку:

— Это ты правду толкуешь: план, премия. Ведь я бы и рад не бояться, да сам знаешь, — жизнь наша какая? Живем и дрожим, дрожим и живем... Жить-то каждому охота. Вся моя жизнь в игрушку вложена. Так получилось. Я бы за это «золото» сколько хошь дал бы... Только где возьмешь?

И тут случилось то, что положило начало концу Ломакина. Сам непонимая почему, он рассказал своему собеседнику, что он реставратор, и что приехал в город за бронзой для позолоты креста и, что крест может подождать, раз такое горе у человека. Фабрика, люди, игрушки... да и план, чтоб он сдох. Договорились по сходной цене и, что директор бронзу вернет через месяц-два, так ему обещали на базе.

Ударили по рукам. Директор засуетился, побежал к бу-

фетной стойке. Валечка принесла по последней и огурчиков.

Долго они еще сидели вобнимку, как старые друзья, ведя бессмысленные разговоры обо всем и не о чем. Расстались поздно вечером. Ломакин стоял и глядел вслед качающемуся из стороны в сторону директору с мешочком «золота» для креста...

«...А почему не помочь?.. Мне помогают... ох и попадет тебе Ломакин от баб! Держись, это тебе так не пройдет, вот увидишь...»

Еле удерживая равновесие, спотыкаясь, он плелся с пустыми руками с автобусной остановки в сторону Загрявья. Идти надо было километра четыре.

Стояла поздняя, студеная осень. Начались ночные заморозки. В этих краях в конце октября лед твердой коркой прихватывает речки и водоемы. Первый выпавший снег, как правило, долго не держится, днем температура подползает к нулю, иногда моросит дождь, дороги расползаются, превращаясь в непроходимое месиво.

Тропка, по которой еле передвигался Ломакин, казалась ему круглым осиновым бревном, только что очищенным от коры. Он падал, вставал... снова падал и снова вставал, с трудом удерживал равновесие, настойчиво, как в тяжелом угаре, продвигался в направлении к деревне...

...Наконец тропка вывела его на самый берег речки, он вышел на запорошенный снегом лед и сразу почувствовал большую устойчивость. Из-за темных облаков вынырнула осколком луна и снова скрылась, потом опять блеснула по снегу и также играючи исчезла. Дымчатой лентой замерзшая речка покачивалась и потрескивала под ногами Ломакина. Все шло крúгом, и мысли в отежелевшей, хмельной голове мелькали пестрыми лоскутками, налетали одна на другую... директор с детским портфелем, перетянутым бичевкой, не выходил из головы:

«...Люди опять-таки... Руководитель фабрики... план — значит... Зарботок, он от плана... и дети с игрушками... кошки-мышки, ложки-матрешки... Э-эток я и не дойду, метёт, как в трубу задуло... Золотишко... золотишко... А крест?.. ну, крест,

знаю... крест есть крест и бабам скажу. Чего они драться будут? шишь им... я их вот так...» — Ломакина бросило в сторону и он растянулся на льду, сразу подняться он не смог, уселся, подперев себя руками, как сваями, сидел и покачивался: «Бабам скажу, крест значит будет... попоздней, на недельку, другую... Директор приличный человек, обещал вернуть золотишко... Вставай Ломакин, художник бывший, домой ползти надо. Директор ясно обещал... Что? Пропил?... Э-э! Нет, милые, не пропил! Выручил хорошего человека... Да! Да! Не верите?..»

Так бывает только у пьяных людей, неожиданно для самого себя человек начинает подсознательно, сомневаться в правильности совершенного поступка. Вот и Ломакин вдруг глубоко пожалел, что клюнул на удочку директора, а может быть он и не директор... барыга самый настоящий и все тут. Мысль эта острым сверлом прошла и закрутилась визгливой юлой:

«Развесил, значит, уши... худо-ожник прогоревший, дешево купился... чего сидишь, иди! иди! найди!... Лопух ты, Ломакин, таких-то на крюке и надо держать. Он тебе ложки-матрешки... ты ему, нате, пожалуста, обидели, значит... мы добрый, мы хороший, мы все понимаем... в беде не оставим...»

Эти мысли встряхнули Ломакина, освежили и хмель наполовину улетучился. Кто знает, может это от холодного ветра, от мороза, но Ломакин встал на ноги легко, повернул в сторону города и пошел обратно не сознавая до конца — зачем. Директор давно уже уехал в район, какой смысл был в этом опоздалом решении, но его тянуло обратно. Голоса шептали ему: «Иди, заberi «золотишко»... Крест тебе не простит... Вздor, вздор, не иди!! — шептал другой вкрадчивый голос...» «...Иди! иди, Ломакин, еще не поздно... ты честный, ты художник...». Другой, визгливой мухой, жужжал: «Если обидеть хочешь человека — иди! иди! Ты трус, ты мелочный... да, и поздно... поздно...» — голос визгливо пропел последние слова.

Хлопья снега стегали Ломакина больно по лицу, порывисто дул вдоль устья речки колючий ветер. Небо посветлело

и теперь луна казалась, из-за метели, расцарапанной и блеклой. За речкой, в соседней деревне завывала собака...

Лед под ногами потрескивал, пошевеливался, как болотная гать... Ломакин все дальше и дальше уходил по белому руслу речки, шел, как по широкой прямой дороге, шел, чтоб забрать «золото» предназначенное для креста старенькой церкви, церкви, которая вот уже полвека ждала, когда ей вернут крест. Ломакин это понимал прекрасно, но был пьяный момент, когда директорский вкрадчивый голос убедил, уговорил «войти в его положение» и он «вошел».



На утро, чем свет, Филипповна прибежала к председателю:

— Художник-то наш, давеча в город умахал... Золото ко кресту, сказывал, еду получать на базе... — нараспев, задыхаясь, приговаривала старушка с тревогой в голосе, — Господи, не стряслось ли чего с нём, горемышным... Много ль надо, хлебнул лишки... чего только ныне не бывает.

Председатель тут же позвонил в область. С базы сообщили, что вчера около обеда Ломакин был, получил бронзу и ушел, сказал — едет домой.

Позвонили в областную милицию. Дежурный обещал навести справки и сообщить. Звонили еще куда-то, но никто ничего не знал о художнике.

Через несколько дней рыбаки на Северной Двине выловили утопленника. В кармане пиджака нашли размокшие деньги. Предположение об ограблении отпало. Ломакин провалился под лед и погиб мгновенно, такое заключение дала медкомиссия.

Новость потрясла деревню. У церкви собралось много народу. Приехала милиция из города, с ней люди в серых фетровых шляпах и длинных до пят черных пальто. Они входили в церковь... выходили... Фотограф делал снимки креста. Люди в шляпах говорили многозначительно и тихо, что-то записывали в блокноты.

Бабы испуганно следили за происходящим, тайком крестились, шептались.

Слышно было, как из уст в уста переходила фраза, словно бабы сговорились: «Господь за зря не покарает...», «Господь за зря не покарает...»

— Сатане — сатанинский конец, — сказала хмурая, со злыми глазами, средних лет толстая женщина, обращаясь к Филипповне. — В него давно дьявол вселился... Безбожник и пьяница.

Филипповна почти не слышала этих обидных для неё слов, она все еще не могла смириться с мыслью о гибели Ломакина. Ей было горько и обидно, что никто не сказал: «Царство ему небесное...» Никто не помянул его добрым словом. А кому он плохое сделал?

— ...Упокой душу грешного... — шевелила губами Филипповна в ответ на слова толстой бабы. — Дай ему Господи...

Филипповна привыкла к странностям Ломакина, к его характеру, из всех стоящих здесь у церкви никто так глубоко не знал мук художника, как Филипповна. Он был ей, как родной.



Поздно вечером Прасковья Филипповна, запершись, стояла перед образами на коленях. Свет от тусклой лампы ложился на морщины, высушенного долголетней трудной жизнью, лица. Тусклые блики светились в глубоких глазах. Она усердно молилась, кладя глубокие поклоны:

«Прости, Господи, его душу грешную... Святители угодники, не богохульник был он... жизнь его горькая была...» — шептала и крестилась, глубоко веря, что она будет услышана. Маленькая, сгорбленная, в тускло освещенном углу она чувствовала всем своим существом, что из её дома что-то исчезло, что делало её старческую жизнь нужной. Она молилась! Молилась! Так только молятся матери за своих сыновей. Молилась за Ломакина душу до самого рассвета...

Вскоре в деревне забыли про Ломакина, но никто не забывал про случай. Рассказ о кресте и дьяволе-художнике

расползлся по округе, из деревни в деревню. И в некоторых местах эта история обрела черты легенды: нечистая сила, прикинулась московским художником, сеящим разлад среди верующих, и наконец решившим вступить в прямую борьбу с крестом.

Набожные старушки пересказывали слышанное, с неприемными добавлениями. Но главным костяком оставался дьявол-художник и загривский крест. О церкви стали говорить, как о чудесной. Появились первые паломники к деревянному кресту, который стоял у главных ворот, обвитый брусничными венками, повязанный расшитым рушником. Население деревни и верующие округа обратились с письмом к высокому начальству: продолжить «приведение в Божий вид» церкви.

Из области прислали нового реставратора, местного, архангельского. К нему деревенские отнеслись с осторожностью: приглядывались, не балуется ли горькой. Филипповна не приняла его в жильцы, после случая с Ломакиным захворала и почти не выходила из избы.

Неизвестно, кто первый начал сбор денег, тайно, не дай Бог узнают в области или районе, на «золото». Верующие жертвовали щедро, не скупясь. На собранные деньги приобрели частным способом «левый» товар и уговорили нового реставратора поторопиться с позолотой креста.

За неделю до Пасхи, при большом скоплении народа, крест был водружен на купол загривской церкви. Отныне она стала святыней края, отныне старушки пешком приходят поклониться ей, помня легенду, рожденную трагическим случаем с Ломакиным.

Игорь Ельцов

ДОМЕНИКО БЕККАФУМИ

СИЕНСКОЕ РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ

Свивальники, тазы, кувшины,
Заботы тихие семи...
Уже блаженные родины:
Обмой и грудью накорми.

Струятся сумерки и жены,
Вишневые — запомни семь.
Благословенные, бессонны,
Себя забывшие совсем.

Собачка Верности курчава:
О, кроткая — почти овца!
И еле видимая Слава:
У притолки тень Отца.

Иоаким (а не Иосиф),
Вдали задумался о чем?
И ошибемся мы, отбросив
Его, построившего дом...

И, уподобленный Амуру,
Что слева — шкуру или жбан, —
Что тащит ярко-белокурый —
Не твой ли родич, Иоанн?

А на полу каморки, что ли,
Белесый золотистый свет —
Путь указывает из юдоли,
И близится уже Завет:
Не Ветхий, Новый — вольной воли.

Юрий Иваск

ПЕРЕКРЕСТОК

Эта улица, в отдаленной части города, была длинная. Каневец шел долго и все посматривал на номера домов, наконец остановился у дома, который был отгорожен от мостовой высоким деревянным забором, как это делается, когда дом строят, ремонтируют или сносят. Такой забор обыкновенно покрывается рекламными плакатами. Каневец прошел мимо сильно увеличенной цветной фотографии смазливенькой молодой хозяйки, которая с восторгом на лице показывала прохожим какой-то пакетик, и остановился там, где забор оставлял узкий проход. Он вынул из кармана клочок бумаги и посмотрел на записанный адрес — номер дома у дверей был тот же, что на записке. Над дверью на совершенно грязном стекле можно было прочесть надпись — «Отель».

Но это не был того рода отель, у дверей которого прибита черная, с золотыми буквами, с наложенным на нее толстым стеклом дощечка с надписью — «Центральное отопление. Горячая и холодная вода. Все удобства». Отель был самый захудалый. Об удобствах сообщить было нечего. На этой улице иначе и быть не могло.

Лестница, которая вела в дом, была затоптана обвалившейся штукатуркой, грязные, сложенные у стен доски оставляли узкий проход. Каневец поднялся на второй этаж. Двери комнат были открыты, мебели в комнатах не было. «Похоже, что дом не ремонтируют, а сносят, — думал Каневец, продолжая подниматься, — очевидно номер дома на записке указан неправильно». Спросить было некого, рабочих не видно — время завтрака. Но Каневец уже поднялся на верхний этаж. Теперь

Михаил Федорович Андреев — известный художник, постоянно живущий в Париже. Мы печатаем отрывок из его повести «Перекресток». РЕД.

не могло быть сомнений — дом ломают. Снятые оконные рамы и доски загромождали коридор, в одной комнате пол уже снят, повсюду кучи обвалившейся штукатурки. Холодный сквозной ветер дул, казалось, со всех сторон — дело было зимой.

Все же, несмотря ни на что, Каневец отыскивал комнату, номер которой был указан на записке. Дверь комнаты — единственная в коридоре — была заперта. Не уверенный, что в комнате уже никто не живет, только потому, что он был уже перед дверью, Каневец постучал и, к удивлению своему, услышал знакомый голос приятеля:

— Не входите, не входите! — Дверь приоткрылась, и сбоку у косяка показалась голова Синклера. — Это вы, Каневец? Я вас ждал. Сюда войти нельзя. Я сейчас оденусь и выйду к вам.

Через несколько минут дверь открылась, и показалась рука, ухватившаяся за косяк двери, потом показалась нога, нога сделала широкий шаг, оперлась обо что-то, показалась другая нога, тоже оперлась и, наконец, Синклер весь выскочил в коридор. И тогда Каневец через открытую дверь увидел, что пола в комнате не было — доски были сняты, оставались только поперечные балки. Приятели поздоровались. Синклер весело улыбался.

— Вчера, давая вам мой адрес, я позабыл вас предупредить, что наш дом ломают, чтобы вас это не смущало. Я вас ждал, но боялся, что вы подумаете, что я здесь не живу, и не захотите подниматься ко мне на верхний этаж. Ну, вот отлично.

Прежде чем следовать за Синклером, Каневец подошел к двери и, без особого стеснения, заглянул в комнату — пола действительно не было, оставалась только та часть, где стояла кровать. Через поперечные балки был виден глубокий провал, потому что потолок комнаты, что находилась этажом ниже, обвалился или был снят. Кровать стояла над провалом. На кровати из-под скомканного одеяла выглянула чья-то физиономия и недовольно отвернулась.

— Поспешим, — говорил Синклер, — я вам все объясню.

Приятели вышли на улицу. Синклер, как всегда был в самом бодром и хорошем расположении духа. Он вытащил из кармана несколько мелких монет, мысленно пересчитал и сказал удовлетворенно:

— О, хватит вполне, зайдемте в это бистро, я еще не пил кофе. У вас, Каневец, деньги есть?

За чашкой кофе Синклер рассказал:

— Вот как всё сложилось. Наш дом уже давно продан и обречен на слом. Жильцы давно выселились. Но я всегда был в хороших отношениях с хозяином отеля. Я просил его оставить мне кровать, обещал ему ее доставить, когда съеду. Он — человек покладистый, согласился. Ему было жалко, что дом будут сносить. А вот нашелся жилец, который так привязан к его отелю, что и уезжать не хочет. Всё шло хорошо. Я полтора месяца прожил спокойно в пустом доме, разумеется, ничего не платя за комнату. Приходили изредка какие-то люди, но работа не начиналась. И вдруг, недавно, стали ломать дом по-настоящему. А тут еще наступили холода. Раз, прихожу и вижу, что кровать мою вынесли в коридор и начали ломать пол. «Почему вы ломаете у меня, говорю, есть же другие комнаты. Дайте мне время собраться, чтоб переехать на другую квартиру!» Рабочие смеются. Им все равно, что ломать. Внесли, не без труда, кровать обратно в комнату, и вот... пока живу. Но надо подумать... Моего приятеля, которого вы видели — вы его не знаете — я приютил у себя — ему негде ночевать, а мне, в таких обстоятельствах, вдвоем как-то веселее.

Удивительно, думал Каневец, как отчетливо остаются иногда в памяти маловажные происшествия. Он старался припомнить, сколько времени прошло с тех пор, как он посетил Синклера в его холодном, пустом доме.

Лет восемнадцать, девятнадцать, а может-быть и все двадцать. Станным показалось Каневцу, что в то время случай этот казался ему забавным, смешным, но не больше. Теперь же на расстоянии времени — почти невероятным. Однако все так и было.

— Вы помните, Синклер, как вы жили в доме, который

сносили, и спали в кровати над пропастью — обратился он к Синклеру, который шел с ним рядом. Улица, по которой они шли, была длинная, в том же квартале. Как будто всё было как и тогда, когда они вышли из отеля. Только с тех пор прошло двадцать лет.

Синклер рассмеялся.

— Вы помните тот отель и мою кровать над провалом? Да, да я припоминаю, вы зашли раз незадолго до того, как я покинул этот дом, где я жил последние дни почти на сквозном ветру. Мне это кажется невероятным. Как я рад, дорогой, что опять вас вижу, что опять с вами. Только с вами я могу говорить как с самим собой, ловчить мне нечего. Так вы помните мою кровать над пропастью? Да, наши первые годы в Париже...

Приятели весело смеялись. Ничего, конечно, веселого в этом воспоминании не было. Но будто холодный сквозной ветер пустого дома, возвратившись издалека, вернул им на мгновение легкое, бодрое настроение времен их молодости.

Молчаливый и угрюмый, в этот свой приезд в Париж, каким Каневец его никогда не видел, Синклер повеселел и оживился.

— Знаете, Каневец, раз, другой, я имел глупость в неподходящем обществе рассказать о том, как я жил в комнате без пола, воображая, что это покажется забавным. Но воцарялось неловкое молчание. То ли мне не верили, то ли меня презирали за то, что мне нечем было платить за комнату. И все-таки это мое жилище было еще не самое плохое. Когда я после многих мытарств добрался до Парижа, в кармане у меня оставались гроши. Их надо было расходовать на еду, а не на плату за комнату. Попал я, конечно, на Монпарнас, в «Ротонду». Вы помните огромный пустырь, огороженный невысокой стеной, где теперь выстроили новый вокзал? На пустыре в траве были разбросаны почему-то большие пустые железные бидоны. Там я спал несколько ночей. По счастью было лето. Можно было наполовину влезть в бидон — это давало иллюзию крыши, дома. Но вскоре я стал работать на вокзале (еще на старом) грузчиком, потом — я немного го-

ворил по-французски — получил повышение — стал управлять вагонетками, нагруженными чемоданами, и неистово звонил, прокладывая себе дорогу среди толпы пассажиров. Где я не работал, чего я не переделал за эти первые годы! Вы, дорогой, ничего этого не знали, у нас было ремесло, возились со своими красками и из своей сферы не выходили. Я же не знал, куда мне ткнуться и хватался за все, что подвертывалось.

— Вокзал, на котором вы работали, наш монпарнасский вокзал, начнут скоро сносить, — сказал Каневец, — вы знаете? Так же как и все дома, прилегающие к железнодорожному пути. Всю эту часть. Будут сооружены многоэтажные дома. Мне жаль наш квартал. Между этими улицами, домами, лавками, кафе и нами установилась какая-то связь. Вы не думаете? Это, верно, потому, что худо ли, хорошо ли, но здесь прошли наши молодые годы. Когда-то мое ателье, где я жил, было здесь совсем неподалеку, и я каждый день проходил по этой улице. Вот на этой стене была вывеска, настоящая большая вывеска, ее уже нет... Французская пословица говорит: «Кастрировать своего кота хорошо. Но еще лучше, если это сделает специалист». Вот здесь за углом, на этой улочке было ателье столь прославленного после его смерти таможенника Руссо. Он проходил здесь и не раз видел эту вывеску. И, верно, не находил в ней ничего примечательного. В его время этот квартал был совсем провинциальным.

— А вы помните, Синклер, — продолжал Каневец, — историю с шубой, сцену, которую мы видели вот где-то здесь, приблизительно на этом месте. Был поздний час. Мы с вами возвращались из нашего кафе. Издали при свете фонаря, освещение тогда было слабое, газовое, мы увидели два силуэта — мужчины и женщины. Они жестикулировали, спорили ожесточенно, видимо бранились. Но разобраться в чем дело мы не могли, мы смотрели издали. Вдруг, женщина сорвала с себя шубу и швырнула в своего противника. Тот схватил шубу и пытался надеть ее на женщину. Это было не так легко. Женщина вырывалась, сопротивлялась. Кое-как ему удалось накинуть на нее шубу, но шуба снова полетела в него. Несколь-

ко раз шуба перелетала из рук в руки. Наконец женщина схватила шубу, отбросила ее далеко в сторону и побежала. Человек постоял в нерешительности, но не стал ее преследовать и удалился быстро в другую сторону. Шуба лежала на мостовой. Никто не хотел этой шубы. Вы меня удивили, вы бросились к шубе, схватили ее и исчезли в темноте. Я остался один, не зная что думать. Я позабыл, что неподалеку находился полицейский комиссариат.

Это воспоминание снова развеселило Синклера.

— Конечно, я понес шубу в комиссариат. Я был уверен, что дамочка раздумает и утром вернется, чтобы искать свою шубу. Так оно и было. Вскоре меня вызвали в комиссариат и выдали мне вознаграждение, которое дамочка оставила для меня. Я, Каневец, всегда был практичнее чем вы.

Раз, другой еще возвращался Каневец к воспоминаниям, которые на каждом шагу вызывали в нем эти хорошо знакомые улицы. Но Синклер снова замкнулся и не поддержал разговора. Приятели шли теперь молча. Каневец находил Синклера изменившимся и будто непохожим на прежнего. Уже давно Синклер, который жил в одном из больших городов на Юге и только временами наезжал в Париж, должен был рассказать ему о своих делах, которые так хорошо шли у него последние годы, о своих проектах, о том что привело его на этот раз в Париж. Рассказать и о своей жене и, особенно, о своей десятилетней дочке, которой он уделял много забот и внимания.

Особенно удивляло Коневца то пустое, казалось бы, обстоятельство, что Синклер приехал поездом, а не в своем автомобиле. В то время автомобиль не был так распространен, как сегодня, и указывал на некоторую высокую степень материального благополучия. Поэтому для Синклера его автомобиль являлся предметом сдержанной гордости. Кроме того автомобиль ему, действительно, был удобен при его частых поездках, как того требовали его теперешние занятия.

Но Каневец его не расспрашивал. Они шли будто бы без цели, но им и без слов было ясно, что они идут в обычное, давно им известное кафе, чтобы там закончить вечер. Это кафе

занимало свое видное место в истории этого квартала и, как и улицы, по которым они шли, было для них полно воспоминаний.



Это кафе находилось на углу, на пересечении двух широких бульваров Распай и Монпарнас, настолько широких, что в образующуюся довольно большую площадь свободно впадали еще две улицы — Бреа и Делаамбр. Но совсем неподалеку от пересечения и в один и в другой бульвар впадали еще три уже небольших, узких улицы. Естественно, что на таком перекрестке, на таком проходном и проездом месте должны были быть кафе.

В начале двадцатых годов их было всего только пять. На одном углу — «Ротонда», а чуть поодаль, почти рядом, два совсем маленьких захудалых кафе, совершенно того рода, который на парижском жаргоне пренебрежительно называли «бистро» — «Вавэн» и «Маленький неаполитанец». Против «Ротонды» на углу находился «Аист» — трудно определить, подходил ли он под категорию кафе или бистро — и на другом углу кафе «Дом».

В самом центре площади установлен был невысокий железный столб с часами наверху. Этот столб был вполне достаточен, чтобы указывать направление и регулировать движение немногих автомобилей. Фиакры были уже редки — ими пользовались главным образом приезжие и иностранцы для прогулок по городу, — но еще не перевелись окончательно.

На другой стороне бульвара Монпарнас, почти напротив «Ротонды», несколько наискосок, тянулся длинный деревянный забор — склад угля, кучи которого видны были через забор и в открытые ворота, что сразу указывало, что здесь не центр города. Трамвай со своим особым звоном-цоканьем проходил по бульвару Монпарнас и сворачивал по бульвару Распай, направляясь в предместья южной части города. Тротуары, очень широкие, были обсажены большими широко разросшимися деревьями, ветви которых скрывали дома и почти образовывали свод над мостовой. Планировка улицы была очень

удачна. На бульваре Распай — деревья в два ряда — настоящая аллея среди улицы, мостовая — по сторонам аллеи. Несколько позже у входа в эту аллею, между деревьями, была поставлена статуя Бальзака, работы Родэна. Бальзак смотрел на часы на площади. И на одном и на другом бульваре между деревьями были расставлены скамьи.

Весной деревья покрывались светло-зелеными листьями, что придавало улице веселый и нарядный вид. Но и осенью, когда тротуары покрывались опавшими мокрыми листьями, — их убирали, но падали другие, — улицы имели привлекательный вид. Связь этих улиц с полями и лесами, куда они вели, еще не порывалась окончательно.

В двадцатых годах этот квартал сохранял еще характер, несмотря на свои большие городские дома, отдаленной части города, — характер просто провинциальный. Ведь еще совсем недавно городские ворота были совсем неподалеку, на Денфер.

В половине прошлого века художники жили, по большей части, в противоположной отдаленной части города, на Монмартре. Но по мере того, как Монмартр застраивался, старые дома, где были ателье, сносились, квартиры дорожали, художники и скульпторы стали перекочевывать на Монпарнас. Здесь было много свободного места, земля стоила недорого, и в разных местах тут стали возникать дома, сплошь состоявшие из ателье для скульпторов и художников. Постепенно монпарнасский квартал становился местом, где по преимуществу селились художники. Вместе с ними постепенно стали появляться академии — т.е. частные школы живописи и скульптуры, магазины красок и материала для всякого рода художественных работ, мастерские, где делались рамы. Позже стали возникать картинные галереи, появились фотографы, занимавшиеся исключительно съемкой художественных произведений.

Трудно установить, почему маленькое, решительно ничем не отличающееся от других, кафе «Ротонда» стало мало-помалу местом, где собирались художники и лица их окружения. Правда, здесь была станция метро «Вавэн». Выход из метро — как раз напротив террасы Ротонды. Люксембургский сад

совсем близко — стóит только его пересечь, чтобы войти в Латинский квартал, стóит обогнуть, чтобы войти в квартал Сэн-Жермен. Но надо думать, что привлекательный вид этого перекрестка — и это существенно — заключал в себе притягательную силу.

Уже в половине прошлого века поблизости пересечения двух бульваров существовали кафе-рестораны, помещавшиеся в саду. Летом столики размещались между деревьями. Один такой ресторан с садом находился совсем неподалеку на бульваре Распай. Сейчас на этом месте можно видеть дом, который несколько отступил в сторону от общей прямой линии домов. Примечательность этого дома в том, что из-под самой, в несколько ступенек, каменной лестницы, которая ведет в дверь дома, растет дерево. Корни его должны наталкиваться на фундамент. В таких ненормальных условиях разрастись дерево не может. Оно растет не вертикально, а косо, наклонно, будто воткнуто в дом, и имеет чахлый вид. Известно, что Виктор Гюго бывал в этом саду и сидел за столиком будто бы как раз у этого дерева.

Когда пришло время вырубить сад (как и сотни других садов), чтобы строить дом, муниципалитет поставил условие — деревья Виктора Гюго не трогать. Дом должен был посторониться перед деревом, но едва-едва. Можно высказать и такое предположение — это дерево, а тогда это было совсем молодое деревцо, было единственное, которое оставили от вырубленного сада, а Виктор Гюго выбирал столик под другим деревом, поразвесистее.

Совсем вблизи от «Ротонды», если пересечь бульвар Распай на том месте, где теперь улица Гранд Шомьер, находится частная школа живописи — «Академи Гранд Шомьер» — существовал другой ресторан с большим садом. На открытой сцене этого сада Лола Монтес, танцовщица, куртизанка, известная, главным образом, по скандалу, разыгравшемуся из-за нее при дворе короля Баварии, впервые танцевала канкан и ввела в моду этот танец, имевший скандальную репутацию. Его и сейчас исполняют иногда, но уже «за выслугу лет», как реконструкцию прошлого.

Из сказанного видно, что характер этого места стал определяться уже в давние времена. Главную группу посетителей «Ротонды» составляли художники, скульпторы, натурщицы из двух находившихся неподалеку школ живописи и ученики этих школ. Стали приходить и журналисты, и писатели, и лица так или иначе причастные к искусству, иностранцы-туристы, привлеченные любопытством, наконец, просто странные фигуры, которых нельзя было подвести ни под какую категорию, приехавшие сюда со всех концов света. Репутация этого маленького невзрачного кафе, как кафе художников, установилась и распространялась по всем странам. Кафе оживлялось все больше и больше.

Один столик (у окна, выходящего на террасу), занимал и подолгу здесь засиживался, господин с рыжими усами, на голове соломенная шляпа — «канотье» — по моде девятистых годов. К его столику постоянно подходили молодые женщины, присаживались, выпивали чашку кофе с молоком, но долго не задерживались и шли к столику по делу. А подходили другие. Эти молодые женщины были натурщицы — они представляли очень заметную группу посетителей. Они были хорошо сложены — этого одного было достаточно, чтобы обратить на себя внимание. Мода на натурщиц плотного, крепкого сложения, даже на толстушек, появилась позже, под влиянием Ренуара, Майоля и вообще под влиянием все большего отрыва от классицизма. Некоторые из этих женщин приобретали известную популярность благодаря появившимся на выставках написанным с них картинам или сделанным скульптурам. Господин с рыжими усами был заведующий натурщицами. Это была его должность. Он распределял их, устанавливая для них очередь, не только для двух академий, находившихся неподалеку, но и для Школы Изящных Искусств, для Школы Декоративных Искусств и для академий в других частях города.

Образовалась группа художников под названием «Орда». Раз или два они устанавливали в аллее бульвара Распай большой балаган, в котором устраивали выставку. Но эта группа не приобрела хорошей репутации, и выставки ее привлекали

внимание только широкой публики. Несколько раз, для поддержания своих слабых средств, художники устраивали костюмированные балы в находившемся неподалеку, уже несуществующем, зале Бюлье. Перед балом решительно все считали необходимым, в маскарадном костюме, показаться в «Ротонде». Кафе наполнялось фигурами в невообразимых выдуманных костюмах, сшитых своими скромными средствами. Некоторые натурщицы появлялись почти вовсе обнаженными, но целиком позолоченные или посеребренные, в желтых или белых париках, что сообщало им вид оживших статуй. Утром «Ротонда» снова наполнялась возвращающимися с бала, желающими выпить чашку кофе с «круассаном» (печенье из слоеного теста в форме полумесяца).

Все дела, касающиеся выставок и балов, обсуждались в «Ротонде». Свидания, и деловые, и сентиментальные, назначались тоже здесь. До поздней ночи в кафе царил оживление.

Некоторые странные фигуры так тесно были связаны с «Ротондой» того времени, что, хотя они были решительно ничем не примечательны, невозможно не упомянуть о них. Такова фигура человека, явно восточного происхождения, очень худого, с лицом сухим и строгим, преувеличенно высокой чалмой на голове. Несколько лет он сидел, всегда один, всегда за тем же столиком, никогда ни с кем не заговаривая. И к нему никто никогда не обращался. Его вид восточного Мефистофеля к этому не располагал. О нем никто ничего не знал. Глядя на него, казалось, что он порвал навсегда и со своей страной, и со всем решительно, и ничего больше ему не остается, как сидеть неподвижно за столиком и смотреть в одну точку. Он всегда сидел в глубине кафе, на самом отдаленном месте.

Поближе, неподалеку от входной двери, можно было видеть фигуру человека — худощавого, с седеющей головой, с печальным выражением лица. Молодым художником приехал он в Париж, получив от художественной школы у себя на родине за хорошие успехи стипендию, которая давала ему возможность жить и работать в течение нескольких лет. Те немногие, которые видели его ранние привезенные работы,

находили, что они заслуживали всяческого внимания. Он поселился на Монпарнасе, пришел, конечно, в «Ротонду», стал бывать все чаще и оставаться подолгу. У него было свое любимое место, свой столик. За этим столиком он просидел свыше тридцати лет. Он приходил часа в два пополудни и оставался, за чашкой кофе, до семи. В семь, в обеденное время, он уходил. Где он обедал, и обедал ли вообще, никто не знал. В девять вечера он возвращался и, всегда за чашкой кофе с молоком, оставался до закрытия кафе, т.е. до двух часов ночи. В воскресенье и в праздничные дни он всегда был на своем месте, в каникулярное время никуда не уезжал. Времени для работы, при таком образе жизни, не оставалось. За долгие годы пребывания в Париже он не написал ни одной картины. Оживленная художественная жизнь Парижа, разговоры, которые вокруг него вели художники о выставках, споры по вопросам живописи, ничто не могло вывести его из физического и психического оцепенения. Никто не знал, на какие средства он существует. Один его знакомый, побывавший у него, рассказал, что живет он на седьмом этаже, в маленькой мансарде, без всяких удобств. Кроме кровати мебели не было. Кипа старых газет в углу. За долгие годы он не купил себе даже керосиновой лампы — электричества в комнатухе не было. Да и лампа ему была не нужна. Он возвращался поздно, зажигал свечку, которая стояла на ящике, раздевался, гасил свечу и ложился спать.

Но в какой-то день — все это сразу заметили — его на обычном месте не было. Оказалось, что младший брат его, после долгих настояний, уговорил его вернуться в родной город, где он мог занять место учителя рисования. Долгое время спустя, приятель его, который сиживал с ним за его столиком, получил от него грустное письмо. Он писал, что должность его вовсе не интересует и тяготит, что он чувствует себя постаревшим, что утратил всякий интерес к жизни. «Единственно, чего бы мне хотелось, — заканчивал он свое письмо, — это провести еще хотя бы один вечер в нашей 'Ротонде'».

Напротив «Ротонды», почти рядом с кафе «Дом» находил-

ся маленький захудалый ресторан — «Ресторан чудного супа». Помещение было узкое, столики стояли у стены, оставляя проход посредине. Художники, посещавшие этот ресторан, называли его просто «Жан», по имени владельца. Говорилось: «Пойдем к Жану!» или: «Я уже пообедал у Жана».

Обед по большей части состоял из супа с капустой и картофелем (этот суп и дал название ресторану), куска отварного мяса, опять-таки с картофелем, и сыра или десерта. И, разумеется, четверть самого простого красного вина. Стоило это два франка семьдесят пять сантимов. Можно было, конечно, и поразнообразить меню, но не всегда, и не все могли на это отважиться. Жена Жана была занята на кухне, он сам сервировал обедающим, маленькие их дети постоянно толклись между столиками. И в приготовлении блюд, и во всем сказывались навыки деревенского ресторана, которые Жан привез из своей родной деревни, и не помышлял о том, чтобы их изменить. Вечером, когда обедающие расходились, вся семья садилась за стол. Но если приходили запоздалые посетители, им не отказывали. Так всю жизнь не мог Жан спокойно пообедать, обедал, подавая обеды другим. Когда дети подросли, они взяли дело в свои руки, а Жан с женой уехали отдыхать и доживать свой век в свою родную деревню — но уже как зажиточные люди.

Как это всегда бывает в маленьких торговых предприятиях, молодые хозяева модернизировали ресторан. Расширить его было невозможно, но все было отделано заново. Темноватый прежде ресторан был теперь залит светом, даже устроили вентиляцию, так что ресторан не был наполнен теперь, как раньше, кухонным чадом. Совсем городской ресторан.

«Это кто, новая хозяйка?» — спрашивает иногда, проходя мимо, человек, знававший этот ресторан в прежние времена и указывает на уже немолодую, полную женщину за стойкой.

«Да нет же, — отвечает старый посетитель, — это Иветт, дочка Жана, вы помните девчонку, которая лазила со своими школьными тетрадками между столиками и приготовляла свои уроки когда мы здесь обедали?»

Но суп с капустой по семейной традиции готовится

и сейчас каждый день. Старые посетители ресторана, если им случается здесь пообедать, находят, что во времена Жана суп был лучше. Да и вообще, всё было вкуснее. Так ли это или просто тогда у них аппетит был лучше, установить уже невозможно.

Национальный праздник — 14 июля — взятие Бастилии, праздновался во всем городе с большим воодушевлением, а на Монпарнасе в особенности. Ночью все ярко освещалось бесчисленным множеством фонариков, протянутых через улицу, и лампочками, скрытыми в ветвях деревьев. Если день праздника приходился на субботу или на понедельник, воскресенье включалось, и танцы продолжались два дня и две ночи. Тротуары, мостовая перед «Ротондой» и «Дом» — всё наполнялось танцующей толпой. Редкий автомобиль отваживался, осторожно, едва двигаясь, проложить дорогу среди танцующих. Предпочитали другими улицами объезжать место бала. И в кафе и на террасе трудно было найти свободное место. В газетах всякий раз, когда случается упомянуть время двадцатых годов, добавляют «сумасшедшие годы».

Итак, маленькое, самое обыкновенное кафе «Ротонда», не делая никакой рекламы, приобрело, можно сказать, мировую известность. «Ротонду» несколько расширили, кафе «Дом» оживилось наполнилось посетителями. На месте, где когда-то был склад угля, во вновь выстроенном помещении, открылся большой кафе-ресторан «Куполь». Новые кафе открылись и поблизости, ночные кабаре одно за другим появлялись на ближайших улицах. Война 14-го года и последовавшие за ней события, выбросили из своих стран множество людей. На этом перекрестке сталкивались люди, которые нормально никогда бы не должны были встретиться, люди всех национальностей, самых разных социальных положений, люди, выбитые из колен. Здесь можно было играть в шахматы, читать газеты разных стран, писать письма — бумага, конверты, перья, чернила любезно предоставлялись посетителям.

Здесь играли в шахматы политические эмигранты, которые потом становились во главе правительств, сюда же приходили бывшие министры уже свергнутых правительств. Даже один

бывший король счел нужным раз побывать здесь. Приезжие миллионеры, пришедшие сюда из любопытства, сидели по соседству с теми, у кого не было чем заплатить за чашку кофе и ожидавшими, что кто-нибудь из пришедших знакомых выручит их из неудобного положения. Это называлось — сидеть на выкупе. Через этот перекресток, казалось, проходили все дороги, куда бы они ни вели. Двое друзей, скажем, в Рио-де-Жанейро, прощались уверенные, что им больше никогда не придется встретиться; один уезжал в Канаду, другой в Австралию. Но проходили годы и они встречались в одном из этих кафе. Здесь встречались люди, не выдавшие друг друга много лет, так что, иногда, они с трудом узнавали друг друга. Мало художников, скульпторов, писателей, которые не побывали здесь хоть раз. Многие приезжали сюда из своих стран ненадолго и оседали здесь навсегда, становясь постоянными посетителями этих кафе.

Не говоря уж о художниках из Италии, Испании, Голландии, — художники отдаленных стран — Латинской Америки, Соединенных Штатов, Канады, все побывали здесь. Несколько японских художников обосновались здесь навсегда, став всегдатями «Ротонды». Многие художники, жившие на Монпарнасе, возвратившись на родину, заняли в своей стране видное положение, а многие приобрели и мировую известность.

Но уже в тридцатых годах появились признаки упадка Монпарнаса. Сказался тяжелый финансовый кризис и в Америке и в Европе. Картины высокой ценности продавались тогда за небольшие деньги, а то и не находили покупателей. Многие разъехались по своим странам. Во время же второй мировой войны и оккупации Парижа, город опустел, опустел и Монпарнас. Совсем небольшая группа художников собиралась в маленьком бистро на бульваре Распай или, иногда, в задней комнате одной винной лавки, доступной только своим людям. Здесь можно было без опаски поделиться новостями, переданными по радио, из Лондона, обсудить ход военных действий, надеясь на наступление лучших времен. Домой возвращались к одиннадцати вечера по улицам, погруженным в глубокую тьму.

Но и после войны прежняя оживленность и одушевлен-

ность этого места уже не возвратилась. Те, кто его создали, постепенно рассеивались и исчезали. Новое поколение не пришло на смену. Новый квартал — бульвар Сэн-Жермен, с его многочисленными кафе, входил в моду и привлекал толпу. Молодые художники растворились в этой толпе, своего кафе они уже не создали.

За все эти годы «Ротонда» претерпевала ряд изменений и превращений. Постоянно менявшиеся владельцы старались всячески использовать репутацию знаменитого кафе. Ротонда все расширялась и, наконец, после больших перестроек, была превращена в дорогой кафе-ресторан, занимавший теперь и второй этаж. Постепенно художники покидали «Ротонду» и перешли в кафе «Дом», напротив. Но дела нового ресторана не шли. Пригласили оркестр, певцы выступали со своими песенками, но и это не помогло — ресторан пустовал. Дела «не шли» настолько, что «Ротонду» с ее мировой славой пришлось закрыть. Все большое помещение стояло несколько лет закрытое деревянной изгородью, заклеенной сплошь рекламными плакатами. Так сказала справедливость поговорки: «Не место красит человека, а человек красит место».

Но и весь квартал бульвара Монпарнас, от вокзала до бульвара Распай, изменился за эти годы до неузнаваемости. Для того, чтобы дать побольше места автомобилям, широкие тротуары были значительно сужены. Это совершенно исказило старую, хорошо найденную планировку улицы. Ветки больших, широко разросшихся деревьев обрубили, а голые стволы пересадили на суженный тротуар. Улица обнажилась, и тогда оказалось, что она состоит из домов самой банальной, безвкусной архитектуры, которые создавались во второй половине прошлого века.

Только один небольшой двухэтажный дом, недалеко от вокзала, простотой и благородством своих линий сразу указывает, что он принадлежит еще к *Grand siècle*, к великому веку. Этот дом 17-го века был загородным домом художника Риго. Когда-то сюда уезжали на дачу. Почти напротив есть другой дом, того же времени, не лишенный интереса, построенный князем Чарторыжским.

Установленные на некоторых домах светящиеся рекламы назойливо лезут в глаза. Прежней привлекательной улице придана совсем другая беспокойная и неприятная внешность. Но что окончательно искажает и уродует вид улицы, это, как я сказал, — автомобили. Аллея бульвара Распай сплошь заставлена автомобилями, проходить по ней нельзя. Статуя Бальзака у входа в аллею как бы открывает вид в гараж. А часы, на которые он смотрел, сдвинуты с площади на тротуар. Стоянка автомобилей разрешена и на суженных тротуарах бульвара Монпарнас. Вечером пешеход пробирается среди автомобилей по узкой, оставленной ему полоске, но и тут должен остерегаться, потому что и спереди и сзади наезжает на него автомобиль, выезжающий на мостовую.

Но те, которые уже не помнят эту улицу, какой она была в прежнее время, которые не могут сравнить ее с прежней, полагают, что так и должно быть, что иначе и быть не может...



Синклер и Каневец уже давно пришли в кафе «Дом» и заняли столик в задней зале, где посетителей было немного.

Уже давно гарсон привычным машинальным жестом провел салфеткой по столу и поставил перед ними два бокала пива. Но разговор не клеился. Каневец сообщил Синклеру, который давно не приезжал в Париж, новости об общих знакомых, но это, казалось, его не интересовало. Каневец его не расспрашивал, он знал, что наступит момент, когда Синклер заговорит сам, и объяснятся тогда причины угрюмого, необычного для него настроения...

Михаил Андреев

ЗЕЛЕНЫЙ РЕНЕССАНС

Потемнела за зиму
Дряхлых елей празелень,
Но светла за озером
Юных кленов прозелень.
Блеском хризолитовым
Залиты кусты,
Трепетом нефритовым
Тронуты листы.
Так и льется в жилы им
Зелено вино,
Зельем хлорофилловым
Все пьяным-пьяно.
А за примаверою
Хлынули в леса
С зеленушкой первою
Птичьи голоса.
И, рожденный заново,
Все разрисовал
В духе птициановом
Старый Грюне-Вальд.
Молодо и зелено
Птичий лад и такт
Заливает трелями
Яшму и смарагд.
Свиристеньем полнится
Темный изумруд,
Песни вешней вольницы
Долго не замрут:
Щебет и чириканье,
Фьюить и тюр-люр-лю,
Щелканье и кликанье —
До чего люблю
Гласные, согласные
Птичьих голосов,
Зелень разномастную
Смешанных лесов!

Николай Моршен

ЭВЕЛИНА И ЕЕ ДРУЗЬЯ

С каждым днем силы Мервиля восстанавливались и через две недели после операции он хотел уже вернуться домой. Но доктор находил, что это было бы преждевременно и, уступая его настояниям и просьбе Лу, Мервиль остался в клинике еще на некоторое время.

Я бывал у него каждый день, иногда с Эвелиной, иногда один и при этом неизменно присутствовала Лу. От прежней ее холодности не осталось следа, я неоднократно слышал ее смех и никогда больше не замечал у нее того неподвижного взгляда, который раньше производил на меня такое тягостное впечатление. В ней не было, как и прежде, никакой экспансивности, но не чувствовалось больше напряжения, которое было тогда, когда я встречался с ней на Ривьере. Она принимала участие в общем разговоре и я как-то поймал ее чуть насмешливый взгляд, которым она смотрела на Артура, когда он стоял спиной к ней. Заметив, что я это увидел, она улыбнулась мне и слегка пожала плечами. Я не представлял себе, что еще некоторое время тому назад, могло бы произойти нечто подобное.

Наконец наступил день, когда Мервиль уехал из клиники и вернулся домой. На следующее утро после этого я позвонил ему по телефону и он мне сказал.

— Нам надо с тобой поговорить. Без этого у меня такое ощущение, что мне чего то нехватает. Ты повидимому осужден на роль нашего постоянного собеседника.

Мы условились встретиться через два дня. Был дождливый февральский вечер, когда он явился ко мне. У него был вид совершенно выздоровевшего человека, но мне показалось, что его движения были несколько медленнее, чем всегда. Я ему это сказал.

— Я так привык к неподвижности за это время — сказал он, — что это как будто продолжается по инерции. Но я думаю, что скоро все будет так же, как было раньше.

— Теперь расскажи мне, как все произошло.

Он стал рассказывать — и тогда я убедился в том, что — как я это и предполагал с самого начала — все это не было простой случайностью, и что вряд ли Канелли предпринял бы путешествие из Нью Йорка в Париж, если бы у него не было для этого никаких побуждений, кроме надежды на успех очередного шантажа. До этого он никогда не покидал Соединенных Штатов. Почему он вдруг отправился за океан, в страну, о которой не имел представления и языка которой не понимал?

Канелли хорошо знал Лу. Несколько лет тому назад, в течение некоторого времени она была его любовницей. Это продолжалось очень недолго и она ушла от него после бурного объяснения. Он пытался удержать ее угрозами, хотя знал, что она их не испугается. Но он никогда не мог примириться с тем, что она его бросила. Он всегда был неподалеку от тех мест, где была Лу, и все эти годы — как она это знала — он следил за ней. Он не делал попыток приблизиться к ней, он ее боялся, но от мысли о ней отказаться не мог. На что он мог, казалось бы, надеяться? Если бы ему задали этот вопрос, он вероятно не сумел бы на него ответить. Но в его жизни его тяготение к Лу было сильнее всего остального. Она это знала и знала так же хорошо, что если она не избавится тем или иным образом от Канелли, у нее никогда не будет ни безопасности, ни спокойствия. И когда она решила покинуть Америку и превратиться в Маргариту Сильвестр, она надеялась, что никто не найдет ее во Франции, — ни американская полиция, ни Канелли.

Но совершенной уверенности в этом у нее все-таки быть не могло. И после своей поездки с Мервилем в Нью Йорк, она была убеждена, что Канелли узнает о ее пребывании там. Это именно так и случилось.

— Удивительно все-таки, что он решил приехать в Па-

риж, — сказал я. — Он должен был помнить, что Лу непохожа на беззащитную жертву.

— Он это конечно помнил, он знал, что рискует жизнью, — сказал Мервиль. — Лу его увидела через окно вскоре после того, как он появился и была готова ко всему. Мне она ничего об этом не сказала. Она говорила потом, что если бы я не вошел в гостинную, все было бы кончено раньше, чем Канелли успел бы что-либо понять или сделать. По ее словам, так или иначе, перешагнув мой порог, он подписал свой смертный приговор. И я не сомневаюсь, что это так и было бы.

— Тут не нужно сослагательного наклонения, — сказал я.

— Но ты знаешь, что самое главное?

— Что?

— Ты понимаешь, — сказал Мервиль, — когда выяснилось, что я вне опасности, что мне не угрожает ни смерть, ни инвалидность, Лу стала неузнаваема. Я никогда ее такой не видел. Она шутит, смеется, она даже иногда напевает. Этого раньше у нее не бывало, она все время жила как будто в тени какой-то трагедии — не знаю, не умею это сказать. Я очень рад этому изменению. Но мне кажется, что это не только от того, что я выздоровел. Тут есть что-то другое.

— Ну, прежде всего избавление от опасности.

— Несомненно. Но ты понимаешь, то, что ее душило, что мешало ей жить полной жизнью, это ее прежние чувства и воспоминания, и запас неистраченной силы, той самой, которая позволила ей пройти через все испытания и не погибнуть. И бурная ненависть ко всему, что исковеркало ее жизнь, ненависть, которая требовала выхода. И когда она убила Канелли, вместе с ним она как будто убила свое прошлое — и теперь она свободна. Я не знаю, сумел ли я это сказать так, как нужно.

— Не забывай еще одного — она убила человека, который стрелял в тебя. Кстати, на что ты рассчитывал, когда шел на направленный на тебя револьвер? Почему ты не остановился?

— Теперь я знаю, что это была ошибка, — сказал он. — Но в ту минуту я об этом не подумал, я хотел отвлечь внимание Канелли от Лу.

— Я хотел тебя спросить еще об одном. Когда ты был с Лу в Америке, что тебе удалось выяснить?

— Это не очень сложно, — сказал Мервиль. И он рассказал мне, как он убедил Лу в необходимости лететь в Нью Йорк, узнать, чем все это кончилось и доказать свою непричастность к убийству Миллера. В Нью Йорке Мервиль обратился к известному адвокату, который обещал ему навести справки обо всем. На следующий день он его вызвал к себе и сообщил ему, что никакого дела Лу Дэвидсон больше не существует, потому что убийца Боба Миллера был арестован и подписал свое признание. Это была темная история, связанная с торговлей наркотиками. Ближайший друг Миллера, на которого пало подозрение полиции, тот самый, который сказал, что Миллера убила Лу, был вскоре освобожден, — против него не было никаких улик. У того, кто действительно был убийцей, оказалось неопровержимое как будто алиби: он находился в этот день в Балтиморе, что подтвердили свидетели. Но его погубила одна незначительная подробность: в день убийства он провел в Нью Йорке несколько часов с девушкой, которую он встретил на улице и которой раньше никогда не знал. Когда он был в ее комнате, он потерял там ключ от своей нью йоркской квартиры, — ключ этот она потом отнесла в полицию. Вернувшись из Балтимора в Нью Йорк, он заказал себе второй ключ у слесаря. Так как за ним следили, то это тотчас же выяснилось — и остальное было просто. Канелли не имел отношения ни к Бобу Миллеру, ни к его сообщникам или друзьям. Но когда Лу появилась в Нью Йорке, он конечно об этом узнал.

— Что было дальше, ты знаешь, — сказал Мервиль, — я хочу сказать эпилог.

На следующий день, вспоминая об этом разговоре, я подумал о том странном ощущении, которое я испытывал и в абсурдности которого я отдавал себе отчет — будто мне удалось довести до успешного конца чрезвычайно трудное дело и теперь у меня больше не было сознания своей воображаемой

ответственности за то, что происходит или может произойти. Только тогда я понял, с каким постоянным напряжением я следил со стороны, в течение целого года, за всем, что касалось Мервиля и его судьбы и в чем главную роль играла Лу. Я был искренно рад за Мервиля и на этот раз, в отличие от предыдущих, я был убежден, что он был действительно, по настоящему счастлив.

Потом передо мной возникла, — напечатанная в газете — фотография Канелли, о котором до его появления в Париже никто из нас, кроме Лу, не имел представления. Я думал о том, как сложилась его жизнь и каким он стал оттого, что его жизнь сложилась именно так. В ней было все, что обычно фигурирует во многих биографиях людей этого типа — грабежи, жестокие побои, которым он подвергался и которым он подвергал других, психология преследуемого и полное отсутствие отвлеченных понятий. Кроме того, его на каждом шагу могла ждать смерть. Она была неизбежна или почти неизбежна, это был вопрос времени и было чрезвычайно маловероятно, что он умрет от старости в своей постели. Но ему могли предстоять еще годы жизни. То, что предрешило его участь, это было его непреодолимое тяготение к Лу, которое было сильнее сознания того, что всякая попытка приближения к ней грозила ему опасностью. На первый взгляд казалось, что Канелли сам по себе не представлял особого интереса ни для кого, кроме случайного автора заметки о нем в уголовной хронике газеты. Но по странной случайности судьбы он был совершенно необходим Лу и не менее нужен Мервилю. Тот мир, который теперь возникал для них обоих, — возникновению этого мира должна была предшествовать, его началом должна была быть смерть Канелли, как счастьем Андрея должно было предшествовать убийство Жоржа. Если бы Жорж был жив, Андрей продолжал бы вести печальное существование и быть таким, каким мы всегда его знали. Если бы Лу не убила Канелли, ни она, ни Мервиль не могли бы быть счастливы. То напряжение, в котором она жила столько лет, не могло не привести к взрыву. Этого повелительно требовала почти безличная ненависть, которая накопилась в ней и может быть

недаром ее жизнь началась с убийства и не могла не привести к убийству: минус на минус дает плюс. Как это ни казалось парадоксально, то лучшее, что было в ней, ее любовь к Мервилю и неудержимое движение ее души, это лучшее могло проявить себя в полной мере только после того, как она перешагнула через труп Канелли, после того, как была утолена ее слепая и бессознательная жажда убийства. Кто мог бы ее за это осудить?

Я думал о событиях, которые произошли за это время, — они начались декабрьской ночью, когда открылось кабаре Эвелины и кончились через год, декабрьским днем, когда был ранен Мервиль и убит Канелли. Но это была условная хронология, которая ничего не объясняла. Этим событиям предшествовала долгая жизнь каждого из тех, кто в них участвовал или был их свидетелем, жизнь, которую нельзя было ни изменить, ни повернуть вспять. И каждая из этих жизней была, в сущности, попыткой найти известное душевное равновесие, ответ на немой вопрос, который всегда стоял перед нами, — ответ, которого Мервиль искал в своих иллюзиях, Эвелина в бурном эмоциональном движении, Артур в игре и тяготении к разным формам силы, Андрей в постоянной мечте о богатстве и я — в бесплодном созерцании. Все это было гораздо сложнее, чем могло казаться и во всем этом была тревожная хрупкость. Каждый день какая-то часть каждого из нас отмирала, оставляя след только в нашей памяти. Но вместо того, что отмирало, возникало нечто другое, воспоминания смешивались с надеждами и мы теряли и вновь находили себя в этих незаметных и бесконечных превращениях. Мы знали твердо только одно — то, о чем я как то говорил с Артуром: это был, во всех условиях и при всех обстоятельствах, путь к смерти. Мы создавали искусственные соединения во времени, как мы создавали понятия о прошлом, значение которого для нас все время менялось, о будущем, которого мы не знали, о настоящем, смысл которого от нас ускользал.

Иногда мне начинало казаться, что судьба каждого из нас была предreshена, но и в этом не могло быть уверенности. Поль Клеман, осужденный за убийство Жоржа, убийство,

которого он не совершал, был бедным и малограмотным человеком, но его постоянная жажда стяжательства в других условиях могла бы привести к тому, что он стал бы миллионером и вместо дешевого красного вина пил бы виски и фигурировал бы в светской хронике газет. Почему нельзя было бы себе представить нищую Анжелику, продававшую букет измятых фиалок у выхода из ночного кабаре, — в собственном особняке, возле Булонского леса, в литературном салоне? Все могло быть — и для этого было достаточно одного сдвига, потерявшегося в далеком прошлом, который мог совершенно изменить любую человеческую жизнь, — сдвига во времени или в обстоятельствах, в мгновенном и непостижимом соединении тех или других условий, — того, о чем писал Артур в заключительных строках воспоминаний Ланглуа.

Андрей пришел ко мне попрощаться, — он уезжал в Сицилию. Он явился утром и я обратил внимание на его задумчивый вид.

— В какие размышления ты погружен? — спросил я.

— Прежде всего, о Мервиле, — сказал он. — Какое счастье, что он остался жив! Его поведение меня не удивило, но кто из нас действовал бы как он?

— И этого человека ты хотел испугать той опасностью, которая ему будет угрожать, если он не расстанется с Лу.

— Теперь опасности может быть больше нет. Если не говорить о возможности того, что через некоторое время Мервиль опять поймет, что и это была ошибка.

— Я думаю, что на этот раз это не ошибка. Всему есть предел, Андрюша, и мне кажется, что Мервиль дошел до этого предела. Все рано или поздно кончается — и эмоциональные блуждания тоже. Мервиль никогда не был Донжуаном.

— Он скорее похож на Донкихота. Вот ты только что сказал, что все кончается. Ты видел сегодняшнюю газету?

И он показал мне третью страницу утренней газеты. Мне сразу бросился в глаза заголовок: «Поль Клеман, осужденный

на двадцать лет тюремного заключения за убийство его бывшего хозяина, повесился в своей камере».

— Бедняга! — сказал я.

— Тебе его действительно жаль?

— Все-таки жаль, — сказал я. — Ты подумай, Андрей: какая убогая жизнь, какая душевная нищета и как это в конце концов печально. Я только недавно вспоминал о нем и думал, что измени те условия, в которых он жил, перенеси его в другую среду — и он мог бы стать банкиром или ростовщиком, кто знает? Судьба к нему отнеслась жестоко. И он расплачивался за убийство, в котором не был виновен.

— Мы с тобой об этом говорили, — сказал Андрей, — я бы его посадил в тюрьму без всякого обвинения в убийстве, за избиение маленьких детей. Этого простить нельзя.

— Тут я с тобой согласен. Но что ты хочешь? У меня смутное сознание какой-то вины за то, что произошло. Да, я знаю, что это трудно обосновать, но я не могу от этого отделаться. Это вроде того позднего сожаления и раскаяния, которое я испытываю, когда думаю о Жорже.

— Никто из нас ничего дурного ему никогда не сделал.

— Да, конечно. Но сказать, что он встречал с нашей стороны дружеское расположение и понимание, тоже нельзя — и смерть сделала это непоправимым. А теперь... Мы даже не знаем, кто его убил. Может быть, впрочем, это когданибудь все таки выяснится.

— Не думаю, — сказал Андрей. — Это одно из распространенных заблуждений, — что убийцу всегда находят. Далеко не всегда. Сколько остается нераскрытых преступлений?

— Я знаю. В конце концов достаточно, чтобы о связи или знакомстве убитого с убийцей не было известно, это первое. Второе — отсутствие прямой заинтересованности преступника в убийстве — деньги или, скажем, наследство. В этих условиях и если не было свидетелей, убийцу теоретически найти невозможно.

— Я думаю, что в данном случае это приблизительно так

и есть, — сказал Андрей. — Жорж иногда отлучался на несколько дней. Где и как он проводил это время, с кем встречался, неизвестно. Я даже не уверен в том, что его убийца принадлежит к уголовному миру. Против этого говорит то, что не было пропажи денег. Остается предположить, что судя по всему, это была какая-то дикая месть за то, о чем мы ничего не знаем, со стороны человека, о котором мы не имеем представления. Заключение — причина убийства не выяснена и убийца не найден. Я должен тебе признаться, что мне надо сделать над собой усилие, чтобы вспомнить, что все это как-то меня касается. Мне кажется, что это бесконечно далеко. Но то, что я так к этому отношусь, ты находишь может быть предосудительным?

— Нет, — сказал я. — Ты знаешь, Андрей, я думаю, что природа дала каждому из нас ограниченное число чувств и вне этого предела мы реагируем на то, что происходит, значительно слабее, чем этого было бы можно ожидать. Не потому, что мы хороши или плохи, а оттого, что у нас на это нет душевной силы. Ты прилетел первым аэропланом из Сицилии, когда узнал, что Мервиль ранен и я не сомневаюсь, что для него ты сделал бы все, что мог и ничего не пожалел бы. Но это Мервиль. А что тебе Клеман и — в конце концов — что тебе Жорж, хотя он был твой брат?

— Да, и как это ни странно, на тебя все это произвело большее впечатление, чем на меня.

— Может быть потому, что у меня иногда бывает пагубная склонность к мрачным размышлениям и обобщениям. И когда я думаю о некоторых вещах, это лишний раз напоминает мне насколько все иногда может быть трагично и непоправимо. И надо бы подальше уехать от всего этого, например, в Сицилию. В этом смысле ты прав. Я к тебе как-нибудь приеду. Хорошо?

— В любое время, — сказал Андрей. Он крепко пожал мне руку — раньше его рукопожатие никогда не было таким, мне всегда казалось, что у него слабые пальцы, — и ушел.

В тот день, когда Андрей был у меня перед отъездом в Сицилию, мне нужно было поехать в Латинский квартал, в один из книжных магазинов. Я давно не был в этом районе Парижа и так как мне было некуда спешить, я начал медленно прогуливаться по этим улицам, которые так хорошо знал. Я проходил мимо гостинниц, в которых снимал комнаты, когда был студентом, мимо антикварных магазинов, которые оставались такими же, какими были много лет тому назад, точно в них остановилось время, застывшее в формах старинной мебели, на отполированной поверхности столов с изогнутыми ножками, на тусклой бронзе канделябров, мимо ресторанов, где мы обедали с Мервилем, Артуром и Андреем. Я прошел мимо дома, в котором жила Сабина и у выхода из которого я ждал ее столько раз. Эвелина жила тогда в этом же районе, на улице, проходившей вдоль Люксембургского сада. Все это было, казалось, бесконечно давно. Я вспомнил наши бурные споры о литературе и возмущение Мервиля, когда я как-то сказал, что стихи Верлена иногда напоминают мне дребезжащую музыку механического пианино — как ты можешь это говорить? возмутительно! позорно! — летние предрассветные часы, когда мы возвращались домой с Монпарнасса, Эвелина, Мервиль и я; Эвелина шла между нами, положив руки на наши плечи и время от времени мы поднимали ее и несли некоторое расстояние и мне показалось, что я опять слышу ее тогдашний смех. Я вспомнил ночи, которые мы просиживали в кафе, пиво и луковый суп, печальное лицо Андрея, и тот вечер, когда Артур пришел в смокинге и коричневых брюках, потому что все остальное он проиграл в карты, попав в компанию каких-то мелкотравчатых шулеров. — Как хорошо, что у тебя нет состояния, — сказал ему Жорж. — Почему? — Потому что ты бы его проиграл. — Это неважно, — сказал Артур. — Пойми, что сумма, сама по себе, не имеет значения, будь это миллион или десять франков. Самое главное, это ощущение, это вторжение в неизвестность, это шаг в будущее, вот что такое игра. Ты переворачиваешь карту, поставив на нее все, что у тебя есть и вот, на этом куске картона возникает изображение, символический знак, полный таинствен-

ного смысла — триумф или поражение, богатство или бедность. Ты хочешь меня убедить арифметикой, но вдохновение игрока ее не знает. — И поэтому на тебе смокинг и коричневые штаны, — насмешливо сказал Жорж. — Какое это имеет значение? — ответил Артур, пожав своими узкими плечами. — Костюм мы тебе все-таки купим, — сказал Мервиль — потому что в таком виде, как сейчас, ты компрометируешь Эвелину.

В тот вечер мы долго гуляли с Мервилем по улицам Латинского квартала. Он заговорил об Артуре.

— Как все это нелепо и глупо, эта его упорная страсть к игре!

— Нелепо — может быть. Глупо — этого нельзя сказать, это понятие сюда не подходит. Это страсть. Мы с тобой ее понять не можем потому что она нам чужда.

— Когда я попадаю в казино, где играют в рулетку, — сказал Мервиль, — это наводит на меня смертельную скуку.

— Я тоже не понимаю соблазна азартной игры. Но не надо, мне кажется, заблуждаться: может быть мы не понимаем этого не потому, что мы умнее Артура, ум здесь непричем, а оттого, что мы душевно беднее его. Но Жорж прав: если бы у Артура было состояние, он бы его проиграл.

— Да, и с точки зрения Жоржа это была бы катастрофа. Но Артур об этом не жалел бы.

— Но через какие волнения он бы прошел! Одно это может заполнить человеческую жизнь.

— Не мою, — сказал Мервиль.

— Тебе это не нужно, у тебя есть другое, твой лирический мир.

— А у тебя?

Мы не заметили, как дошли до бульвара Араго. Сквозь густую листву его деревьев проходил свет уличных фонарей, становясь бледно-зеленым и в вечернем воздухе это напоминало лес, освещенный луной.

— У меня? — сказал я. — Я вспоминаю стихотворение моего друга, поэта, в котором он говорит о трех страстях — женщины, карты, вино. Что есть еще, что влечет к себе челове-

ка? Стремление к власти и политика? Я этому чужд. Слава или просто известность? Это тоже многого не стоит. Религиозное призвание — Франциск Ассизский, блаженный Августин, святой Юлиан? Мимо этого нельзя пройти равнодушно, но кому дано повторить со всей силой убеждения эти слова — «сестра моя смерть» или проникнуться до конца тем, что сказано в трактате о благодати? или поверить в непогрешимую мудрость, скажем, католической церкви и ее предписаний?

— Но отрицать величие христианства ты не можешь.

— Нет, конечно. Но в его истории непогрешим был только Христос. И когда я слушаю самую убедительную проповедь священника, у меня неизменно возникает одна и та же мысль: я могу судить обо всем с таким же правом, как он. Это мысль крамольная и с точки зрения церкви я плохой христианин. Значит, не религия. Что остается? Стремление к богатству и поклонение деньгам как у Жоржа? У меня этого нет, мне это так же непонятно, как страсть к азартной игре.

— Ты видишь, — сказал Мервиль, — судьба не оставляет нам возможности выбора. И тебе и мне суждено пребывание в лирическом мире. С той разницей, что ты хочешь его понять и анализировать, а я принадлежу только одному чувству, тому, которое я испытываю.

Когда я проснулся на следующее утро, был уже одиннадцатый час. Выпив чашку черного кофе, я подошел к телефону, так как мне казалось, что мне надо кому-то позвонить, что я обещал это сделать. И только через несколько секунд я понял, что никому я не давал этого обещания и никому не должен звонить. И, не думая ни о чем, я набрал номер Эвелины.

— Алло? — сказала она с вопросительной интонацией.

— Я очень давно тебя не видел, — сказал я.

— Как странно, — ответила она, — я думала об этом же. И я хотела предложить тебе одну вещь.

— Я тебя слушаю.

— Пригласи меня сегодня вечером ужинать.

— Прекрасно, — сказал я — куда? В котором часу?

— Ты помнишь итальянский ресторан на маленькой улице, возле площади Сан-Сюльпис? Я буду там к восьми часам вечера.

— Хорошо, буду тебя ждать.

Когда я подъехал к ресторану, о котором говорила Эвелина, было без десяти восемь. Был ясный и холодный вечер. Ожидая ту минуту, когда я ее увижу, я ощущал давно забытое физическое и душевное томление. Я видел перед собой ее лицо, ее синие, то далекие, то приближающиеся глаза, ее голое тело, такое, каким оно было в моем недавнем сне — и я вспомнил ее слова: «медлительная сладость ожидания». И уже в тот вечер, когда мы все были в ее кабаре, и она спросила меня, о чем я думаю, по звуку ее голоса, по выражению ее лица, по улыбке, раздвигавшей ее влажные губы, я знал, что ничто не может остановить это движение или предотвратить то, что не могло не произойти. Но в этом томлении было еще одно — ощущение, что это именно то, что должно быть, и что я не могу ошибиться, как не может ошибиться она и это создавало впечатление какой-то горячей прозрачности. Я знал, что ни ей, ни мне не нужны были ни слова, ни объяснения, потому что в том мире, который неудержимо приближался к нам, они теряли свое значение и вместо них возникало движение чувств, вздрагивавших как флаги на ветру. И все, что было до сих пор, эти годы бесплодного созерцания и неподвижности, печаль, которую я испытывал, ощущение усталости, которое я так хорошо знал, сознание, что нет вещей, которых стоило бы добиваться, все это было обманчиво и неверно, это было длительное ожидание возврата в том мир, в котором возникала Эвелина — такая, какой она никогда не была до последнего времени и какой она была создана.

Мне было жарко и хотелось пить, — так точно это были летние сумерки моего сна об Эвелине, а не холодный вечер парижской зимы. Я стоял у входа в ресторан, расстегнув пальто, когда подъехал такси, из которого вышла Эвелина. Она протянула мне свою руку в кольцах и, не давая себе отчета в том, что я делаю, я обнял ее за талию.

— Ты с ума сошел, — сказала она непривычно медленным голосом, повернув ко мне лицо со смеющимися глазами. — Тебя не узнать, мой милый. Что с тобой? Неужели ты вдруг забыл то, о чем ты всегда говоришь — что все трагично и непоправимо?

— К счастью не все и не всегда.

Ее глаза на секунду потемнели и я почувствовал сквозь ее шубку движение ее тела под моей рукой. Потом она засмеялась и сказала:

— Но мы все-таки поужинаем? Я должна тебе признаться, что я голодна.

Когда мы сели за стол, я налил вино в бокалы и сказал:

— За что мы будем пить, Эвелина?

— За мое воплощение, — сказала она.

Я смотрел, не отрываясь, на ее блестящие глаза и изменившееся лицо.

— Ты знаешь, что я думаю, Эвелина?

— Что?

— Что чувства иногда опережают события.

— В одной из твоих прошлых жизней ты был женщиной. Потому что эта мысль скорее характерна для женщины, чем для мужчины.

— Мне кажется, что в какие-то минуты, минуты счастливой и полной близости мы теряем себя в блаженном растворении и больше не остается этого разделения между нами, ты понимаешь? Может быть не совсем до конца, но почти?

— Но если бы не было этого разделения, то не могло бы быть того блаженного растворения, о котором ты говоришь.

— Ты знаешь, — сказал я — когда я приехал сюда и тебя еще не было, я впервые за последние годы почувствовал, что как будто кто-то снял тяжесть с моих плеч и что я опять такой, каким я был раньше. И этим я обязан тебе, твоему воплощению, за которое мы пьем, твоей последней метаморфозе.

— Я хотела бы тебе сказать так много, что у меня на это нехватило бы целого вечера. Но я не могу говорить. Может-быть потом, хорошо?

Мы вышли из ресторана. Узкая улица была тускло освещена.

— Ты помнишь, Эвелина... — сказал я.

— Я ничего не помню, — ответила она. — Я ничего не помню, но я все знаю.

Я остановил такси и когда я сел рядом с Эвелиной, я увидел на ее глазах слезы.

— Ты огорчена? — спросил я.

— Нет, — ответила она, — я счастлива.

Позже, глубокой ночью, лежа рядом со мной, охватив мою шею рукой и глядя в мои глаза, она сказала:

— Ты знаешь, что я продала свое кабаре?

— Хорошо сделала, — сказал я. — Когда?

— Все было кончено вчера, я не хотела это откладывать, я знала, что я увижу тебя сегодня вечером и что это будет началом моей жизни. Я знала, что это не могло быть иначе. Ты ни о чем не жалеешь?

— Я жалею о том, что это не произошло раньше, — сказал я.

— Раньше? — сказала она. — Раньше, мой дорогой, нас не было, ни тебя, ни меня, — таких, какие мы теперь.

— Я хотел тебя спросить еще об одном, — сказал я. — Ты помнишь, через несколько дней после того, как оперировали Мервиля, когда мы сначала были в клинике, а потом пошли обедать в ресторан — ты, Андрей, Артур и я — ты говорила о Лу. Андрей тебя спросил, почему ты так уверена в правильности твоего суждения о ней и ты ему ответила: потому, что я женщина и потому, что я знаю, что такое настоящее чувство. Но вся твоя жизнь вплоть до этого дня доказывала, что ты не могла знать настоящего чувства. Почему ты это сказала?

— Сегодня вечером ты сам ответил на этот вопрос, — сказала она. — Потому что чувства иногда опережают события и потому что тогда я уже знала то, что ты знаешь теперь.

Когда Эвелина заснула, я долго смотрел на ее лицо с закрытыми глазами. Оно стало другим и на нем было, как мне показалось, выражение почти торжественного спокойствия. Я

смотрел на него и теперь я понимал то, что не доходило до меня раньше: что я ждал этого вечера и этой ночи все последние годы моей жизни. Все мои воспоминания, все события этих месяцев — убийство Жоржа, превращение, которое произошло с Андреем, роман Мервиля и трагическая его развязка, выстрелы Лу и труп Канелли, самоубийство Клемана, книга Артура, “Fleur de nuit” и Анжелика — все это сейчас бледнело и растворялось, и из всего этого, пройдя сквозь эти жизни разных людей и их судьбы и остановившись наконец в своем бурном движении, передо мной возникла Эвелина в ее последнем воплощении, которого я ждал столько лет.

Она проснулась, открыла глаза и встретив мой взгляд, сказала:

— Почему ты так пристально смотришь на меня? О чем ты думаешь?

— О том, что я когда-нибудь напишу о тебе книгу, — сказал я.

Конец

Гайто Газданов



*бросаясь за вертявым пикадором
Николай Асеев*

По сумрачно-желтой арене бессмысленно скачет —
Ну, что, обреченный, израненный, черный, священный?
О, взлеты пурпурных плащей над твоей незадачей
И свет золотого камзола (и точность движений).

О, смерть в розовато-сиреневых ярких чулках
И яркие синие туфли — и точность их шага —
За желтой изнанкой плащей — золоченый рукав,
И вот уже кончено, бедный — последняя шпага.

А впрочем, к чему красноречие? Двадцать минут
Тобой занимались, тебе оказали внимание.
Зачем обижаться? Другие и хуже умрут.
А мы — поживем. До последнего, брат, издыхания.



Черная птица на черном и снежном суку —
Иероглиф печали.
Черный репейник в снегу —
Идиограмма зимы.

Тени, твоя и моя, на белом сугробе —
Граффити молчанья.

Треплются черные ветки кустов и деревьев.
Как беспокойна
Китайская каллиграфия зимнего сада
И как беспредметна —
Абстракция света и снега.

Игорь Чиннов

ТОЛСТОЙ ОБ ИСКУССТВЕ

ПРЕДВЗЯТОСТИ И ПРОЗРЕНИЯ

Никто из писавших об искусстве на русском языке не сказал о нем столько вздорного, но и столько верного. По началу, читая «Что такое искусство?» (1897) или «О Шекспире и драме» (1904), только вздорное и видишь. Так было со мною, в юности, и едва ли не со всеми моими старшими современниками и сверстниками. На Западе, хотя книги эти точно также вызвали немало резких недоумений, отнеслись к ним все же благосклонней, а главное внимательней, чем у нас. Лишь гораздо позже понял я три вещи. Во-первых, что чтения этих книг недостаточно для ознакомления с тем, что Толстой думал об искусстве, — о своем искусстве, точнее о двух своих искусствах, вымысла и слова, но и о других, об искусстве вообще. Во-вторых, что и самое вздорное: безоглядные решения пристрастного и торопливого суда, поскольку не пуританством и не опрошенчеством вызваны, в мотивировках своих далеко не всегда столь вздорны. И, наконец, что верное, увиденное Толстым, никем ни до него, ни после него с такой остротой увиденно не было; из чего следует, что в размышлениях об искусстве, устраняющих осевшую в них путаницу (сведёние искусства к его эстетической оценке), учесть толстовские прозрения необходимо уже потому, что их нечем заменить.

О прозрениях в дальнейшем и будет речь. Начну я, однако, не с них, а с подбора примеров, поочередно выясняющих, как причину нетерпеливого искушения с его взглядами вовсе не считаться, так и основания обратной, уже задолго до настоящего знакомства с ними возникающей догадки о необходимости уделить им самое пристальное внимание.

1

Главка эта будет сплошь состоять из цитат, не нуждающихся в долгих пояснениях.¹

¹ Там, где цитаты позаимствованы из трактата «Что такое искусство?», они приводятся с указанием соответственной главы. Тракта-

О греках: «Полудикий рабовладельческий народец, очень хорошо изображавший наготу человеческого тела и строивший приятные на вид здания» (гл. VII).

О них же и о других: «...грубые, дикие и часто бессмысленные для нас произведения древних греков: Софокла, Еврипида, Эсхила, в особенности Аристофана, или новых: Данта, Тасса, Мильтона, Шекспира (...), Микель-Анджело с его нелепым «Страшным судом»... (гл. XII).

Язык тех полудикарей, без которых сам он и мы все полностью остались бы дикарями, Толстой на пороге старости почел нужным изучить (для чтения в подлиннике Нового Завета); но изучив, как раз по-дикарски и перевел начало четвертого Евангелия: «В основу и начало всего стало разумение жизни. Разумение жизни стало вместо Бога. Разумение жизни есть Бог», превратив тем самым Евангелиста даже не в Толстого, а в толстовца («Краткое изложение Евангелия»).

О Флоренции (вероятно, хоть город и не назван): «Осматривание достопримечательностей (...) не имело для него [Вронского], как для русского и умного человека, той необъяснимой значительности, которую умеют приписывать этому делу англичане» («Анна Каренина», V, 8).

Ходить по церквям и музеям, хотя бы и Флорентийским, способны, таким образом, только люди глупые и нерусские. И в самом деле, какой толк в «приятных на вид зданиях» (вроде Парфенона или Палаццо Строцци) или пусть и в «очень хорошо изображенной наготе человеческого тела»; хотя Венера Милосская (по парижским воспоминаниям?) и упоминается (гл. XIX) как произведение высокого совершенства. Зато Гаттамелату, скажем, или Коллеони, да и Медного Всадника вряд ли бы Толстой положительно оценил. Памятников вообще не любил и, сказав это Гольденвейзеру (стр. 323), прибавил: «Трудно что-нибудь сделать. Художник должен передать душу человека, а ему нужно лепить его задницу».

Речь шла о памятнике Гоголю в Москве (Андреева; он Толстому, в виде исключения, понравился); если бы о конном,

том я эту книгу называю по нынешнему (советскому) обычаю; впрочем, и «трактую» ее больше как трактат, чем как памфлет. Напечатана она в тридцатом томе Полного собрания сочинений (П. С. С.). Воспоминания Гольденвейзера цитируются по изданию 1959 года; другие по двухтомнику «Толстой в воспоминаниях современников», 1960.

пришлось бы вдвойне скульптора пожалеть, вынужденного еще и круп, и копыта коня, и гриву, и хвост лепить или высекать. Вот если бы Донателло и Вероккио только лица и, быть может, еще руки своих кондотьеров изобразили... Это, кстати сказать, обычное заблуждение обзирающей музей публики: греческая статуя (не в римской лишь копии, но и в оригинале) кажется ей невыразительной, оттого что те древние «полудикари» не на много усердней душой снабжали лоб, чем колено; или щеку, чем бедро. Но за пределами портрета «душа», конечно, и по Толстому передана могла быть не одной только мимикой лица и рук.

Васнецова он (гл. XIV) за его работы для Киевского собора (не без основания) бранит: «скверное подражание подражанию подражаний, не содержащее в себе ни одной искры чувства», после чего восхищается: «И этот же Васнецов нарисовал к рассказу Тургенева «Перепелка» (там описывается, как при мальчике отец убил перепелку и пожалел ее) картинку, в которой изображен спящий с оттопыренной верхней губой мальчик и над ним — как сновидение — перепелка. И эта картинка есть истинное произведение искусства». Затем говорится о двух других «истинных произведениях искусства», авторы коих столь прочно забыты, что их имен не удалось мне обнаружить даже в самых подробных справочниках.

«В английской Academy рядом две картины: одна изображает искушение св. Антония, J. C. Dalmas. Святой стоит на коленях и молится. За ним стоит голая женщина и какие-то звери. Видно, что художнику очень нравилась голая женщина, но что до Антония ему не было никакого дела, и что искушение не только не страшно ему (художнику), но, напротив, в высшей степени приятно. И потому в этой картинке если и есть искусство, то очень скверное и фальшивое. В той же книге рядом небольшая картинка Langley, изображающая прохожего нищего мальчика, которого очевидно зазвала пожалевшая его хозяйка. Мальчик, жалостно скрючив босые ноги под лавкой, ест, хозяйка смотрит, вероятно соображая, не понадобится ли еще, а девочка лет семи, подпершись ручкой, внимательно, серьезно смотрит, не спуская глаз с голодного мальчика, очевидно в первый раз поняв, что такое бедность и что такое неравенство людей, и в первый раз задала себе вопросы: почему у нее все есть, а этот бос и голоден? Ей и

жалко, и радостно. И она любит и мальчика и добро... И чувствуется, что художник любил эту девочку и то, что она любит. И эта картина — кажется мало известного живописца — прекрасное, истинное произведение искусства».

Для такого вердикта достаточно и репродукций, а искусству чтобы быть хорошим, достаточно добрых чувств. Да еще — об этом умалчивается — пусть и минимального одобрения способу высказывания этих чувств со стороны Л. Н. Толстого. Не признал бы он добрых чувств, если бы они были высказаны мифологически или церковно (например, Васнецовым в Киеве); рафаэлевых Мадонн не признавал, хотя чувства они высказывают неукоснительно добрые. От сомнений в достаточности своего художественного, литературного или музыкального образования избавлен он был своим же требованием общедоступности всякого искусства; если мнение его расходилось с мнением образованного большинства, он всегда мог оправдаться тем, что совпадает оно с недоступностью данного произведения для «народа», т.е. например для яснополянского крестьянина, забывая, хоть и напоминали ему об этом, что крестьянину и Шопен (любимый Толстым), едва ли был на много доступней, чем отвергаемая Толстым девятая симфония или бетховенская же соната опус 101. Когда ему указывали на это, он отшучивался ссылкой на испорченность собственного вкуса. Однако в оценке музыки нравоучительная предвзятость и даже опрошенчество мешают ему меньше, чем неверное представление о понятности музыкальных произведений, а также инстинктивная, не сознаваемая даже, но безграничная вера в непогрешимость своего суда.

«Считаю нужным заметить для тех, которые отнесли бы мое суждение об этой сонате Бетховена к непониманию ее, что все то, что понимают другие в этой сонате и других вещах последнего периода Бетховена, я, будучи очень восприимчив к музыке, понимал точно так же, как и они» (гл. XIV). Утверждение это невинно: в нем больше незнания, чем похвалы себе. Толстой очень живо воспринимал — с волнением, часто доходившим до смущавших музыкантов слёз — музыку, которую понимал; но понимал он не всякую музыку, а понятую воспринимал чувствительностью и чувственностью, но едва ли совокупностью духовных сил, чем и объясняются соответственные страницы, как отчасти и замысел, «Крей-

церовой сонаты». Сразу же после приведенной фразы обнаруживает он границы своего понимания, сравнивая «получаемое впечатление от произведений последнего периода Бетховена с тем приятным, ясным и сильным музыкальным впечатлением, как например то, которое получается от мелодий Баха (его арии), Гайдна, Моцарта, Шопена — там, где их мелодии не загромождены усложнениями и украшениями, и того же Бетховена первого периода, а главное — с впечатлением, получаемым от народной песни». Иными словами, понимает, воспринимает, переживает он мелодию, а «усложнения» столь же несущественными считает, как «украшения» (которые в старинной музыке нередко предоставлялись усмотрению исполнителя), и признается, что мелодию они — на его слух — всего навсего загромождают. Недаром хвалит он именно «арии» Баха (имея в виду вероятно одну, любимую им, по словам сына его, Сергея) и бранит позднего Бетховена, мелодий которого, вплетенных в густую гармоническую ткань, он попросту не умеет уловить. Структурное понимание музыки крайне у него ограничено, а смысловое — интенсивно, но элементарно. Мог бы он и сам об этом догадаться, но мешает этому его огромная во всем, что касается искусства, самоуверенность, — любопытным образом поддержанная народническим идолопоклонством: раз нет ничего лучше народной песни, к чему все эти полифонии, контрапункты и голосоведения?

Рубить с плеча он, однако, и независимо от всего этого смолоду любил и никогда не разлюбил. «Удивляться Го [меру] и Шекспиру может лишь человек, пропитанный фразой», Leo dixit, 1855. Перове имя не дописано, можно прочесть и «Гоголю», что лучше соответствует фразерству, если считать, что ставится оно в вину не только удивляющимся, но и предмету их удивленья. Гомера позже (научившись по-гречески) Толстой полюбил; Шекспира поносил до конца, вместе с названными выше греками, Данте, Гёте (менее уверенно) и другими не столько крупного калибра, но все же не зря прославленными авторами. Гостям своим за год до смерти задал загадку (Гольденвейзер, стр. 294): «Какой мой любимый французский поэт?» и прибавил, что фамилия его начинается на букву Б. Потом, не дождавшись ответа — неизвестно, с улыбкой ли или нет — сказал: «Беранже». В нынешней России улыбка была бы, во всяком случае, неуместна: Беранже — советско-

французский, хоть и не французский «классик»; но в тогдашней России шестидесятнические вкусы такого рода могли удивить; нас же удивляет, почему никто из гостей не подумал о Бодлере. Впрочем, может быть и подумал, да остался нем, зная об отвращении к нему Толстого. Началось отвращение это за несколько лет до книги, в которой проявилось, с забавного недоразумения. При первом чтении, в 1892 году, причислял он еще Бодлера к «нынешним декадентам», как видно из дневниковой записи от 6 ноября, и сообщал жене 15 ноября, что собирается читать его «только чтобы иметь понятие о степени развращения *fin de siècle*'я», совершенно, видимо, не подозревая, что Бодлер умер за четверть века до того и был старше его на семь лет, родившись в том же году, что и Достоевский.

Позже, нужно думать, Толстой эту хронологию осилил, но «Что такое искусство?» (особенно десятой своей главой) продолжает свидетельствовать об очень поверхностной осведомленности его насчет послебодлеровской французской поэзии и еще худшей касательно всей современной ему западной живописи, как и, почти в той же мере, литературы.² Перечисляя в той же главе имена писателей, композиторов и художников, которых ценили «люди первой половины нашего века», он из художников называет Рафаэля, Леонардо, Микель-Анджело и — Делароша (не Делакруа), подтверждая этим дурной выбор уже не шестидесятых наших годов, а сороковых. Что же до французской живописи конца века, то приводит он о ней выписку из «дневника любителя», посетившего в 1894 году ужаснувшие его выставки Парижа и причисляющего Пюви де Шаванна к импрессионистам, столь же резко осуждаемым, как и символисты, по поводу которых Толстой прибавляет от себя: «Теперь направление это еще сильнее определилось: Беклин, Штук, Клингер, Саша Шнейдер и др.», как будто эти живо-

² Да ведь и прошлое их хорошо ему известно не было, как малоизвестным оно осталось и редакторам 30-го тома П. С. С. Они не пояснили читателю, что «эвфемизмом» Толстой называет евфуизм (*euphuism*), путая эти два термина (стр. 90), как и что «Рене» де Гурмон звался на самом деле Реми де Гурмоном (стр. 89), а вдобавок заглавие его романа, приведенное Толстым по-французски, перевели: «Лошади Диомеды», хотя героических этих коней следовало, конечно, назвать конями, а не лошадьми.

писцы, отнюдь не парижские, были продолжателями Редона или до-полинезийского Гогена. Но Толстой о казнимых им — по непониманию, по самым беглым впечатлениям, по отзывам академических французских критиков, а то и по наслышке — никакого настоящего знания и не искал. В суждениях своих ему было слишком легко и не сомневаться...

«Когда Рафаэль с картофельно-шишковатыми формами мне противен, а картинки Гренье приводят меня в умиление, я ни единой минуты не сомневаюсь, что Гренье выше Рафаэля».

Ex ungue — Leonem. Никто другой такой фразы, апно *Domini MDCCCLX*, в письме к просвещенному другу не решился бы написать. Разве что Рескин был способен на такое ниспровержение кумиров, но не ради «картинок Гренье» (вероятно Франсуа Гренье, 1793-1867, совершенно забытого нынче пейзажиста, чьи литографии «из крестьянского быта» и позже Толстому нравились).

Висели эти «картинки» в яснополянском доме; быть может, и теперь висят. Маковицкий 27 декабря 1904 года записал сказанное о них Бирюковым и реплику Толстого:

«— Чичерин рассказывал, что вы в Брюсселе занимались тем, что собирали картинки...

— Это картинки премилые, жанровые. Это — искусство; а «Мадонна» Рафаэля не есть искусство».

Как видим, через сорок четыре года все по тому же когтю узнать можно было Льва. Что же до его просвещенного друга, Б. Н. Чичерина (друга конца пятидесятых и начала шестидесятых годов), то в воспоминаниях своих пишет он об авторе «Детства и отрочества» и «Севастопольских рассказов» следующее:

«Образования он не имел почти никакого, ничего не читал (...). Его занимали высшие вопросы бытия, а подготовки для решения их не было никакой. Он и предавался своеобразному течению мысли, перемешанной с фантазией (...) С летами это упорство в исключительно владевшей им мысли, это радикальное отрицание всего, что к ней не подходило, получало все большее развитие. Я видел тому удивительные примеры. В 1860 году он поехал за границу, был в Италии и приехал в Париж, где я находился в это время. Я начинал тогда составлять собрание гравюр старинных мастеров и показывал ему свои приобретения. Рембрандтами и Дюрерами

он восхищался, но Марк-Антониев он презрительно отбрасывал в сторону, уверяя, что вся итальянская школа совершеннейшая дрянь (...) Он покупал в Париже разные раскрашенные литографии для своей будущей школы. Эти литографии, изделия какого-то Гренье, очень ему нравились». Затем, по словам Чичерина, Толстой уехал в Брюссель, откуда часто (на первых порах ежедневно) ему писал. Письма эти не были изданы, вероятно пропали, но в одном из них, сообщает нам Чичерин, «было буквально следующее», и он приводит в кавычках уже приведенный нами отзыв о Гренье и Рафаэле.

Если мы, однако, отзыв этот еще раз внимательно прочтем, мы откроем в нем нечто, о чем без чичеринского рассказа мы бы не догадались и что делает честь «глазу» Толстого (и силе его слова, чему удивляться, впрочем, не приходится). Умилительные литографии, пусть и купленные не в Брюсселе, остаются для нас в той же копилке добродетельных его заблуждений, что и васнецовская «Перепелка» или те лондонские голодный мальчик и сердобольная девочка; но «картофельно-шишковатые формы Рафаэля» стали чем-то удивительно верно увиденным и метко названным с тех пор, как мы поняли, что относятся эти слова вовсе не к Рафаэлю, а к гравюрам (с его композиций большей частью) знаменитого Марк-Антонио Раймонди, четыре века восхищавшего собирателей графики на Западе, как и у нас, и неизвестного лишь незадачливым нынешним комментаторам, высказавшим способное их обессмертить предположение, что «Марк-Антониев» в тексте чичеринских воспоминаний — опечатка, вместо «Микель-Анджелов».³ У гравера этого, подражавшего в приемах своего рисунка Дюреру и другим северным мастерам, обнаженные ягодицы, груди, животы, колени неизменно являют формы, которых наглядней и точнее, чем «картофельно-шишковатыми» и не назовешь.

Так что *видел* Толстой? — Видел. И слышал. И в творческую суть всех искусств (кроме разве что архитектуры) проникал, когда не мешали ему гнездившиеся в нем самом препоны. Было их немало, и проникновение — как и нельзя иначе ожидать — не во всех случаях оказывалось одинаково глу-

³ См. Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, 1960, Т. I, стр. 84 и 579. Подготовка текста и примечания Н. Н. Гусева, В. С. Мишина, Л. Д. Опульской.

боким. Но «местные», отдельные прозрения на редкость бывали остры, а ведь «*le bon Dieu est dans le détail*» верно сказал Флобер; от них наметится путь и к прозрениям, более общим.

2

В той же самой пятой части «Анны Карениной», где умные русские не осматривают того, что считают нужным осматривать глупые англичане (с той оговоркой, впрочем, что и русскими все уже было осмотрено), — и где автор заставляет нас вспомнить начало только что прочитанной странички из чичеринских воспоминаний, издеваясь над знакомым Вронского, Голенищевым, за то, что он интересуется средневековым искусством Италии и пишет книгу о Византии и России, — в той же самой десятой главе говорится о художнике Михайлове, работающем над картиной «Увещание Пилата» (Матф. 37), и говорится такое, что и половины этого у нас в те годы никто ни о какой картине сказать никак бы не сумел. — Пятно стеарина, упавшее на неоконченный рисунок, давало изображаемому Михайловым человеку новую позу:

«Он рисовал эту новую позу, и вдруг ему вспомнилось с выдающимся подбородком энергическое лицо купца, у которого он брал сигары, и он это самое лицо, этот подбородок нарисовал человеку. Он засмеялся от радости. Фигура вдруг из мертвой, выдуманной стала живая и такая, которой нельзя уже было изменить. Фигура эта жила и была ясно и несомненно определена. Можно было поправить рисунок сообразно с требованиями этой фигуры, можно и должно было даже иначе расставить ноги, совсем переменить положение левой руки, откинуть волосы. Но, делая эти поправки, он не изменял фигуры, а только откидывал то, что скрывало фигуру. Он как бы снимал с нее те покровы, из-за которых она не была видна; каждая новая черта только больше высказывала всю фигуру во всей ее энергической силе, такую, какою она явилась ему вдруг от произведенного стеарином пятна».

Проникновенно описано здесь всякое изображение, не обходящееся без выражения; изображение словом, как и кистью, резцом, карандашом. Толстой различает три момента: 1) изобразительно-выразительный замысел (изображается предмет, выражается чувство или понимание предмета), уже

частично осуществленный в начатом рисунке; 2) черту или деталь, непосредственно увиденную (или слухом схваченную) во внешнем мире; 3) элемент случайности, касающийся не предмета (и не чувства), а материала, в котором или с помощью которого осуществляется изображение. Для писателя или поэта, торговца в табачной лавке мог бы заменить подслушанный там разговор, и эквивалентом стеаринового пятна было бы вероятно не чернильное пятно, а например непредвиденная рифма (для стихотворца), дающая новый импульс воображению. Что же до снятия покровов, то в достаточно широком понимании этот образ приложим к работе рисовальщика или живописца, как и, скажем, для создания Стивы Облонского, уже живого для автора и оживляемого для читателя совокупностью характеризующих его «штрихов»; но гораздо наглядней еще применим он к работе скульптора, — не столько лепящего свою фигуру из глины, сколько вырезающего ее из дерева или высекающего из мрамора. «Под скульптурой разумею ту, — писал Микель-Анджело (в письме), — которая совершается *per forza di levare*, силою сниманья». И он же восходящую к Плотину мысль о том, что уже в глыбе мрамора живет образ, высекаемый из нее, освобождаемый резцом ваятеля заново, из своего опыта исходя, высказал в первом четверостишии знаменитого сонета («Non ha l'ottimo artista...») и, кроме того, придав ей иронический оборот (чего проще: сниму немножко камня, и статуя готова), в беседе, записанной, по устному преданию, французским путешественником через десять лет после его смерти. Записи этой знать Толстой не мог, но сонет, когда он писал о Михайлове, мог быть ему известен.⁴ Много позже (в 1906 году), когда упомянуто было о нем в его присутствии, он, по словам Гольденвейзера (стр. 191), «вспомнил про одного мужика, который прекрасно вырезал самоучкой из дерева разные фигуры, и на удивление его искусству сказал совершенно то же, что Микель-Анджело, — «она там, а я только с нее снимаю».

Это все мысли совершенно другого порядка, чем те, что внушались Толстому «Перепелкой» Васнецова или гадкой и доброй картинками в «Academy» или, скажем, восторгами

⁴ Ср. в стихотворении Баратынского «Скульптор» строчки: «Резец с богини сокровенной / Кору снимает за корой».

Нестерова, посетившего его в том же 1906 году и превозносившего до небес более русскую, по его словам, чем французскую картину Бастьен-Лепаж «Деревенская любовь» («по силе, по чистоте чувства могла бы быть во храме», перед ней «обряд венчания мог бы быть еще более трогательным, действенным, чем перед образами, часто бездушными, холодными»). Увы, Лев Николаевич вполне эти восторги разделял. Не исключались этим, однако, и глубже в суть дела входящие суждения об искусстве, хотя бы и живописном. Правда, в «Анне Карениной», там, где снова зайдет речь о картине Михайлова, станет ясно, что Толстой (думая, повидимому, о Крамском) представляет ее себе на довольно-таки передвижнический лад и что восприимчив он в картинах такого рода («исторических», как говорилось) едва ли не исключительно к режиссуре, «постановке» и к характеристике действующих лиц, в отличие от качеств композиции, линейной и красочной выразительности, — с теми, драматическими, в хорошей живописи, конечно, связанных, но в некоторой мере и независимых от них. Так, однако, и все наши писатели второй половины прошлого века, вослед живописцам, воспринимали живопись (достаточно вспомнить немного, что сказано о ней в «Дневнике писателя» Достоевского); но такого меткого анализа изображения в его генезисе, пусть и перенесенного по аналогии из вымысла романиста в вымысел живописца, ни у кого из них, сколько я знаю, нет. И анализ этот даже и не столь односторонен, как сказанное в дальнейшем о картине: ведь стеариновое пятно не только драматическую «экспрессию» рисуемой Михайловым фигуры изменило, но и линейный ее ритм, композиционный узор; не одно то, что актер в своей мимике, в своей игре мог бы изменить, но и другую, не каждому понятную мимику штрихов, контура, светотени, а в живописи красок и мазков. Об этом Толстой ничего не говорит, но мы уже видели, что не вовсе был он лишен зоркости, относящейся к неизобразительным качествам формы, вместе с тем все таки изображающей. Именно к ним: Марк-Антоний картошки не изображал.

И точно также в музыке, хоть и ограничена была восприимчивость его, но отнюдь не так поверхностна, как по некоторым его высказываниям может показаться. Шопен был его любимым композитором, и очень тонко он о нем сказал (в 1896 году, Гольденвейзеру, стр. 38): «Величие Шопена в

том, что как бы он ни был прост, никогда он не впадает в пошлость, и самые сложные его сочинения не бывают изысканы». «Пошлость» здесь означает, конечно, всего лишь банальность. Сыну, Сергею Львовичу, он сказал: «У Шопена, как у всякого композитора, есть банальные места, но у него их мало, и он хорош даже и в этих местах; он банален как-то по-своему». Можно было бы, пожалуй, сказать, что изыскан он тоже бывает, но опять-таки всегда по-своему. Этим, однако, наблюдение Толстого не отменяется: Шопен неизменно своеобразен (даже там, где это не так ясно на первый взгляд) и неизменно естествен в этом невыдуманном своеобразии.

Начиная с девяностых годов, Толстой часто думал о музыке в связи с общими своими размышлениями об искусстве. Он ее назвал стенографией чувства (в 1905 году; записано Гольденвейзером и Маковицким). «Так трудно поддающиеся описанию словом чувства передаются непосредственно человеку в музыке, и в этом ее сила и значение» (Гольденвейзер). Еще лучше Горькому о ней сказал. Назвал ее «немой молитвой души», а недоумение Горького насчет немоты разъяснил: «Потому что — без слов. В звуке больше души, чем в мысли. Мысль — это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренне чист». Все это связано с самой сердцевиной его взглядов на искусство; мы к этому вернемся, как и к противоречиям, которые все это содержит (если чувство непосредственно передается музыкой, более непосредственно, чем словом, тогда стенографией — хотя бы и чувства — лучше ее не называть; что же до слов, то ведь и они звучат, и не просто они разменная монета мысли); но пока что достаточно нам было показать — совсем вкратце, можно было бы куда обстоятельнее это сделать — содержательность его суждений о музыке и музыкантах. Превосходят их по содержательности только литературные суждения его, если отсеять и тут произречения от предвзятостей.

В замечаниях, письменных или устных, по конкретным поводам, Толстой нередко высказывал взгляды и оценки, трудно совместимые как с общим его учением и учительством, так и с учением об искусстве, изложенном в его книге. Того, что он думал об искусстве, додумать, слить воедино он не успел; и мы, пытаясь незаконченную работу его мысли восстановить и ее продолжить, не имеем никакого основания отдавать пред-

почтение широко изложенному или много раз повторенному перед отдельными высказываниями вроде такого, например, записанного (около 1900 года) В. А. Поссе. Сперва был выбран Ибсен, затем похвален Мопассан: «У него все просто, ясно, сильно. Большой талант!» Поссе попробовал возразить, сославшись на то, что у Мопассана «есть рассказы, в которых эротизм сбивается на порнографию. Они не должны бы вам нравиться». Ответ последовал: «Верно, верно. Но знаете... Тут Толстой минуту помолчал и потом вдумчиво сказал: — У настоящего таланта два плеча: одно плечо — этика, другое — эстетика. И если этика слишком подымается, то эстетика опустится, и талант будет кривобокий». Выходит, что требуется в литературе (и, конечно, в искусстве вообще) не полнейшее подчинение эстетики этике, а равновесие между ними; но получается одновременно, что талант — понятие не только эстетическое, но и этическое. Незаконченная эта мысль требует дальнейшего развития, но она, во всяком случае, питательней и плодотворней тех заранее готовых мыслей и оценок, которые внушает Толстому выдуманный им в восьмидесятых годах рационалистический суррогат религии. И как борется в нем самом с этим суррогатом подлинная религиозность, так и с готовыми суждениями об искусстве его врожденное и долгим опытом обогащенное художественное чувство. Мопассана он хвалил, потому что Мопассан ему нравился вопреки заповеди, им самим провозглашенной; и хвалил он его не за благие намерения, а за верно усмотренное мастерство (пусть даруя ему, как и Чехов это делал, ранг слишком высокий). Всего разительнее это расхождение доктрины с подлинным чувством обнаруживается там, где речь заходит о стихах.

Никто из его сверстников, никто, кроме свирепейших шестидесятников, так решительно не отрешивался от стихов, как он; и никто так не любил Тютчева, Фета (на должном расстоянии, однако, от Тютчева), не ценил Баратынского, не вчитывался (при случае) так глубоко в Лермонтова и Пушкина, хоть и объявил однажды — не удержался, рубанул с плеча — все пушкинские поэмы чуть ли не хламом. Бог с ним: пошалил. Зато как верно о стихах Огарева, в 1904 году, Гершензону, издателю их, сказал: «Вялые, слабые». Вернувшись на минуту ко временам Толстого-без-толстовства, стоит привести письмо к Фету, посланное в декабре 1876 года:

«Письмо Ваше с стихотворением пришло ко мне с тою же почтою, с которой привезли мне и ваше собрание сочинений, которое я выписывал из Москвы.

Стихотворение это не только достойно вас, но оно особенно и особенно хорошо, с тем самым философски поэтическим характером, которого я ждал от вас. Прекрасно, что это говорят звезды. И особенно хороша последняя строфа».

Прерываю цитату, привожу эту заключительную строфу стихотворения «Среди звезд», где «говорят звезды» (какая чушь! вполне способен был сказать накануне или на другой день Толстой, даже и до толстовства):

Вот почему, когда дышать так трудно
Тебе отрадно так поднять чело
С лица земли, где все темно и скудно,
К нам, в нашу глубь, где пышно и светло.

Нет сомнения, что это и впрямь лучшая строфа стихотворения; мелодия ее в первую очередь хороша, как всегда у Фета; Толстой и к этой музыке был чувствителен. Быть может, именно пленившись ею, он и не заметил, что наречие «пышно» в последней строке для звездного неба немножко базарно или фамильярно. Может быть, однако, и заметил, только не хотел написать. В знаменитом «Шопот, робкое дыханье» он, при всей любви его к этим стихам, дважды отметил — один раз незадолго до смерти — что на пути к их концу

В дымных тучах пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!

нехорош «пурпур розы» — замечание, несомненно относящееся не к смыслу, в этом случае, а к слишком рокошущему или раскатистому звуку. — Возвращаюсь к письму:

«Хорошо тоже, что заметила жена, что на том же листке, на котором написано это стихотворение, излиты чувства скорби о том, что керосин стал стоить 12 к.

Это побочный, но верный признак поэта».

Стоило привести и эти строки, достойные писем Пушкина.

Так и видишь черно-сюртучное недоуменье читающего их Михайловского или Стасюлевича. — За ними следует:

«С вашими стихотворениями выписал я Тютчева, Баратынского и Толстого. Сообществом с Тютчевым, я знаю, что вы довольны. Баратынский тоже не осрамит вас своей компанией; но Толстой — ужасен. Я открыл его в разных местах, и одно хуже другого. Напр., картинка ночи «не скрипят в сенях ступени». Отчего же не сказать, что не хрюкают в хлеве свиньи? И все в том же роде. А какое издание и как много. Я поскорее упаковал его и отослал назад.

Баратынский настоящий, хотя мало красоты, изящества, но есть прекрасные вещи. Один стих:

Любить и лелеять недуг бытия

стоит дороже всего Толстого».

Конечно, рубанул Толстой другого Толстого наотмашь, но народнической стилизацией внушенное отрицательное сравнение высмеял все же не напрасно. О Баратынском отозвался торопливо и невпопад, да и выбрал из его книги довольно безличное еще стихотворение («Дельвигу», 1821), но отметил в нем опять-таки лучшую строку, зрелую, предвещающую мудрость «Сумерек». Тютчева любил он глубоко и чувствовал проникновенно; книгу следовало бы об этом написать, тем более, что опубликованы теперь и заметки его в его экземпляре тютчевских стихотворений. Для понимания Толстого такая работа была бы важнее, чем все, что пишется о нем без различия столь несходных между собой даже не двух, а вероятно трех или четырех пластов его духовной жизни. Мог он и над Тютчевым назидательно посмеяться (песок, мол, сыпется, а норовит о «Последней любви» рассуждать); мог о Фете, за два года до его смерти сказать, что писал он всю жизнь «только глупости» — Жиркевичу было это сказано, в записках которого, кроме как о Пушкине и Тютчеве, отразилась вообще одна лишь наружная оболочка толстовской мысли, поверхность ее, кора, застывшая, пылью покрытая лава «Исповеди». Доктринальная и доктринерская эта поверхность была скудней скудного, проще простого и уже до конца не изменялась. «Я не люблю стихов и считаю стихотворство пустым занятием», — так было написано некоему С. П. в 1899 году. Следовало написать: «Я люблю стихи, но считаю стихо-

творство пустым занятием». Одно «я» любило, другое считало, а третье пятнадцать, да еще после недодуманной книги десять лет искало, как бы первое со вторым помирить, как бы найти путь к такой мысли об искусстве, которая «пустое занятие» научила бы отделять от занятия непустого, заслуживающего, требующего и внимания и любви.

В том же коротеньком письме сказано: «Если человеку есть что сказать, то он постарается сказать это как можно явственнее и проще, а если нечего сказать, то лучше молчать». Но ведь за три года до того написал Толстой в дневнике: «Главная цель искусства (...) та, чтобы проявить, высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом». И ведь заметил же о тютчевских стихах:

Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде

(из стихотворения «Есть в осени первоначальной...») как хороши они, и что «в прозе так сказать нельзя». А раз есть такое, чего в прозе и «простым словом» не выскажешь, и что чувствуешь потребность высказать, то ведь, значит, и нужен другой язык или два других языка — вымысла и поэтического слова (а почему бы и не стиха?); и еще другие языки — музыки, живописи; да и зачем отрицать, что они есть, что не обойдешься без них, раз без Тютчева «нельзя жить», — как Лазурскому было сказано 20 июня 1894 года?

Однако и двенадцать лет спустя доктринальное отрицание осталось неотмененным. В законченной форме, очень отчетливо и с самой возвышенной мотивировкой оно было высказано в письме к С. В. Гаврилову (П. С. С. 78, 20):

«Я вообще считаю, что слово, служащее выражением мысли, истины, проявления духа, есть такое важное дело, что примешивать к нему соображения о размере, ритме и рифме и жертвовать для них ясностью и простотой есть кощунство и такой же неразумный поступок, каким был бы поступок пахаря, который, идя за плугом, выделял бы танцевальные па, нарушая этим прямоу и правильность борозды.⁵

⁵ Щедрин нашел сравнение в своем роде не хуже: «Это все равно, что кто-нибудь вздумал бы вдруг ходить не иначе как по разостланной веревочке, да непременно еще на каждом шагу при-седая».

Стихотворство есть, на мой взгляд, даже когда оно хорошее, очень глупое суеверие. Когда же оно еще плохое и бессодержательное, как у теперешних стихотворцев, — самое праздное, бесполезное и смешное занятие.

Плохое стихотворство, плохое искусство можно оставить в стороне; но ведь отрицается этим не плохое, а вообще искусство; отрицается Тютчев, без которого «нельзя жить»; отрицается сам он, Толстой, поэт вымысла (ненужного, постыдного даже вымысла, как не раз он отзывался о нем в последние годы), да и поэт нестихотворного слова, которое даже и в этом вот самом зачеркивающем искусстве письмо соотнобразуется с ритмом, «идет за плугом» танцуя, как, впрочем и пахарь — лучше нас Толстой это знал — без танцевальных па танцует, чем и достигается живая, неправильная правильность борозды. Если бы наш логос ничем, кроме «ясности и простоты», не обладал, мы даже и никакого «разумения жизни» не смогли бы из него извлечь, разве что одну тригонометрию, да и были бы сами треугольниками, а не людьми. Конечно, и это знал Толстой; отрицал искусство, но и хотел искусства. Отсюда те мучительные размышления о нем, которых он до настоящей простоты и ясности так и не довел, которыми доктринера в себе не победил, но вымучил из глубокого опыта своего, предвзятостям все же наперекор, несколько, два-три, но решающих — как все больше мне кажется, чем больше я думаю о них — прозрений.

3

Первое, предварительное и не утверждающее, а отстраняющее (я его не включаю в мой коротенький общий счет), заключается в изъятии «красоты» из рассуждений о том, что такое искусство. «Главное заблуждение в том, что люди ввели в искусство неопределенное понятие «красоты», которое все затемняет и путает». Это было сказано Гольденвейзеру в апреле 1897 года (стр. 43). Четвертая глава трактата этому изъятию посвящена; пятая начинается словами: «Что такое искусство, если откинуть путающее все дело понятие красоты? Не то, чтобы понятие это не имело никакого отношения к искусству, и не то, чтобы Толстой вполне правильно его критиковал, но в общем он прав: начинать с этого понятия, вво-

дить его в направляющее все дальнейшие рассуждения определение искусства было бы очень опрометчиво. Во-первых, потому, что, опираясь на него, отличить «прекрасное» в искусстве от «прекрасного» в природе или «жизни» невозможно — как это лишний раз показал Чернышевский простодушной своею диссертацией (я не говорю, что показал он это в ней). А затем, и это главное, потому что «красота» и даже «Красота» давно уже стала псевдонимом положительной эстетической оценки, оценки того, что и в просторечии было бы названо красивым (или прекрасным), но и того, что в просторечии не было бы названо так, а то и было бы названо уродливым. К тому же и «полудикий рабовладельческий народец» в лице своих мыслителей, Платона («учителя человечества», как назвал его сам полудикий Лев, рабовладелец до тридцати трех лет) и Аристотеля (о котором с пользой прочел он французскую книжку Бенара), искусство рассматривал совсем отдельно от священной для него, богам присущей и богами дарованной людям и животным красоты. К ней и к ее взаимоотношению с добром, как и к тому, что Толстой о взаимоотношении этом (отрицаемом им) говорит во второй главе своей книги, я еще — пусть и совсем бегло — вернусь в конце статьи; тема эта к эстетике прямого отношения не имеет: она относится к искусству, освобожденному от эстетической точки зрения, от эстетического определения искусства. Этим освобождением, необходимость которого Толстой прозорливо угадал, нам и следует, в первую очередь с помощью Толстого, заняться. А, значит, и спросить себя еще раз, вместе с ним: так что же такое искусство, если откинуть первенство эстетического к нему отношения, — все равно, замаскированного ли неправомерно расширенным понятием красоты, или обходящегося без маски.

В «Круге чтения», под вторым июля, читаем: «Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другому испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их».

Перенес Толстой это определение искусства в «Круг чтения» из пятой главы своей книги, где оно напечатано курсивом; и недаром он его подчеркнул. Оно — результат длительных, пятнадцатилетних, по собственному его подсчету,

размышлений, и верен ему он остался до конца. Постепенно подходил к нему в предварительных работах и черновиках, экспериментировал сходные формулировки той же мысли на различных собеседниках. В конце марта 1897 года сказал Русанову: «А знаете, как я теперь определяю искусство? — Искусство есть взаимодействие людей, при котором один человек сознательно заражает другого своим чувством или настроением посредством линий, красок, звуков или образов, созданных им». Через месяц (22 апреля) Гольденвейзеру: «Искусство это есть, когда кто-нибудь видит или чувствует что-нибудь и высказывает это в такой форме, что слушающий, читающий или видящий его произведение, чувствует, видит, слышит то же, как и художник» (стр. 43). «Высказывает» значит здесь то же, что в других случаях «выражает» или «передает», а «в такой форме» — то же, что «известными внешними знаками» в тексте книги, где определению предшествуют слова, тоже напечатанные курсивом и очень близкие к сказанным Русанову: «Вызвать в себе раз испытанное чувство и, вызвав его в себе, посредством движений, линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же чувство, — в этом состоит деятельность искусства».

«Деятельность искусства». «Искусство есть деятельность». «Искусство есть взаимодействие». Все эти формулы, как и другие в этом роде («средство общения», например, которая тоже встречается на тех же страницах), свидетельствуют о неполноте или односторонности того понятия «искусство», которое Толстой определяет; но это неполное понятие он определяет, в главном, совершенно верно, а односторонность его понимания уже тем хороша, что противоположна обычной, — в наше время, как и в его, самой распространенной. Ни к какому предмету, особенно столь сложному, подойти сразу со всех сторон нельзя, и для начала к искусству правильной всего подходить именно отсюда, со стороны движения, становления, а не — как всегда это нынче делается — со стороны готового и замкнутого в себе произведения искусства, заранее наделенного на оценочное восприятие его качеств, независимых от того, что им выражено или «сказано». В русском языке делание (изготовление) от других человеческих «деяний» различается нечетко. Толстой говорит о деятельности,

но тут же (в разговоре с Гольденевейзером) и о «произведениях». Различие, не замечаемое им, соответствует различию английских глаголов *to make* и *to do*, а по-гречески — существительных *пойезис* и *праксис*. Но существенно тут, что искусство и в самом деле предшествует произведениям искусства, есть *праксис* прежде, чем *пойезис*, и что Толстой, в собственном писательстве своем, это почувствовал, хоть различия до конца и не осознал. Именно так понимал он вопрос «что такое искусство?», в долгих размышлениях и чтениях готовя свою книгу. О произведениях искусства лишь во вторую очередь мыслил, и на эту отдельную (что осталось скрытым от него) тему лишь позже — как мы еще увидим — нечто значительное высказал. Но и основная интуиция, пятнадцать лет предносившаяся ему, двигавшая его мысль, что искусство есть язык, особый человеческий язык, наряду с другим, обычным нашим языком, никогда с полной ясностью — этими именно словами — не была им высказана. Слову «язык» он и вообще переносного смысла не придавал; не вижу, чтобы он применял его даже как синоним «слога» или «стиля». Это столь свойственное ему недоверие к метафоре повредило в данном случае его мысли, но зато и уберегло его от безответственного скольжения по чересчур податливым словам.

Слишком легко говорить, как это постоянно делали и делают, о «языке искусства» (или музыки, живописи и т.д.), ничего определенного при этом не думая и вовсе не понимая, что быть языком — одно, а пользоваться языком («таким-то» языком) — совсем другое. Настоящих своих предшественников Толстой не знал. Не заметил, что Кант, в «Критике способности суждения», при классификации искусств исходил из их аналогии с языком. Неизвестным ему, повидимому, осталось, что Гете назвал искусство высказываньем несказанного (не совсем так: *Vermittlung des Unaussprechlichen* — опосредствованной передачей, языковой ее не назвал; он точно также понятия языка в расширенном смысле не применял). Не знал он и что его немецкий современник (точнее: сверстник Достоевского), известный историк литературы Герман Геттнер (*Hettner*) еще в 1845 году, в небольшой работе, критикующей (с позиций Фейербаха) эстетику Гегеля, написал об искусстве, что все оно сплошь «ничто иное, как язык», но другой язык, не практический и не научный: язык, обходя-

щийся без понятий; подчеркнув при этом, что тем самым искусству дает определение антропологическое, до всякой эстетики, предварительное — вернее (но он этого не видел), основополагающее, первичное.

Это и Толстой мог бы сказать о своем. Оно было предвосхищено, хоть и не в форме определения, и в значительной мере Толстому внушено хранящейся и сейчас в яснополянской библиотеке и цитируемой им книгой Верона (Eugène Véron, *L'Esthétique*, 1878). Область искусства — говорится в этой книге — шире, чем область «прекрасного»: в нее входит все то, что высказано не на языке науки, не при помощи чисто условных знаков, а на более естественном для человека, потому что исконном, до-научном его языке ощущений и чувств, заражающих зрителя или слушателя. Это резюме, где я исключительно пользуюсь выражениями, встречающимися у Верона, показывает и близость его концепции к толстовской и его чуждую Толстому бесцеремонную манеру на разные лады поворачивать слово «язык». Толстой цитирует в третьей главе его определение («Эстетика», стр. 106): «Искусство есть проявление чувства (*émotion*), передающегося во вне сочетанием линий, форм, красок или последовательностью жестов, звуков или слов, подчиненных известным ритмам»; и далее, уже не называя автора, критикует это определение: «Искусство не есть (...) проявление эмоций внешними знаками», а, говоря о «заражении», на него не ссылается, тогда как Верон «заражение» это с самого начала имеет в виду и уже в предисловии (стр. VII) пишет: «Художнику, действительно взволнованному (*ému*), достаточно отдать свое волнению, чтобы оно стало заразительным и чтобы получить рукоплескания, на которые он имеет право».

Фраза эта характерна для Верона (1825-1889), рассудительного и неплохо осведомленного, хоть и болтливого журналиста, книга которого, нынче забытая, довольно усердно читалась (выдержала четыре издания, из коих два посмертных). Мысль о заражении эмоцией он Толстому (получив ее в конечном счете от Дидро) подарил, чего тот прямо в своей книге не говорит, вероятно потому, что вполне созвучной ее нашел давнишнему своему чувству. «Поэт (...) горит и жжет других», читаем мы уже в записной книжке 1870 года. Мысль насчет общения и единения людей в искусстве тоже Верону

близка, хоть и не имеет для него такого веса, как для Толстого. Отличаются его воззрения от толстовских — и даже выгодно отличаются, на первый взгляд — тем, что знакам, «языкам», передающим эмоции, он больше уделяет внимания, чем Толстой; говорит, например (стр. 23), что «главнейшие формы искусства проистекают путем постепенного раздвоения из устного или письменного языка» (т.е. путем дифференциации знаков, условно обозначающих, с одной стороны, изображающих или выражающих, с другой). Природа знаков, для искусства пригодных, не безразличных, не довольствующихся своей условностью, а обусловленных тем, что им поручено выражать, отнюдь от него не ускользнула; и как раз этого Толстой в его книге не заметил и у него не перенял. Но, помимо этого, и недосказанных, да и не проверенных генетических соображений (Толстого совершенно не интересовавших), Верон ничего в плодотворной этой теме не увидел, и последовательно обосновать своих взглядов не сумел. При всем здравом смысле и верности исходных положений, книга его грубовата и поверхностна. В ней нет толстовских крайностей, моралистического или опрошенческого осуждения девяти десятых мировой литературы — которое, однако, у Толстого с центральными его мыслями об искусстве вовсе не связано — но нет в ней и того медленно осязающего предмет толстовского тяжелодумья, которое вблизи открывает ему порой то, чего другому не открывает никакая даль. Толстой не говорил о языке, но, слова этого не произнося, сказал об искусстве как языке больше верного и нужного, чем этот предшественник его и чем все прочие прочитанные им и упомянутые в его книге авторы.

Поэт «горит и жжет других». Позже он, конечно, не повторит таких сверх-романтических, хоть и до-романтических, из «бури и натиска» долетевших до него, как искры, слов. Вместо ожога чужим огнем, облюбовал он теперь все равно, что каким-нибудь Либигом или Фирховым внушенное, но у Верона вычитанное «заражение». Слово опасное, спору нет. Стоит как следует взволноваться и — аплодисменты налицо; а если и не одобренье (Толстой его отмечает), то зараженье. Учесть одобренье значило бы в эстетику вступить; Толстой, в отличие от Верона, этого не делает и, вместе с Вероном, знает, что дело не в простой заразе, а в сознательно переданной — знаками, которые он от признаков или симпто-

мов, пусть и с трудом, но отличает. Если и существует в готовый оборот речи превратившаяся «заразительная улыбка», если зевота — симптом! — и впрямь неизменно и до смешного заразительна, то искусство тут еще не причем.⁶ Все это в пятой главе подробно разъяснено. «Если человек заражает другого и других прямо непосредственно своим видом или производимыми им звуками в ту самую минуту, как он испытывает чувство, заставляет другого зевать, когда ему самому зеваётся, или смеяться, или плакать, когда сам чему-либо смеется или плачет, или страдать, когда сам страдает, то это еще не искусство. Искусство начинается тогда, когда человек, с целью передать другим людям испытанное им чувство, снова вызывает его в себе и известными внешними знаками выражает его».

Мысль о заражении, однако, хоть и сознательном, и о заражении именно чувствами, хоть и заново в себе вызванными, этим еще не устранена. Полюбились она прочно, стала незыблемой казаться Толстому, как видно хотя бы по «Крейцеровой сонате». Но повесть эта — или «Война и мир» — разве только чувствами нас и «заражают», и разве восприятие их целиком сводится к заражению? «Как только зрители, слушатели заражаются тем же чувством, которое испытывает сочинитель, это и есть искусство». Но ведь такое впрыскивание чувств производит и политический агитатор, и военачальник перед атакой, и защитник на суде, причем его ли это собственные чувства, решить бывает затруднительно. «Признак, выделяющий настоящее искусство от поддельного, есть один несомненный — заразительность искусства». Тут уже (в пятнадцатой главе) Толстой перешел в область оценки, самую, конечно, для теории заражения чувством опасную. «Чем сильнее заражение, — эти строчки, как и те из пятой главы, в «Круг чтения» перенесенные, он подчеркнул — тем лучше искусство как искусство, не говоря о его содержании, т.е. независимо от достоинства тех чувств, которые оно передает». Но если так, то ведь надлежит высшую премию выдать мелодраме, зрители которой в последнем акте бросились на сцену, чтобы учинить расправу над злодеем или вырвать у него нож из рук. Придется, повидимому, отказаться и от за-

⁶ В «Анне Карениной» (IV, 14) лакей московской гостиницы Егор заражается восторженностью влюбленного Левина, «как люди заражаются зевотой».

ражения — да еще измеряемого его силой, и от «чувств», во всяком случае от господства совсем простых однозначных чувств. Но что же тогда останется? Или не останется ровно ничего?

Толстой так и не нашел для своих мыслей об искусстве такой, гораздо менее спорной, формулировки, какую, незадолго до своей смерти и до смерти Толстого, для очень сходной мысли нашел Анненский. Сопоставление этих имен никому еще, кажется, в голову не приходило; цель поэзии, однако, в статье, которую в 1909 году напечатал «Аполлон», Анненский определил как намерение «внушить другим через влияние словесное, но близкое к музыкальному, свое мировосприятие и миропонимание». «Внушить», да еще «через влияние» — это, конечно, гораздо более осторожно и гибко сказано, чем «заразить», а «мировосприятие и миропонимание» и совсем осмотрительно сочинены, по сравнению с отделенным от своего предмета, а, значит, и оттенка «чувством». Что же до влияния, «близкого к музыкальному», то квалификация эта не для одной поэзии действительна, так как имеет в виду особую природу передаточных средств — иначе говоря, знаков, языка; не ту, какая присуща обычным (внепоэтическим) словесным средствам. Это, собственно, хоть и без особого ударения сказано, главное в определении Анненского. Не будь этого, «внушение» можно было бы понять слишком повелительно или хитроумно, а «влияние» приравнять к заражению («инфлуэнца» происходит от глагола, значущего «влиять»); миропонимание же, как и мировосприятие, возможно ведь в отдельности от музыки изложить, следуя веленьям Афины, а не Аполлона. И Толстой, несомненно, все это чувствовал; о музыке не забывал; иноприродность «заражающих» передаточных средств, сравнительно с обычными, словесным, ощущал; совсем отчетливо мыслить обо всем этом не научился, но зато и формулами, наощупь найденными, не довольствовался. С Анненским мы соглашаемся сразу, но если б Толстого не читали, бесплодным осталось бы наше согласие; да и в конечном счете его мысль, очень может быть, Толстой ему и подсказал.

Камни ворочает, спотыкается, попадает порой впросак. В 89-м году, когда рукопись первой статьи об искусстве лежала на его столе, работа шла очень туго. «Опять бился над статьей». «Писал об искусстве. Совсем запутался. Даже досадно».

«Пытался писать об искусстве и убедился, что даром трачу время. Надо оставить... Не пишется от того, что неясно». Неясным многое осталось и когда статья была окончена. В том же году записал: «Пришло в голову, что искусство есть одно из орудий выражения нового содержания. Пустое же искусство нашего времени есть вызывание таких же чувств, как и испытываемых художником не для того, чтобы выразить что-нибудь, а просто так: как Петрушка читал книгу для процесса чтения». Мысль запуталась. Намечалось важное различие между передачей чувства и выражением чего-то более сложного, чем чувство. Оно, однако, и в книге не прояснилось. Узлов недодуманной мысли и там осталось много. Да ведь еще и негодование мучило, учительство отвлекало, когда писал он для печати в поздние эти годы. Свободно возникали у него мысли в беседах, записных книжках, дневниках, черновиках, да не успевал он доводить их до конца...

К 94-му году относится запись: «Художник действует не доводом, а мимичностью, вызывая подражательность», где вспыхнувшая, очень существенная для характеристики поэтической речи (не одной поэзии, но и всех искусств) мысль тотчас потухает, отождествив «мимичность» эту даже не с подражанием, а с приглашением к подражанию. В 96-м году записано об искусстве (как я уже упоминал), что его «главная цель — высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом»; и в статье того же года «О том, что называют искусством» сказано, что «картина, изображающая пейзаж, может передать мне то, что она имеет сказать, только изображением воды, кустов, полей, дали, неба», и что «музыка, если она музыка, имеет сказать нечто такое, что может быть выражено только музыкой». Музыкой как «стенографией чувства»? — можно спросить, вспомнив, что было сказано гораздо позже Гольденвейзеру в присутствии Маковицкого. Но ведь стенографический знак абсолютно условен и мертв; и какого чувства или чувств, — не тех ли, каких не назовешь словами? А ведь музыка, как Горькому было сказано, — немая молитва души, «потому что — без слов», и «в звуке больше души, чем в мысли». Мы совсем на пороге Сезама, но волшебной палочки все нет как нет. Хоть и читаем в пятой главе, лучшей во всей книге, о том, что «деятельность искусства есть деятельность очень важная, столь же важная, как и

деятельность речи, и столь же распространенная», но если спросим: в чем же особенность другой этой деятельности, тоже ведь по-другому, по-своему речевой, — никакого прямого ответа не получим, кроме все того же: «словом передают мысли, а искусством чувства». По различнейшим поводам сам Толстой дает нам понять, что этого мало, но решающего слова как бы не хочет — не может, на самом деле — произнести.

4

И все-таки от него больше, чем от кого-либо другого, узнаем мы об искусстве как о языке, то, что возможно и должно нам узнать. Кое-что уже узнали, узнаем и кое-что другое — о самом языке этом, о «речевой деятельности», как говорят нынешние лингвисты, но не о той, о какой они и говорят, и вправе (как лингвисты) говорить; а затем и о «произведениях искусства», об изготовляемых этой деятельностью речевых изделиях.

«Художник действует не доводом, а мимичностью». Промелькнуло это словцо, исчезло; но мысль, относящуюся к нему, Толстой не позабыл. Он явно возвращается к ней, когда в пятой главе приводит «самый простой случай» того, как человек осуществляет искусство, снова вызывая в себе чувство, испытанное им прежде, и выражая его «известными внешними знаками».

«Мальчик, испытавший, положим, страх от встречи с волком, рассказывает эту встречу и, для того чтобы вызвать в других испытанное им чувство, изображает себя, свое состояние перед этой встречей, обстановку, лес, свою беззаботность и потом вид волка, его движения, расстояние между ним и волком и т.п. Все это, если мальчик вновь при рассказе переживает испытанное им чувство, заражает слушателей и заставляет их переживать все, что и пережил рассказчик — есть искусство. Если мальчик и не видел волка, но часто боялся его и, желая вызвать чувство испытанного им страха в других, придумал встречу с волком и рассказывал ее так, что вызвал своим рассказом то же чувство страха в слушателях, какое он испытывал, представляя себе волка, — то это тоже искусство».

Нельзя с этим не согласиться; но существенно тут не

заражение подлинным или хорошо имитированным (всего лишь воображаемым) чувством — мать этого мальчика заразилась бы им даже при совершенно протокольном перечислении фактов, о которых идет речь, — а в характере применяемых мальчиком знаков, совершенно отличных от тех, из которых состоял бы протокол. Они наглядны, они были бы нагляднее протокольных и в басне или коротенькой новелле на эту тему, которые отличались бы от протокола ритмом, словарем, применением, может быть, междометий, предпочтением, отдаваемым настоящему времени перед прошедшим, и мало ли чем еще: чертами, отличающими искусство, даже и плохое (к оценке, будь то лишь степени заразительности, мы не переходим), от неискусства, хотя искусство тут было бы другого «жанра»: не драматического, а повествовательного. Все дело в том, что знаки, применяемые в рассказе мальчика — слова, возгласы, жесты, меняющиеся выражения лица — относятся (по крайней мере, в большинстве) не к категории обозначающих или только обозначающих, а к категории — одновременно или порознь — изобразительных и выразительных знаков. Мимичность, если подхватить слово, найденное, но не использованное Толстым, — это и есть не подражание, не воспроизведение чего-то заранее готового, а слияние выражения с изображением, если не в каждом отдельном знаке, то в речевой деятельности художника, взятой в целом, в языке всякого — и словесного, и только пользующегося словами ради вымысла, и совсем без слов обходящегося — искусства. Толстой продемонстрировал такое «действие без доводов» на как нельзя более наглядном и простом примере, хоть и не уяснил себе до конца, чего именно пример этот должен служить примером.

Есть у него в той же книге (в конце четырнадцатой главы) и другой пример того же рода. Он противопоставляет не по душе пришедшемуся ему «Гамлету», со знаменитым Росси в главной роли, прочитанный им незадолго до того рассказ «о театре у дикого народа вогулов». Пересказывает он этот рассказ с еще бóльшим, хоть на первый взгляд и незаметным мастерством, чем рассказ мальчика о волке. Тема представления — оленья охота. «Драма в том, что охотник бежит по следу оленьей матки с детенышем». Детеныш ранен; «он не может бежать, жметя к матери, мать лижет ему рану. Охотник натягивает другую стрелу. Зрители, как описывает присут-

ствующий, замирают, и в публике слышатся тяжелые вздохи и даже плач. И я, — кончает свой пересказ Толстой, — по одному описанию почувствовал, что это было истинное произведение искусства» (в отличие от «Гамлета», «фальшивого подобия» такого произведения).

Похвала вогулам справедлива; с ней готов согласиться и автор недавней английской книги о Толстом (John Bailey, *Tolstoy and the Novel*, 1966), который по поводу сравнения с «Гамлетом» весьма кстати приводит в другой связи сделанное ироническое замечание Henry James'a: «Какая экономия средств — и какая экономия целей!» (по-русски, быть может, естественней сказать: намерений). Но для уразумения основных особенностей искусства как языка, в отличие от языка, не стремящегося, а то и боящегося быть искусством, отличие, этой иронией подчеркнутое, никакой роли не играет. Сложность намерений и примененных для их осуществления средств способна только затемнить основную и всегда одинаковую особенность этих средств (как и намерений, поскольку они относятся к искусству), а простота или сложность тех и других, оценки отнюдь не предрешая, обнаруживает еще ясней то неизменное, что всегда свойственно языку, иначе называемому искусством, в отличие от языка, у которого второго имени нет.

Неизменную особенность эту я называю почти так же, как ее однажды назвал, слишком быстро об этом забыв, Толстой; но не мимичностью, а миметичностью, пользуясь словом, более отдаленным то «мимики» (она лишь частичка имеемого мною в виду и вполне отъемлемая от него) и более близким к греческому слову «мимезис». Мимезис — не подражание, хотя под конец греческое слово этот смысл и приобрело, не воспроизведение, даже не изображение, а выражение, так и остающееся всегда выражением, но прибегающее к изображению, неспособное обойтись без него, сливающееся с ним воедино. Миметично любое изображение или изобразительное действие, поскольку изобразитель при их помощи нечто выразил, а не просто нечто внешнее, сквозь его мысль и чувство не прошедшее, воспроизвел (как это имеет место при механической репродукции чего бы то ни было). В рассказе о встрече с волком мальчик миметически выражает — или изображает (слова эти, поскольку речь идет не

о деталях рассказа, а о рассказе в целом, становятся взаимно-заменяемыми). то, что с ним произошло или могло произойти; частью он это делает и мимически, т.е. с помощью мимики, но это лишь привходящее обстоятельство, в других видах мимезиса отсутствующее. Миметична звуковая сторона слова (в поэзии), миметичен, если не метр, то ритм стиха и прозы, да и вымысла, как и самый вымысел; миметичны красочные, линейные и объемные приемы изображения в изобразительном искусстве, поскольку в нем нет изображения без выражения. «Картина, писал Толстой, — изображающая пейзаж, может передать мне то, что она имеет сказать, только изображением воды, кустов, полей, дали, неба». Не совсем ясно, какую из двух возможных мыслей хотел он этой фразой высказать, но верны обе: без этого изображения художник не мог бы выразить того, что он им выразил, и, чтобы выразить это, изображаемого было достаточно. Изображенным — но, конечно, и способом его изображения — было сказано все, что картина «имела сказать».

Изображение не может не искать сходства; если сходства нет, ничего не изображено. При миметическом, т.е. выражающем изображении, сходство это, однако, двойственно: кусты и поля похожи на кусты и поля, и даже на эти самые яснополянские (предположим), кусты и поля; но еще более они похожи на увиденные, почувствованные, пережитые живописцем кусты и поля, до того похожи, что тождественны им, хоть и волен живописец утверждать, что те, им увиденные, а нами невиданные, были еще милей и зеленей. В первом случае, правда, сходство индивидуально и коллективно проверяемо (хоть и не сводимо к измеримым соответствиям и общепринятым условностям — картографии, например), тогда как во втором проверить его нельзя, потому что увиденное и выраженное художником, покуда картины нет, нашему чувственному опыту недоступно. Тем не менее, мы от всего миметически высказанного, выражающе изображенного именно такого свойства требуем, мыслим это сходство как достигаемое и достигнутое — или не совсем достигнутое в иных случаях — тождество, а не как заранее данную тождественность (А есть ничто иное, как В). В невнимании к этому различию сильный недостаток учения об искусстве Бенедетто Кроче. У него «интуиция» и «выражение» то же самое; есть только выра-

женное, выражаемого нет. Но если в выражении нет для нас присутствия еще не выраженного, то выражение ничего не выражает и перестает быть выражением. Толстой этим словом в том денатурированном смысле, который придавал ему Кроче, никогда не пользовался.

О крике, выражающем боль, никто не скажет, что он выражает крик. Искушения такого рода появляются лишь там, где выражаемое нельзя назвать (обозначить словами), или можно это сделать лишь очень неопределенно и расплывчато; там, где высказывается несказанное: в области искусства. Но и чистого выражения, ничего не изображающего, в этой области нет. Оно всегда миметично. Даже кратчайшее лирическое стихотворение из одних междометий не состоит. Даже музыка, хоть и выражает «нечто такое, что может быть выражено только музыкой», хоть в ней и нет никаких кустов и полей, все-таки выражаемое ею своим движением и звуком описывает, делает наглядным для слуха, превращает в музыку то, что не было музыкой. Предмет музыкального мимезиса — нечто дозвуковое, неслышное, то, что в слышимом обнаруживается, нами познается, на ходу сливается с ним или заменяет его, не будучи все же им самим. Выражающее изображение не направлено тут (кроме как в порядке синэстезии или косвенно в программной музыке) ни на что осязаемое или зримое, но и ни на что непосредственно доступное слуху. Как и во всех других искусствах, изображается музыкой нечто, до того не имевшее образа; ведь изображать и для портретиста не значит готовое воспроизводить; отличие музыки от других искусств лишь в том, что образы не имеют никакого не только осязаемого и зримого, но и слышимого коррелата, сходство с которым было бы ею искомо наряду с другим сходством, непроверяемым, которое имеется в виду, когда говорят, что нечто выражено верно или правдиво. Первенствует, однако, это сходство и в искусстве портретиста, ищущего двух сходств, связанных между собой. Вогулы, переодетые оленями, мальчик, рассказывающий о волке, изображают ими и нами мыслимые образы волка и оленей, миметически отождествляются с этими образами; сами олени, сам волк остаются в тундре и в лесу. И все-таки — оттого, должно быть, что, будучи людьми, мы все причастны выражению — угадываем мы или верим, что способны в каждом отдельном случае уга-

дать, налицо ли это сходство, тождество это, или его нет. О подлинности искусства как языка лишь на этом основании и судим.

5

Внеся в учение Толстого о выражении чувства и заражении чувством некоторые, отчасти им же намечавшиеся, поправки, и дополнив, продвинув дальше ход его рассуждений при помощи отсутствующих у него понятий языка в широком смысле слова (а, тем самым, искусства как языка) и мимезиса (на пути к которому уже не раз оказывалась его мысль), мы пришли или подошли к представлениям об искусстве довольно связным и в воздухе не висящим, но, без сомнения (как я заранее предупредил) однобоким, — неполным уже потому, что произведениям искусства уделено было нами несравненно меньше внимания, чем искусству до всяких произведений, а затем и потому, что есть и до произведений, в миметической речевой деятельности всех родов, без внимания оставленные нами элементы или черты, к мимезису, к изображающему выражению не сводимые и вообще не смысловые. Ими Толстой, об искусстве размышляя, не интересовался, кроме одного, быть может, случая, которым я тотчас и займусь. Что же до произведений, до их цельности и внутреннего устройства, то высказал он об этом тоже всего-навсего одну, но в высшей степени плодотворную мысль, к которой я затем и перейду.

«Поправляя этюд ученика, Брюлов в нескольких местах чуть тронул его, и плохой, мертвый этюд вдруг ожил. Вот, чуть-чуть тронули, и все изменилось, — сказал один из учеников. Искусство начинается там, где начинается чуть-чуть, — сказал Брюлов, выразив этими словами самую характерную черту искусства». — К этому рассказу о Брюлове Толстой возвращался не раз, нравился он ему, хоть и мог бы он себе сказать, что если искусство начинается с «чуть-чуть», с точнейшего «так, а не иначе», то любое выражение чувств или чего угодно станет искусством лишь в тот миг, когда так, а не этак, будет в нем нечто выражено. Дело, значит, не в чувствах и не в выражении их, а в качестве знаков, которые их выражают. Чуть измени их — так думает или должен думать (в данном случае!) Толстой — и выражено будет не то, или ничего не будет выражено.

Рассказчик в двенадцатой главе книги приурочен к рассуждениям о музыкальном исполнении. «Так что заражение искусством музыки (...) мы получаем только тогда, когда исполняющий [прибавлю: и до него композитор] находит те бесконечно малые моменты, которые требуются для совершенства музыки. То же самое и во всех искусствах: чуть-чуть светлее, чуть-чуть темнее, чуть-чуть выше, ниже, правее, левее — в живописи; чуть-чуть усилена или ослаблена интонация — в драматическом искусстве; чуть-чуть недосказано, пересказано, преувеличено в поэзии, и нет заражения. Заражение только тогда достигается и в той мере, в какой художник находит те бесконечно малые моменты, из которых складывается произведение искусства». — Но эти «бесконечно малые моменты», можно себя спросить, все ли они относятся к выражению и — через него — к заражению? Чуть-чуть ниже или выше в картине (вроде той, что Михайлов показывает Анне и Вронскому) может ведь ничуть не коснуться инсценировки ее сюжета и, тем не менее, нарушить равновесие ее композиции. И, кроме того: чем один заражается, тем другой, пожалуй, и не заразится; а воспротивиться заражению я ведь могу и не только потому, что какое-то несоблюденное «чуть-чуть» ослабило передачу чувства или чего иного, но и потому, что из-за совсем постороннего этой передаче изъяна картина мне не нравится.

Теория не то, чтобы пошатнулась, но потребовала дополнения. Коварное «чуть-чуть» перевело толстовскую мысль с антропологической точки зрения на эстетическую, — с которой опасно начинать, но изъять которую раз навсегда из рассуждений об искусстве невозможно. Недаром Толстой и о том, как «складываются» *произведения искусства* именно в этой связи заговорил: о речевой деятельности можно более пространно, не обращаясь к оценкам, рассуждать, чем о продуктах этой деятельности. Нет сомнения, однако, что и в языке, даже и в чуждом всякому искусству обыденном словесном языке, соблюдаются, пусть и не осознаваемые говорящими, элементарные эстетические правила, меняющиеся от языка к языку, но не имеющие ничего общего с передачей сведений или смыслов, осуществляемой этими языками. Сюда относится, например, всяческая «евфония» в точном смысле этого слова (а не в навязанном ему смысле звуковой вырази-

тельности), но также стремление избегать слишком частого повторения тех же слов, тех же или сходных звуков, как и все, что относится — в музыке к чистоте тонов, в архитектуре к пропорциональности (а не к выбору определенных пропорций), в живописи к соотношению красок и форм, независимо от предметного их значения. Конечно, может «чуть-чуть» и ближайшим образом обуславливать именно выражение — человеческого лица, например, «в натуре» или на холсте; но ограничить этим его роль в искусстве невозможно. Структурные качества, миметически нейтральные, способны, тем не менее, содействовать мимезису или ему мешать. В единстве целого они выступают на первый план; нужно, чтобы это единство было также и смысловым; но требуется единство не только ради смысла и с требованием выразительности ничего не имеет общего. В «Божественной Комедии» сто песен (1 + 33 + 33 + 33); это всего лишь структура — высказывание смысла ею не обусловлено; но высказанному смыслу она все-таки нужна. Мыслить искусство исключительно как выражение, это значит и все структуры его считать выразительными, смысловыми. Толстой к этому тяготел. Он ошибался. Но это помогло ему очень верно увидеть то, чем определяется как структурная, так и смысловая цельность художественных произведений и правильно определить иерархию этих цельностей.

«Самое важное в произведении искусства — чтобы оно имело нечто вроде фокуса, т.е. чего-то такого, к чему сходятся все лучи и от чего исходят. Тем и важно хорошее произведение искусства, что основное его содержание во всей полноте может быть выражено только им». Эти слова Толстого, сказанные Гольденвейзеру в 1900 году (стр. 68), я уже приводил в моей статье о «Двух искусствах» (Нов. Журн. 100), из Гольденвейзера их и почерпнув, как и Виноградов, на которого я там же сослался. Мысль эта, однако, не в разговоре возникла: она появилась у Толстого во время работы над предисловием к переводу романа В. фон Поленца («Der Büttnerbauer») и была формулирована несколько раз в черновиках этого предисловия (П.С.С. 34, 520 и сл.); второй датирован 22-ым мая 1900 года; из печатного текста эти рассуждения были изъяты. В первом черновике читаем:

«Достоинство этой книги первое и главное то, что она есть истинное художественное произведение, что автор выска-

зал в ней то, что он сильно, продолжительно чувствовал и чего нельзя было выразить иначе, как в художественном и именно в этом художественном произведении. Это истинно художественное произведение потому, что в нем есть фокус, в зависимости от которого развиваются лица, характеры и события, и фокус этот именно такой, какой должен быть, в истинном художественном произведении. Это не только правда о том, что любит, о чем жалеет, чего желает автор. Если я не ясно выражаюсь, то это именно потому, что художественный фокус всегда такой, что его словами точно нельзя выразить: можно только приблизительно указать на его особенности, отличающие его от других, а между тем он очень ясен и определен, яснее всего того, что можно выразить словами. Если смысл художественного произведения может быть выражен словами, то незачем было и писать мнимое художественное произведение. Если хочешь доказать, что наследственные черты переходят от отца к сыну, то нет надобности писать об этом драму...» Следуют другие такого же рода отрицательные примеры.

Второй черновик (зачеркнутый) ближе определяет «фокус»: «Этот роман есть истинно-художественное произведение потому, что в нем есть тот собирающий в одно, приурочивающий все к одному — все события, лица, характеры — фокус, который должен быть в каждом художественном произведении». Затем воспроизводится прежний текст до фразы «яснее всего того, что можно выразить словами», подкрепленной третьим (тоже зачеркнутым) черновиком: «Если смысл произведения может быть выражен словами, то это наверное не художественное произведение, а подделка под него».

Четвертый черновик на подмогу посредственному (но не вовсе плохому) роману Поленца призывает на помощь Гомера: «Что передает Илиада? Она передает и прелесть войны, и ужасы войны, и жалость к падшим, и восхищение перед греками, и любовь к троянцам, и веру в судьбу, и покорность ей. Но это все не говорит того, что передает с совершенной ясностью и необходимостью вся Илиада. Она передает что-то еще большее, более глубокое, то, что никак не может быть передано словами, а может быть передано только всеми лицами и событиями, с внутренней необходимостью соединенными вокруг одного фокуса, составляющего сущность всякого на-

стоящего художественного произведения. То же и в этом романе. Он передает прелесть земледельческой жизни, и жалость к ее гибели, и любовь к природе и к семье, и жалость к невежеству, к грубости сельского населения, и любовь к его силе и простоте, и радость земледельческой жизни. Но это все не говорит того, что говорит художественное произведение своими лицами, характерами, событиями, приуроченными к художественному фокусу, делающему их все необходимыми и достаточными, как говорится в математике». И — можно прибавить — как были необходимы и достаточны те кусты, поля и дали на пейзажной картине, чтобы высказать все то, что картина «имела сказать».

«Фокус», — пишет Толстой уже с некоторым надсадом в шестом черновике, — «составляет сущность того внутреннего содержания», которого ничто, кроме данного художественного произведения, передать не может. Если прибавить к этому из записи Гольденвейзера «к чему сходятся все лучи и от чего исходят», будет собрано все, что об этом невыразимом словами смысловом ядре произведения, об этой «сущности» его содержания, даже еще и «внутреннего», о самой его сердцевине Толстой успел или сумел, или нашел возможным, не впадая в болтовню, сказать. В книге «Что такое искусство?» ничего об этом нет. Имел он в виду искусство вымысла (и, быть может, то, что соприкасается с ним в живописи) больше, чем искусство слова, и более непосредственного, чем другие искусства.⁷ Оттого и подчеркнуто, что имеющее быть выраженным — чувства, по всегдашнему его мнению, а не (конкретизированное соответственно теме) «мировосприятие» и «миропонимание», как у Анненского, что было бы верней, — никак не может быть выражено словами, а только событиями и лицами. Конечно, через слова. Об этом умалчивается как об очевидном, тем более, что о выражающей — миметической — силе самих слов (в поэзии) Толстой,

⁷ В девяностых годах (да уже и раньше) Толстой начал враждебно отзываться о вымысле: ненужен, отживает. 10 июля 1893 г. писал об этом Лескову; тот встревожился, чуть ли и сам не вздумал от вымысла отрекаться. Утешая его, Толстой писал 14 мая 1894 г.: «...вымысел вымыслу рознь. Противны могут быть вымыслы, за которыми ничего не выступает». Выступает за вымыслом именно эта «сущность содержания» его.

по своему обыкновению, забывает, хоть на деле, как мы видели, отлично ее и чувствует. Его собственное искусство к этим, проявившимся при чтении Поленца — и Гомера — мыслям первоначально его и привело. Их зарождение довольно отчетливо различимо в нередко цитировавшемся письме Страхову по поводу «Анны Карениной» (П.С.С. 62, 268 сл.):

«Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собирания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особ, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя, а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения». Далее говорится о бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и о «законах, которые служат основанием этих сцеплений», после чего идет фраза, чаще всего приводимая из этого письма: «И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уверить *qu'ils en savent plus long que moi*».

Критикой критики отвлекаться не будем. Важно для нас, что Толстой осознал уже тогда невозможность (не фактическую только, но и принципиальную) высказать словами то, что он высказал романом, или то, что он им «хотел сказать». Не говорит он, однако, как объявили бы многие и тогда уже (на Западе) и позже, что ничего он не высказывал, ничего «сказать» и не хотел. То, что он высказал, во-первых, высказано было не словами, а вымыслом сквозь слова, и, во-вторых, «сцепление» это составлено было не мыслью, да и не из мыслей (мог бы он прибавить) и состоит (хотя в некоторой доле и позволительно выражаемому состоять из мыслей). Сцепление это не лишено основы (от этого оно и нечто большее, чем сцепление); она-то и есть будущая «сущность содержания», будущий «фокус» — слово это не произнесено, потому что в те годы, в соответствии с его значением в оптике, значило оно для Толстого нечто исключительное структурное. Видно это из письма к Фету от 15 октября 1878 года (П.С.С. 62,

440): «Когда вы будете переделывать [статью],⁸ не забудьте еще выправить приемы связи отдельных частей статьи. У вас часто встречаются излишние вступления напр.: «Теперь мы обратимся...» или «взглянем...» и т.п. Главное, разумеется, в расположении частей относительно фокуса, и когда правильно расположено, все ненужное, лишнее само собой отпадает и все выигрывает в огромных степенях». Лишь двадцать два года спустя «фокус» стал значить для Толстого нечто одновременно смысловое и структурное — с преобладанием смыслового (или так мне представляется: всего, написанного им за эти годы, я не прочел). Этим достигнуто было немаловажное. Лучше, чем кем-либо, была определена, в самом общем характере своем, смысловая структура художественных произведений, причем смысл не был пожертвован структуре. Первенство осталось за ним. Искусство осталось языком, понято было как язык, — не только будучи речью в текущем состоянии своем, но точно также в творениях речи, эпических прежде всего (понятно, почему), а затем — легок уже этот путь: в стихотворениях, драмах, картинах, зданиях, статуях, сонатах...



И теперь пора мне кончать. Много страниц исписал. Но ведь сперва мне хотелось скептикам намотать на ус, что, несмотря на нелепости (не соизмеримые ни с чьими другими), к мнениям Толстого об искусстве стоит все-таки прислушаться. А затем попытался я мыслить вместе с ним, стал сплетать с его мыслями мои, давно уже выношенные, но частью, быть может, только в сплетении этом и дозревшие вполне мысли. Надеюсь, что своих ему не навязал. Думаю, что лишь продолжил мысли его своими, или произнес слова, которые — почти — были на его устах. Знаю одно: ни с кем из писавших по-русски об искусстве не мог бы я в таком тесном союзе часть моего пути пройти, как с ним. Расставаться с таким спутником вовсе не весело. Прощусь, приоткрыв еще раз дверь в его рабочий кабинет.

Медвежьи наши присяжные толкователи его как раз меда

⁸ Речь идет о неизданной статье Фета, в его архиве озаглавленной «Наша интеллигенция» а первоначально — с невероятной, но «похожей» на Фета неуклюжестью — «О современном умственном состоянии и его отношении к нашему умственному благосостоянию».

в его писаниях находить и не умеют. Твердят все то же, тупое, а черновиков не читают, записных книжек с дневниками не догадываются сравнить. Весной в последний год века, Толстой записал: «Искусство: поэзия — Чехов, живопись, в особенности музыка (цыганская) дают представление о том, что что-то прекрасное, поэтичное, доброе есть в том, откуда оно исходит. А там ничего нет. Это только царская одежда, которая прелестна на царе жизни — добре». Мысль эта — по ту сторону тех, с которыми я соглашался или спорил; к метафизике искусства она относится да и к «миропониманию» вообще. Толстой 13 марта перенес ее в дневник: «Искусство, поэзия: «Для берегов отчизны дальной» и т.п., живопись, в особенности музыка, дают представление о том, что в том, откуда оно исходит, есть что-то необыкновенно хорошее, доброе. А там ничего нет. Это только царская одежда, которая хороша только тогда, когда она на царе жизни — добре (что-то нехорошо, но так записано)».

Как такого человека не любить? Поцеловать хотел бы я старческую его руку. «Прелестна» зачеркнул; что и говорить, «хороша» куда вернее. Несмотря на все опрошенчество, «цыганскую» вычеркнул, и другое искусство тоже рангом повысил: пушкинскими стихами прозу Чехова заменил. Вместо «прекрасное, поэтическое», одно «хорошее» (чего логика и требовала) к «доброму» присоединил. И все-таки «нехорошо»? Запуталась мысль? Или не совсем вылупилась, как бывало и с другими мыслями вашими об искусстве? Лев Николаевич! Да ведь та, первая — верная она была! Разве то чувство может обмануть? Разве может быть там, откуда искусство идет, пустота? И добро — разве возможно помыслить его безобразным и безликим? Быть может, искусство больше о том, чего мы взыскуем, чем о том, что у нас есть. Но в нем, сквозь него, мы ищем царя и находим царя; не на нуле, на царе это искусством сотканное одеянье — рубище, может быть, а все-таки пурпур и виссон. Рассказ ваш «Свечка» вспомните, Лев Николаевич, на прощанье, и с миром отпустите писаку, пятнадцать всего лет прожившего с вами на земле. Пашет в рассказе крестьянин, прикрепив к сохе пасхальную свечу. Зажженная эта свеча — искусство, хоть она и больше, чем искусство. Нет и добра без свечи. Не пахал бы без нее праведник в праздничный день.

В. Вейдле



Женщина в блеске свечей
Сидит, опершись на локоть.
Это из тех вещей,
Которые хочется трогать.

Казалось, чего уж проще —
Также и у моллюска.
А тронешь — на ощупь
Под блузкой —
Музыка
Каждый мускул.

Глаза в нее погружаю
И чувствую, что дурею.
Меня заряжает
Как батарею.

Многие мне страны
Были в пути обещаны
И все-таки самой странной
Страною была женщина.



Говорили. И я сказал:
— Ад, по-моему, сцена и зал.
Сядут в зале мои друзья.
Сядет в зале моя семья.

Знаю, все придут в этот зал,
Кого в жизни я уважал.

И в огнях, на виду у всех,
Появлюсь я в моем аду,
И подробно мой каждый грех
Я на сцене воспроизведу.

Иван Елагин

БУНИН. ВОСПОМИНАНИЯ

Впервые увидел я его в петербургском «Привале Комедиантов», на Марсовом Поле. Если не ошибаюсь, он только один раз там и был. Бунин стоял у стены, против входной двери, рассеянно и хмуро глядя по сторонам, всем своим видом показывая, что ничто ему тут не по душе. Да и могло ли быть иначе? «Привал Комедиантов» был последним прибежищем русского модернизма, возникшего в конце прошлого столетия, — модернизма Бунину чуждого и даже враждебного. Яркие размазанные стены с какими-то птицами и мифологическими чудовищами, в полутьме казавшимися еще причудливее, высокие, будто церковные подсвечники, черные, длинные скамьи вместо стульев или кресел: нет, Бунину нравиться это не могло, и несомненно он чувствовал родство этой обстановки с тем, что было ему ненавистно в литературе. Он демонстративно молчал. Усмешка изредка кривила его губы. На маленькой, низкой сцене, в глубине зала, шла пантомима по шницлеровскому «Шарфу Коломбины». Потом появились хористы, принялись петь незатейливые новейшие частушки:

Ты, Кшесинская, пляши,
Вензеля ногой пиши...

Это были первые революционные месяцы, весна 1917 года: уступка политике. Частушки повидимому окончательно испортили Бунину настроение. Он поспешно вышел. Никто его не провожал.

Помню, у меня и в мыслях не было: подойти к нему, представиться, познакомиться. Будь вместо него кто-нибудь из столпов символизма или даже другого литературного течения, тех, которые казалось нам, тогдашней зеленой молодежи, законными и ценными, чувства возникли бы другие. Будь это, например, Андрей Белый, которого мне так и не привелось лично узнать, о чем я до сих пор жалею, — вероятно я побежал бы за ним, с волнением задал бы ему какие-нибудь наспех

придуманные вопросы. Или даже будь это Пастернак, первые стихи которого, помещенные в московском альманахе «Весенне контрагенство муз», нас, петербургских акмеистов и полукмеистов, ошеломили и очаровали. Но Бунин? Прозой мы вообще интересовались мало, придавали ей мало значения, — настолько мало, что, помню, чье-то замечание в Цехе поэтов, чуть ли не самого «синдика», Гумилева: «Как ни велик Достоевский, всего его можно уместить в одно стихотворение Тютчева», замечание это не вызвало ни возражений, ни смеха, хотя был это явный вздор. Стихов Бунина мы не долюбливали: их в нашем кругу, среди друзей и учеников Гумилева, не «полагалось» любить. Я читал «Деревню» и «Суходол», прочел и перечел «Господина из Сан-Франциско». Да, хорошо, говорил я себе, но не в той плоскости хорошо, как бы не в той тональности хорошо, чтобы именно побежать за ушедшим автором, сказать ему несколько слов, похожих на объяснение в любви.

Теперь, вспоминая это, я конечно отдаю себе отчет, как условны были эти литературные перегородки, как много было за ними ребячества, самодовольства, игры, слепоты. Но в ранней молодости без игры и заблуждений обойтись трудно, чему и в наше время примеров без счета. Так было, так будет.

Прошло лет десять: из разряда тех лет, в которых каждый прожитый день должен быть зачтен за месяц, если не больше. Я был у Мережковских, на их даче, недалеко от Ниццы, где обычно проводил лето. За чайным столом Зинаида Николаевна Гиппиус что-то рассказывала об Акиме Волынском, незадолго перед тем скончавшемся, упорно называя его не Волынским, а Флексером, как в действительности и была его фамилия. Неожиданно в саду, за деревьями, раздался громкий, веселый, бодрый голос:

— Что, дома вы? Или может-быть нарочно от меня попрятались?

И на террасу поднялся человек, всем обликом и повадкой своей производивший такое же впечатление бодрости и веселия, как и его голос. Я не сразу сообразил, кто это, и только когда Гиппиус сказала Мережковскому: «Ну, вот видишь, а ты все вздыхал, что Иван Алексеевич нас совсем забыл!», только тогда узнал Бунина.

С возрастом он стал красивее и как бы породистее. Се-

дина шла ему, шло и то, что он сбрил бороду и усы. Появилось в его облике что то величавое, римски-сенаторское, усиливавшееся с течением дальнейших лет. Бунин был очень оживлен, сказал, что заставил себя вырваться только на часок-другой, «а то пишу, пишу, не отрываясь». Однако от расспросов Зинаиды Николаевны уклонился. «Да ведь вам и не интересно, вы ведь считаете, что я не писатель, а описатель... Я, дорогая, вам этого до самой смерти не забуду!»

Могу засвидетельствовать, что словечка этого — «описатель», — вкравшегося в одну из критических статей Гиппиус, он действительно не забыл. К концу жизни Мережковских отношения их с Буниным испортились, но в то время еще были дружескими, хотя и тогда скорей поверхностно-дружескими, с чем-то ироническим, недоверчивым с обеих сторон. Упоминание о мнимом «описательстве» я слышал впоследствии от Бунина не раз. Неизменно оно сопровождалось сердитыми возражениями насчет того, что он вовсе не «описывает» природу или быт, а воссоздает их. «Она выдумщица, она ведь хочет того, чего нет на свете», говорил Бунин, при этом полузакрывая глаза и не без манерности отводя руку, будто что-то отстраняя, в подражание гиппиусовской манере чтения. Однако остроуму ее ума он признавал, как признавал и суховатую прелесть ее поэзии, ее «электрических», как он выражался, стихов.

После этой встречи у Мережковских я стал видаться с Буниным довольно часто. Но по настоящему узнал его, сблизился с ним, много позже, во время войны, и остался близок до самой его смерти. Сначала что-то не ладилось. Меня смущал и стеснял его иронический тон в беседах, правда добродушный. Бунин подтрунивал «над всеми вами, декадентами» и вдруг пристально смотрел в глаза, когда говорил что-нибудь по его мнению существенное, важное, будто проверяя: понял, одобрил или ничего не понял и потому заранее отвергает? Спорить он не любил, споры быстро прекращал, что впрочем мне в нем нравилось. Однажды, в одну из первых встреч, после короткого разговора о «Мадам Бовари», — Бунин был великим поклонником Флобера, — я заметил, что, конечно, роман этот очень хорош, но ставить его в один ряд с «Анной Карениной» невозможно. Иван Алексеевич удивленно прищурился: «А, значит вы признаете Толстого? А я то, признаться, полагал, что

он для вас устарел». «Уста...рел», повторил он с растяжкой, будто жалея бедненького Толстого, от которого отвернулись просвещенные молодые люди, ушедшие далеко вперед. Впоследствии мы мало по малу договорились, что Толстой как бы вне времени, и вообще договорились до многого, многого, ошибочно и главным образом по моей вине отдалявшего меня от Бунина в первые годы знакомства.

Он был на редкость умен. Но ум его с гораздо большей очевидностью обнаруживался в суждениях о людях, и о том, что несколько расплывчато можно назвать жизнью, чем в области отвлеченных логических построений. Людей он видел насквозь, безошибочно догадывался о том, что они предпочли бы скрыть, безошибочно улавливал малейшее притворство. Думаю, что вообще чутье к притворству, — а в литературе, значит, ощущение фальши и правды, — было одной из основных его черт. Вероятно именно это побудило Бунина остаться в стороне от русского доморощенного модернизма, в котором по части декламации и позы далеко не все было благополучно. Был ли он однако полностью прав в своей брезгливой неприимимости, не проглядел ли чего-то такого, во что взглянуться стоило, не обеднил ли себя, отказавшись прислушаться к отдельным голосам, по природе чистым, звучащим в шумном, нестройном хоре русской литературы начала нашего века, — преимущественно в поэзии? Не оказался ли высокомерно-рассеян к содержанию, к духовной особенности эпохи, отраженной в безотчетном смятении, в предчувствиях, в тревоге и надежде, которыми поэзия эта была проникнута, — отчетливее и глубже всего, конечно, у Блока? Вопрос это спорный, и лично у меня на счет бунинской дореволюционной литературной позиции до сих пор остаются сомнения. Он часто на эти темы говорил, с удовлетворением, даже с удовольствием к ним возвращался, вспоминая далекие годы, когда Леониду Андрееву или двум-трем другим тогдашним кумирам отдавались в журналах первые места, платились огромные гонорары, а он, Бунин, пребывал в тени: приятной, почетной, прохладной, но все-таки в тени. Он радовался своему долгожданному реваншу, доказывал свою дальновидность и правоту, гордился тем, что Чехов, — «Да, да, один только Чехов!» — предсказал ему очень большое литературное будущее и реванш предчувствовал. У меня никогда не хватило смелости спросить его,

помнит ли он то, что о его писаниях сказал Толстой, и никогда, ни в одном разговоре, он толстовского отзыва о себе не коснулся. Конечно, он знал его и вероятно с горечью помнил, что Толстой признал прочитанный им рассказ Бунина пустоватым, хотя и написанным так, как «ни мне, ни даже Тургеневу не написать». Должен однако подчеркнуть, что на его глубочайшем преклонении перед Толстым этот двоящийся приговор ни в какой мере не отразился и что за все мои встречи с Буниным я не слышал от него ни одного сколько-нибудь скептического, мало мальски неприязненного слова о Толстом. Может быть он отчасти был согласен с Алдановым, считавшим, что замечание насчет «меня и даже Тургенева» должно быть всяким писателем воспринято, как нечто чрезвычайно лестное. Да надо принять во внимание ведь и то, что Толстой ничего, кроме юношеских произведений Бунина, не знал и ни «Деревни», ни «Суходола», положивших начало его художнической зрелости, прочесть не успел.

О Толстом он говорил постоянно. Вспоминал, как в начале девяностых годов пришел к нему в Хамовники, пытался даже по своей привычке изобразить Толстого. «Быстрый, страшный, со своими страшными, серыми, глубоко запавшими глазами... я даже чуть...», — но тут следовало несколько слов, которые воспроизвести в печати невозможно. Любил рассказывать, как Толстой нахмурился, когда он простодушно, желая сказать что-нибудь такое, что тому понравилось бы, упомянул о все большем распространении Обществ Трезвости.

— Общества Трезвости? Это что такое? Собираются и болтают, что не надо пить водки, да? Если уж собираются, то надо пить водку.

Из-за Толстого произошло у меня и расхождение с Буниным, правда единственное. Я поместил в «Современных Записках» довольно большую статью, где писал о влиянии Толстого на бунинское творчество. В конце статьи я заметил, что влияние это не идет далеко вглубь и что духовная сущность толстовских писаний, в особенности поздних, осталась Бунину чужда. В статье была фраза, формально пожалуй неудачная, но как мне и теперь представляется, не совсем, — нет все-таки не совсем, — ошибочная: смысл ее состоял в том, что в Бунине есть что-то от Льва Толстого и что-то другое, от такого бравого патриота-служаки, молодцеватого командира полка,

«слуги царю, отца солдатам», никаких вольностей от веками установленного порядка не допускающего. Бунин жестоко обиделся. Если при встречах он и здоровался со мной, то даже руку подавал как-то небрежно, глядя в сторону, и только после присуждения ему Нобелевской премии, во всеобщем тогдашнем возбуждении и радости, добрые мои отношения с ним полностью восстановились и всё улучшались, укреплялись до конца его жизни. Добавлю, что этот «командир полка» был в нем чертой скорей поверхностной, больше всего заметной в его нетерпеливых, раздраженных восклицаниях, как только задеты оказывались вопросы общественные.

Едва ли тому же следовало бы приписать его гневный отказ признать превосходство этики над эстетикой, что так существенно для Толстого, — или даже их толстовскую не-расторжимость, — да с течением времени многое в бунинских внутренних противоречиях и сгладилось, может быть под воздействием всего пережитого и, как говорится, «переосмысленного» во время войны. Однако какое-то безотчетное противостояние Толстому не исчезло у Бунина никогда, и если перечесть, например, «Несрочную весну», один из самых восхитительных, самых вдохновенных его рассказов, то нельзя не почувствовать, что по замыслу и устремлению что-нибудь более анти-толстовское трудно себе и представить. «Красота спасет мир», сказал Достоевский. Бунин Достоевского терпеть не мог, но с этим его утверждением пожалуй согласился бы, хотя и разошелся бы в истолковании понятия красоты.

Не уверен, что правильно было бы назвать его блестящим собеседником, златоустом, по-французски «козэром», кем-то вроде Анатоля Франса, которого в парижских гостинных люди заслушивались, предвкушая заранее удовольствие от встречи, заранее зная, что предстоит демонстрация искрометного салонного красноречия, с импровизированными афоризмами и парадоксами. Ораторских способностей у Бунина не было никаких, в противоположность Мережковскому, писателю творчески бедному, но оратору несравненному, когда-то вызвавшему у сидевшего в зале Блока желание, — как записано в блоковском дневнике, — поцеловать его руку. Бунин вовсе не был красноречив. Но когда он бывал «в ударе», был более или менее здоров, когда вокруг были друзья, его юмористические воспоминания, наблюдения, замечания, подражания, шутки,

сравнения превращались в подлинный словесный фейерверк. Он был не менее талантлив в устных рассказах, чем в писаниях: в этом утверждении нет ни малейшего преувеличения. Слушая Бунина, я понял, почему больной, хмурый Чехов ходил за ним в Крыму чуть ли не по пятам. Перед Толстым Бунин благоговел и робел, перед Чеховым давал себе волю, и вероятно в молодости его разговорный и имитаторский дар был так же удивителен, каким остался до глубокой старости. В беседе с глазу на глаз он держался гораздо более сдержанно. Ему нужна была аудитория, хотя бы самая маленькая, в два-три человека, и тогда он расцветал, тогда бывал неутомим и, казалось, сам наслаждался портретами и карикатурами, которые рисовал.

Пример: рассказ о том, как после избрания его почетным академиком он впервые явился в Академию Наук.

— Огромный, холодный зал, тишина, все сидят неподвижно в ожидании президента Академии, великого князя Константина Константиновича, поэта К. Р. За окнами большие, мокрые хлопья снега, тающего тут же на стеклах, деревья, гнущиеся под ветром с залива. Четверть часа, полчаса, президента все нет и нет... Возле меня сидел древний старичек в мундире с орденами, с каким-то белым пухом на голове вместо волос, сидел и дремал. Вдруг он очнулся, взглянул в окно, надел очки, недовольно покачал головой и тронул меня за руку: «А изволите ли помнить, ваше превосходительство... когда Крылова... баснописца... хоронили, точь в точь такая же погода была».

Все предыдущее, до самой последней фразы, я восстанавливаю по памяти и за точность каждого слова не ручаюсь. Но последнюю фразу помню совершенно точно, и надо было слышать, с каким столетним дребезжанием в голосе Бунин ее произнес, весь сгорбившись, и сделав особое ударение на «баснописце».

Напомню, что Крылов скончался в 1844 году.

Да, Достоевского он терпеть не мог. «Тайновидец духа!» возмущался Бунин, вспоминая, что Мережковский в нашумевшей книге, вышедшей в начале столетия, назвал «тайновидцем духа» Достоевского в противоположность «тайновидцу пло-

ти», Толстому. «Тайновидец духа... да разве можно видеть дух иначе, как через плоть? Мережковский оттого это и выдумал, что у него самого никакой плоти нет и никогда не было. Он даже не знает, что такое плоть. Тайновидец духа. Что за чепуха!»

Не раз он говорил, что Достоевский был «прескверным писателем», сердился, когда ему возражали, махал рукой, отворачивался, давая понять, что спорить не к чему. В своем деле я, мол, знаю толк лучше всех вас.

— Да, воскликнула она с мукой. — Нет, возразил он с содроганием... Вот и весь ваш Достоевский!

— Иван Алексеевич, побойтесь Бога, этого у Достоевского нигде нет!

— Как нет? Я еще вчера читал его... Ну, нет, так могло бы быть! Все выдуманно, и очень плохо выдуманно.

Помню однако, что однажды он сказал, — но именно с глазу на глаз, без «аудитории»:

— Всех этих его сумасшедших Кирилловых, Свидригайловых, Иванов Карамазовых, всяких там Лядащенок или Фердыщенко я органически не выношу. Пусть весь мир скажет мне, что это гениально, не выношу и точка. И убежден, что я прав... Но кое-что у него удивительно. Этот нищий, промозглый, темный Петербург, дождь, слякоть, дырявые калоши, лестницы с кошками, этот голодный Раскольников с горящими глазами и топором за пазухой поднимающийся к старухе-процентщице... это удивительно. Пушкинский Петербург — блестящий, парадный, «люблю тебя, Петра творение», а он первый показал что-то совсем другое, изнанку пушкинского...

— А разве не Гоголь?

— Да, Гоголь, верно... Акакий Акакиевич и все в этом роде... верно! Но Гоголь — лубочный писатель. Великий, замечательный, необыкновенный, а все-таки лубочный.

Это определение Гоголя, как лубочного писателя, я слышал от Бунина несколько раз и несколько раз просил его объяснить, в чем он лубочность видит. Но ничего не добился.

— Ну, лубок... разве вы не знаете, что такое лубок? Вот и у Гоголя лубок.

Не могу привести все его литературные суждения и отзывы. Кое-что у меня оказалось записано, но очень небольшое.

Да и из записанного далеко не все сохранилось. Впрочем, некоторые замечания врезались мне в память, особенно те, которые относятся к языку и стилю.

Однажды, отвечая Ивану Алексеевичу на вопрос, из-за чего поссорились два молодых парижских поэта, я сказал:

— Недоразумение у них произошло на почве...

Бунин поморщился и перебил меня:

— На почве! Бог знает, как все вы стали говорить по-русски. На почве! На почве растет трава. Почва бывает сухая или сырая. А у вас на почве происходят недоразумения.

Я возразил, что если нельзя употребить слово «почва» в переносном значении, то нельзя сказать, например, «мне улыбнулось счастье» или даже «он вспыхнул». Бунин спорить не стал.

— Да, да, конечно... Я ведь и сам иногда так говорю. Но неужели вы не чувствуете, что это «на почве» звучит по газетному? А хуже нашего теперешнего газетного языка нет ничего на свете.

Другие бунинские замечания, по памяти или по сохранившимся записям. — Читал я на днях Ренана, «Жизнь Иисуса». Не усмехайтесь пожалуйста, я иногда тоже читаю серьезные книги. Ваша приятельница Зинаида притворяется, что читает, а я в самом деле читаю. Но Ренан невыносим. Он из Христа сделал какого-то симпатичного молодого неврастеника.

— Помните, Толстой сказал об этой книге: «Детская, подлая, пошлая шалость»?

— Как, как? Подлая, пошлая шалость? Ах, как хорошо, как верно! Да, умел сказать Лев Николаевич.

— Иногда я думаю, не сочинить ли какую-нибудь чепуху, чтобы ничего понять нельзя было, чтобы начало было в конце, а конец в начале. Знаете, как теперь пишут... Уверяю вас, что большинство наших критиков пришло бы в полнейший восторг, а в журнальных статьях было бы сочувственно указано, что «Бунин ищет новых путей». Уж что-что, а без «новых путей» не обошлось бы! За «новые пути» я вам ручаюсь.

— Вы, я слышал, сомневаетесь, не начать ли писать по-французски? Что же, дело ваше. Но послушайте старика, бросьте эти затеи, хотя я и понимаю, как они соблазнительны... Пишите на том языке, с которым родились и выросли. Двух языков человек знать не может. Понимаете, знать, чувствовать всякую мельчайшую мелочь, всякий оттенок... Что можете вы, например, подмигнуть читателю по-французски?

— Какие болтуны, какие вруны, все эти наши критики, я только руками развожу! Нет, не только теперь, а и прежде, еще тогда, когда царил Михайловский. Выдумали, что в каждой повести каждый человек должен, видите ли, говорить особым своим языком, упрекают, если этого нет... А скажите, разве в жизни каждый действительно говорит особым языком, замечали вы это? Да, правда, министр говорит так то, а младший дворник иначе. Но чтобы решительно все люди говорили по разному, каждый по своему, это суший вздор. Да и не так это легко, говорить по-своему, пусть критики сами попробуют!

Помолчав, Бунин добавил:

— Я думаю, что скорей интонация у каждого человека своя. Один скажет «идет дождь» так то, другой скажет «идет дождь» иначе. Но в книге то будут те же слова «идет дождь», и только по общему характеру человека, если романисту удалось его хорошо изобразить, мы эту интонацию мысленно восстанавливаем.

О поэзии, в особенности о новых поэтах Бунин говорил неохотно, повидимому чувствуя холодок прочно установившийся вокруг тех стихов, ктоорые писал он сам. Реванш его над былыми соперниками-прозаиками не распространился на поэзию, и если, скажем, Бальмонт, когда-то гремевший, давно утратил обаяние, то иначе обстояло дело с Блоком. Бунин знал, что сколько бы ни возникало о Блоке споров, верховное его положение в русской поэзии нашего века поколебать трудно. И это его раздражало. Он не любил Блока и на мой взгляд часто бывал прав, критикуя блоковский стиль, расплывчатость блоковских образов. Но если в ответ, в упрек ему кто-нибудь

читал две строчки Блока, из тех, которые проникнуты вещей, почти таинственной музыкой, он нервно пожимал плечами, — а однажды, помню, сказал:

— Неужели вы думаете, что я не понимаю, *что* в этой мистической цыганщине сводит всех вас с ума? Но меня вы с ума не сведете.

Эти его слова оказались у меня записаны и привожу я их точно. Если не ошибаюсь, тогда же я рассказал ему о Листе, который в ответ на скептические замечания о Вагнере не говорил большей частью ничего, а садился за рояль и наигрывал несколько тактов из «Тристана». Бунину рассказ понравился, он неожиданно повеселел и с добродушной усмешкой заметил: «Отлично, вот и я на все ваши ехидства отвечать больше не стану, а буду наизусть читать полстранички из «Жизни Арсеньева», чтобы вы знали, с кем имеете дело». Постоянная его черта: обезоруживающий юмор, непосредственный, талантливый, как вся его натура.

Допустимо ли было бы сказать, что Бунин отвергал Блока отчасти из ревности? Невозможного в таком предположении нет ничего: ревность, случалось, мучила самых великих писателей и художников, хотя в этом они не признались бы или не отдавали себе в этом отчета. Несомненно, блоковская поэзия была Бунину действительно не по душе. Но славу Блока он воспринимал как нечто для себя обидное, почти оскорбительное. Он не считал себя прозаиком, который тоже пишет и стихи, как например, Тургенев, нет, он придавал своим стихам очень большое значение и с горечью должен был сознавать, что как поэт, остался в тени. Откровенного разговора о том, в какой именно области поэзия его беднее блоковской, т.е. о том, что стихи его пусть стилистически и безупречны, но лишены блоковского завораживающего звучания, — такого разговора даже начать с ним было бы нельзя. Если бы какой-нибудь развязный смельчак подобный разговор затеял, ни к чему кроме гневных выкриков он не привел бы и пожалуй лишь укрепил бы Бунина в его отрицании.

Иннокентия Анненского он знал очень мало, как впрочем проглядели Анненского почти все его сверстники. Зинаида Гиппиус как то взяла у меня «Кипарисовый ларец», — «любопытно мне взглянуть, чем это вы так восхищаетесь», — и через несколько дней вернула мне книгу с замечаниями на полях,

настолько пренебрежительными и близорукими, что экземпляр этот следовало бы ради ее памяти уничтожить. Уверен, что труда вчитаться в стихи Анненского она себе не дала. Нет, Гиппиус, конечно, заранее решила, что если в свое время она не обратила на эти стихи внимания, то значит внимания они и не заслуживают. Бунин рассказывал о единственной своей встрече с Анненским в Крыму:

— Сидел на террасе с пледом на ногах, читал что-то французское... Кажется, кроме «здравствуйте» и «до свидания» мы ничего друг другу и не сказали... Вы что, действительно думаете, что это был замечательный поэт, или так, больше оригинальничаете?

Помню при этом пристальный бунинский взгляд, тот, который я не раз замечал у него, когда он предполагал, или хотя бы только допускал в собеседнике притворство.

К Федору Сологубу у него тоже ни малейшего интереса не было, но повидимому интерес мог бы возникнуть. Утверждаю это на основании короткого разговора, незадолго до смерти Бунина.

Сологубом владело в старости нечто вроде навязчивого воспоминания: пение Патти. Он слышал ее еще в восьмидесятых годах и не в силах был забыть этот голос, по всем дошедшим до нас свидетельствам действительно единственный, несравненный. О том, что Сологуб неизменно сводил к Патти любой разговор, рассказал в своих воспоминаниях о Блоке, — или не ручаюсь, может быть в каких-нибудь других своих записках, — Андрей Белый. Мне лично пришлось однажды убедиться в том же. Было это в редакции горьковской «Всемирной Литературы». Сологуб стоял окруженный несколькими сотрудниками — поэтами и будто весь уйдя в далекое прошлое, тихо повторял: «Да, Патти, Патти... никто никогда так не пел, никто петь так больше не будет».

Однажды я рассказал об этом Бунину, не предполагая, что рассказ произведет на него впечатление. Но Иван Алексеевич сразу умолк, задумался и после довольно долго молчания сказал:

— А вот... я ведь считал Сологуба истуканом!

Не знаю, ошибся ли я, но мне тогда показалось, что сологубовская верность воспоминанию о чудесном женском голосе обернулась в его сознании чем-то схожим с верностью

лермонтовской «души молодой» воспоминанию о пении ангела. «По небу полуночи...». Случай этот меня поразил, как свидетельство своеобразия и сложности бунинского отношения к поэзии, — отношения, сближавшего его, сквозь отвергаемые стилистические приемы, с тем, что он считал неприемлемым: вопреки его вражде к Блоку, полному равнодушию к Ахматовой, язвительным насмешкам над Пастернаком и многому другому. Подобные же «вопреки», только в тысячу раз усиленные, бесконечно более противоречивые следовало бы повторить, если бы пришлось писать об отношении Льва Толстого к поэзии. Кое-в-чем толстовское представление о поэзии Бунин принял и усвоил. Но это — большая тема, и мимоходом лучше ее не касаться.

Кстати, Бунин как-то сказал, что те страницы в «Анне Карениной», где Вронский ночью, на занесенной снегом станции, неожиданно подходит к Анне и в первый раз говорит о своей любви, — «самые поэтические во всей русской литературе».

— А ведь находятся люди, которые сравнивают это со всякими там Сонечками, Грушеньками и Настасьями Филипповнами!

Ради исторической точности, должен впрочем сделать исправление: Бунин сказал не «люди», а «болваны».

Не помню точно, где застала Бунина война, в Париже или в Грассе. Большую часть военных лет он во всяком случае провел в Грассе, в «приморских Альпах», как любил вместе с датой указывать в конце написанных им на юге Франции повестей и рассказов. Я провел эти годы в Ницце и довольно часто с ним встречался, особенно в первое время. Встречи постепенно сделались труднее из-за отсутствия бензина. Автобусы ходили редко, и тридцать-тридцать пять километров отделяющих Ниццу от Грасса казались огромным расстоянием.

С этим связан эпизод врезавшийся мне в память.

Иван Алексеевич приехал в Ниццу около полудня и хотел вернуться домой с трехчасовым автобусом. Я пошел проводить его до станции. Но по пути, увидев перед какой-то лавкой очередь и узнав, что получена ветчина, — по тем голодным временам редкость, — он задержался и на автобус опоздал. Следующий отходил только в шесть часов вечера.

Бунин был до крайности раздосадован, но делать было нечего. Мы пошли в соседнее кафэ, на улице Феликса Фора, он потребовал коньяку и стал пить рюмку за рюмкой. Сначала разговор был обычный: последние известия по лондонскому радио, которое втайне, тщательно затворив окна, слушали все, расспросы об общих знакомых, многие из которых уехали в Америку, другие же разбрелись кто куда. Мало по малу Бунин сделался по хмельному возбужден и принялся говорить о себе, о своих семейных и домашних делах, о близких ему людях. В первый и единственный раз я слышал от него нечто вроде «исповеди горячего сердца», невозможной, немыслимой, если бы он не находился в состоянии, когда ему нужен был слушатель. Непривычная его откровенность меня сначала смутила, — коньяка я не пил, а пил черный кофе, — но потом, почувствовав с его стороны дружеское доверие, сам стал кое-чем его расспрашивать, припоминая то, что иногда замечал или о чем догадывался. Передавать содержание беседы, даже в самых общих чертах, я не считаю себя вправе, и надеюсь, никто из биографов Бунина не упрекнет меня в излишней шепетильности. Ничего порочащего для кого-либо из людей бунинского окружения в словах его не было, не в этом дело. Но не рано ли было бы делиться всем тем, чем поделился он, не совсем владея собой, отчасти даже против воли? Не следует ли подождать, скажем, несколько десятилетий, прежде чем предаваться подобным изысканиям и комментариям? Да и тогда, даже и тогда, окажутся ли эти изыскания и комментарии оправданы? Во всяком случае я убежден, что сам Бунин возмутился бы вмешательством в его личную жизнь, когда бы допущено оно ни было, теперь или через полвека. Единственное, что я хотел бы засвидетельствовать, относится к его жене, Вере Николаевне: о ней Бунин говорил в тот день со страстной преданностью и благодарностью, будто особенно ясно сознавая, что человек он не легкий и что не легка должна быть и совместная жизнь с ним. Это впрочем было для меня очевидно и без его слов. Двум величайшим русским писателям Пушкину и Толстому судьба дала жен не совсем таких, какие были бы им нужны, — хотя о больной, несчастной Софье Андреевне это позволительно было бы сказать имея в виду лишь последние годы ее жизни с мужем. Глядя на Веру Николаевну, я не раз думал, что она вытерпела бы все прихоти Толстого, под-

чинилась бы всем его требованиям, и вспоминал некрасовские строки: «Делай, что хочешь со мной! Сердце мое, исходящее кровью, всевыносящей любовью, полно, друг мой».

Война, военные неудачи, положение в России, огромные русские потери, все это чрезвычайно волновало Бунина, особенно в первые год-два, когда, казалось, Гитлер может выйти победителем. О настроениях его в это время, да и о более поздних, по окончании войны, сложились легенды. Русская эмиграция не была в военные годы вполне единодушна, что и способствовало возникновению всякого рода рассказней. По другим причинам и другими побуждениям не обошлось без легенд и в советской России.

История однако требует истины, а не выдумок или произвольных догадок. Должен без колебания, во имя истины, сказать, что за все мои встречи с Буниным в последние пятнадцать лет его жизни я не слышал от него ни одного слова, которое могло бы навести на мысль, что его политические взгляды изменились. Нет, взгляды эти, всегда бывшие скорее эмоциональными, чем рассудочными, внушенные скорее чувствами, воспоминаниями и впечатлениями, чем твердым, продуманным предпочтением одного социального строя другому, взгляды эти, настроения эти оставались неизменны. Война потрясла и испугала Бунина: испугала за участь России на десятилетия и даже столетия вперед, и этот глубинный страх заслонила в его сознании все то, что в советском строе по прежнему оставалось для него неприемлемо. Он ждал и надеялся, что война, всколыхнувшая весь народ, придаст советскому строю некоторые новые черты, новые свойства, и был горестно озадачен, когда понял, что этого не произошло. Пишу я эти строки с одним только желанием: сказать о Бунине правду, ту, которую я видел и знал, не добавляя ничего от себя, не позволяя себе оценки, положительной или отрицательной. Ничьи возражения, никакие домыслы не убедят меня, что правда могла иногда оказаться и другой.

За ходом военных действий Бунин следил лихорадочно и сетовал на союзников, медливших с открытием второго европейского фронта. Гитлеровцев он ненавидел, и стал ненавидеть еще яростнее, когда вслед за сравнительно беспеч-

ными, даже добродушными итальянцами южная часть Франции была оккупирована именно ими. Каждый день, тут же, в двух шагах, мы убеждались в их дисциплинированной бесчеловечности, каждый день давал нам возможность предвидеть то, во что они обратили бы мир в случае своего торжества.

Бунин не в состоянии был себя сдерживать. Однажды я завтракал с ним в русском ресторане на бульваре Гамбетта, недалеко от моря. Зал был переполнен, публика была в большинстве русская. Бунин по своей привычке говорил очень громко и почти исключительно о войне. Некоторые из присутствовавших явно прислушивались к его словам, может-быть и узнали его. Желая перевести беседу на другие темы, я спросил его о здоровье, коснулся перемены погоды: что-то в этом роде. Бунин, будто бравируя, во всеуслышание воскликнул, — не сказал, а именно воскликнул: — Здоровье? Не могу жить, когда эти два холуя собираются править миром!

Два холуя, т.е. Гитлер и Муссолини. Это было до крайности рискованно. По счастью бунинская смелость последствий для него не имела. Но могло бы быть и иначе, т.к. донощиков, платных или добровольных, так сказать, «энтузиастов», даже не требовавших за свои услуги вознаграждения, развелось в Ницце достаточно и некоторые были известны даже по именам.

Когда мы вышли, я упрекнул Бунина в бессмысленной неосторожности. Он ответил: «Это вы — тихоня, а я не могу молчать». И лукаво улынувшись, будто сам над собой насмехаясь, добавил:

— Как Лев Николаевич!

К концу войны, после освобождения Франции, Бунин вернулся в Париж еще полный сил и даже замыслов. Русский Париж в первые послевоенные дни находился в большом возбуждении. Было много споров, не мало раздоров, а пожалуй еще больше иллюзий и надежд. Казалось, в жизни эмиграции наступает перелом, при чем во Франции эти настроения распространились гораздо шире и быстрее, чем в Америке. Из Москвы, например, приехал Илья Эренбург, выразивший желание встретиться с молодыми эмигрантскими поэтами, что прежде было бы невозможно (пишу «молодыми поэтами» по давней, до сих пор удержавшейся привычке: Зинаида Гиппиус однако не без основания называла их еще в тридцатых годах

«подстарками».) Вместе с Эренбургом приехал и Симонов, два или три раза встретившийся с Буниным.

Об этих встречах Симонов не так давно рассказал в московской печати. В его воспоминаниях, по моему, не все точно, впрочем лишь в мелочах. Обед, о котором он пишет, и на котором присутствовал и я, был не у Бунина, а у Бориса Пантелеймонова, состоятельного человека, довольно популярного в то время писателя, которому покровительствовала Тэффи. Мне представляется, что именно у Пантелеймонова Бунин с Симоновым и познакомился, потому, что я хорошо помню, как он, с изысканной, слегка манерной, чуть ли не вызывающе-старорежимной вежливостью обратился к нему, едва мы сели за стол:

— Простите великодушно, не имею удовольствия знать ваше отчество... Как позволите величать вас по батюшке?

Если была встреча и до этого, как пишет Симонов, то очевидно совсем короткая, ограничившаяся рукопожатием.

В начале обеда атмосфера была напряженная. Бунин как будто «закусил удила», что с ним бывало нередко, порой без всяких причин. Он притворился простачком, несмыслёнышем и стал задавать Симонову мало уместные вопросы, на которые тот отвечал коротко, отрывисто, по-военному: «не могу знать».

— Константин Михайлович, скажите пожалуйста... вот был такой писатель, Бабель... кое что я его читал, человек бесспорно талантливый... отчего о нем давно ничего не слышно? Где он теперь?

— Не могу знать.

— А еще другой писатель, Пильняк... ну, этот мне совсем не нравился, но ведь имя тоже известное, а теперь его нигде не видно... Что с ним? Может быть болен?

— Не могу знать.

— Или Мейерхольд... Гремел, гремел, даже, кажется, «Гамлета» перевернул наизнанку... а теперь о нем никто и не вспоминает... Отчего?

— Не могу знать.

Длилось это несколько минут. Бунин перебирал одно за другим имена людей, трагическая судьба которых была всем известна. Симонов сидел бледный, наклонив голову. Пантелеймонов растерянно молчал. Тэффи, с недоумением глядя на

Бунина, хмурилась. Но женщина это была умная и быстро исправила положение: рассказала что-то уморительно смешное. Бунин расхохотался, подобрел, поцеловал ей ручку, к тому же на столе появилось множество всяких закусок, хозяйка принесла водку, шведскую, польскую, русскую, у Тэффи через полчаса оказалась в руках гитара — и обед кончился в полнейшем благодушии.

Знаю со слов Бунина, что через несколько дней он встретился с Симоновым в кафэ и провел с ним с глазу на глаз часа два или даже больше. Беседа произвела на Ивана Алексеевича отличное впечатление: он особенно оценил в советском госте его редкий такт. Говорили они вероятно не только о литературе, должны были коснуться и политики. Думаю поэтому, что Симонов мог бы подтвердить правильность того, что я сказал о бунинских политических настроениях во время войны и после ее окончания.

В последние годы жизни Бунин был тяжело болен — или вернее, мучительно слаб. Свела его в могилу по моим наблюдениям и догадкам не какая-нибудь одна, определенная болезнь, а скорей общее истощение организма. Больше всего он жаловался на то, что задыхается: писал об этом в письмах, говорил при встречах.

Помню его сначала в кресле, облаченного в теплый, широкий халат, еще веселого, говорливого, старающегося быть таким, как прежде, — хотя с первого взгляда было ясно, и с каждым днем становилось яснее, что он уже далеко не тот и таким, как прежде, никогда не будет. Помню последний год или полтора: войдешь в комнату, Иван Алексеевич лежит в постели, мертвенно бледный, как-то неестественно прямой, с закрытыми глазами, ничего не слыша, — пока Вера Николаевна нарочито громким, бодрым голосом не назвует имя гостя.

— Ян, к тебе такой то... Ты что, спишь?

Бунин слабо поднимал руку, силился улыбнуться.

— А, это вы... садитесь пожалуйста. Спасибо, что не забываете.

Было бы с моей стороны нелепо утверждать, что он радовался именно моим посещениям. Но повидимому, — и об этом мне не раз говорила Вера Николаевна, — я принадлежал к

числу тех людей, разговор с которыми отвлекал его от тяжелых предсмертных мыслей. Боялся ли он смерти? Если до некоторой степени и боялся, — в чем я не уверен, — то страх этот был в его сознании заслонен другим чувством: острой тоской, глубокой скорбью об исчезновении жизни. К жизни он был страстно привязан, не мог примириться с мыслью, что ей настал конец. Никогда я с ним об этом, конечно, не говорил, наоборот, убеждал его, что он поправится, что у него сегодня, например, вид гораздо лучше, свежее, чем в прошлый раз, — как это всегда делается, как это надо делать, потому, что больным нужен обман. «Как делишки?», хочет у Толстого спросить врач, входя к умирающему Ивану Ильичу, и только видя его состояние, понимает, что пристойнее на этот раз обойтись без «делишек». Бунин, конечно, знал, что умирает. О смерти он думал, кажется, больше всего физически: представлял себе, — и даже иногда изображал, — как будет лежать в гробу, каков будет в своем «смертном безобразии» (его подлинные слова). А если и размышлял о возможном или невозможном «после», то едва ли настойчиво. В этом «после», даже если оно будет, и каково бы оно ни было, во всяком случае не будет того, что он всем своим существом, сердцем, плотью, умом любил: не будет неба, ветра, солнца, не будет повседневных мелочей существования, утрата которых казалась ему величайшим из несчастий. Был ли он религиозен? Если действительно «стиль это человек», то вчитываясь в бунинские писания, в склад и тон их, ответить приходится скорей отрицательно. Он уважал православную церковь, как установление сроднившееся в течение веков с дорогой ему Россией, он ценил красоту церковных обрядов. Но не более того. Истинная, требовательная, вечно-встревоженная религиозность была ему чужда, хотя, признаюсь, это с моей стороны только догадка. Бунин, при всей своей внешней, открытой порывистости, был человеком с душевными тайниками, куда никому не было доступа. Вера Николаевна рассказала мне, например, что за всю совместную с ней жизнь он никогда, ни единым словом не упомянул о своей рано умершей матери, которую горячо любил. «Как то, забывшись, что-то хотел сказать о ней и сразу осекся, побледнел и умолк».

Мои с ним беседы, у его постели, были главным образом литературными. Бунин был до мозга костей литератором и

мало по малу оживлялся, когда представлялся случай о литературе поговорить. Принимался бранить Достоевского, или кашляя, с трудом переводя дыхание, делился впечатлением от чего-нибудь недавно прочитанного (точнее, выслушанного в чтении Веры Николаевны). Постоянно говорил о Чехове, которым в то время усиленно занимался для будущей, оказавшейся уже посмертной книги: с восхищением о чеховских повестях и рассказах, с раздражением и даже недоумением о пьесах, лиризм которых находил нестерпимо слащавым. «И ты улыбнешься, мама!», издевательски повторял он, подражая манерности плохих актрис. «Мы отдохнем, мы увидим небо в алмазах...». По его убеждению, в том, что Чехов наделенный от природы острейшим слухом к фальши, ввел этот дешевый лиризм в свои пьесы, повинна его жена, Книппер, и сделано это было будто бы в уступку ей и ее театральному окружению.

Из советских писателей он высоко ценил дарование Алексея Толстого, но относился к нему крайне отрицательно, как к человеку, что впрочем широко известно. Года за два до смерти прочел одну из повестей Паустовского, — не помню точно, какую, — пришел в восторг и решил написать об этом автору. Ответа однако не получил и сомневался, дошло ли до Паустовского письмо, посланное на адрес Союза Писателей. Помню еще его отзыв, в высшей степени одобрительный, о «Василии Тёркине» Твардовского.

Наконец, два литературных воспоминания, относящихся к самым последним месяцам жизни Ивана Алексеевича.

Первое — об «Анне Карениной». Повторяю, он однажды назвал главу о встрече Анны с Вронским ночью, на станции, при возвращении в Петербург после московского бала, «самой поэтической во всей русской литературе». Было это сказано в связи с тем, что во время разговора я спросил его, помнит ли он эту главу. Бунин в тот день был особенно слаб. Глаз не открывал, головы с подушки не поднимал, говорил хрипло, отрывисто, с долгими передышками. Тут он однако тяжело приподнялся, оперся на локоть и хмуро, почти сердито взглянул на меня:

— Помню ли я? Да что вы в самом деле? За кого вы меня принимаете? Кто же может это забыть? Я умирать буду, и то, на смертном одре, повторю вам всю главу, чуть ли не слово в слово... А вы спрашиваете, помню ли я!

Недавно Валентин Катаев в «Траве забвения» рассказал, что когда то, — было это в двадцатых годах, — Бунину хотелось «исправить» толстовский роман, подчистить, выбросить то, что казалось ему лишним. Хорошо, что он этого не сделал. Вероятно в конце концов ему стало ясно, что затея легла бы пятном на его памяти. Бунин несомненно блестяще справился бы со своей задачей: кое что укоротил бы, другое изменил. Получился бы превосходный, сжатый любовный роман. Но «Анна Каренина» ведь это не столько роман, хотя бы и превосходный, а живой мир, с неустранимыми шероховатостями, с необъяснимыми случайностями, как во всем, что нас окружает. Именно в этом ведь чудо толстовского творчества. Да и не почувствовал ли Бунин, не должен ли был смутно сознаться, что даже ему, взыскательному, безупречному мастеру, такую главу, как только что упомянутая, или, например, те несравненные тридцать страниц, которые предшествуют самоубийству Анны, незабываемой, заключительной «свече», даже и ему никогда все-таки не написать, и что раз это так, то не сто́ит выбрасывать или изменять что-то кажущееся «лишним»?

Второе воспоминание — о Лермонтове.

Осенью 1953 года я должен был уехать в Англию и пришел к Ивану Алексеевича проститься, не зная, что вижу его в последний раз. Не могу теперь с точностью установить, с чего начался разговор, вероятно с чего-нибудь касающегося поэзии.

Бунин, сделав усилие, неожиданно громко, твердо, внятно сказал:

— Всю жизнь я думал, что первый русский поэт — Пушкин. А теперь я знаю, что первый наш поэт — Лермонтов.

И с каким-то почти чувственным наслаждением произнес последнюю строку из «Дубового листка», действительно чудесную в звуковом отношении:

И корни мои оmyвает холодное море.

Позднее я рассказал об этом в печати, подчеркнув, что Бунин сказал именно «знаю», а не «считаю» или «нахожу». Многие были удивлены. Казалось мало вероятным, чтобы такой «традиционалист», как Бунин, мог в конце жизни отказаться от суждения, бывшего для него всегда бесспорным.

Меня даже заподозрили в выдумке, внушенной особым пристрастием к Лермонтову. Поэтому я с удовлетворением прочел то же самое в статье Алданова, помещенной после смерти Бунина в «Новом Журнале». Очевидно Бунин говорил об этом и ему.

Добавлю, что «переоценка ценностей», допущенная тогда Иваном Алексеевичем могла бы и не быть окончательной, вопреки твердому, настойчивому «знаю». Под воздействием лермонтовских стихов он высказал мнение, которое было бы иным, т.е. осталось бы прежним, вспомни он накануне не Лермонтова, а Пушкина. Кто в самом деле разрешит вечный, со школьной скамьи до гроба, русский спор о первенстве того или другого из этих двух поэтов? Да и применима ли вообще табель о рангах к литературе и искусству?

На похоронах Ивана Алексеевича я не присутствовал. Смерть его болезненно отозвалась не только в сознании его друзей. Было общее, согласное чувство, что с этой утратой что-то оборвалось, хотя никто не ждал от Бунина новых книг, дальнейшего творчества. По возрасту он принадлежал скорее к нашему веку, но больше, чем кто-либо другой напоминал своим присутствием о связи столетий и о роковой опасности исчезновения преемственности и пренебрежения ею. Он не торопился жить вровень с эпохой, не уступал жалкому желанию, столь часто встречающемуся даже у самых талантливых людей, быть в согласии с последней умственной модой, находить в этой моде особую ценность и привлекательность. С величавой простотой и величавым спокойствием он жил чуть-чуть в стороне от шумного, суетливого и самонадеянного века, недоверчиво на него поглядывая и все больше уходя в себя. Он был символом связи с прошлым: не в каком-либо реставрационном, социально-политическом смысле, а с прошлым, как с миром, где всему было свое место, где не возникало на каждом шагу безответное недоумение, где красота была красотой, добро добром, природа природой, искусство искусством... Я упрощаю, конечно. Никогда человек не жил в мире, где все окружающее было бы ему понятно, и Бунин не был исключением, Бунин ничем не мог этой непонятности, этой неизвестности предотвратить. Но как с последним лучом солнца от него

еще исходил свет, ясный и щедрый, а с исчезновением его стало как-будто темнее и холоднее.

Позволю себе поделиться личным впечатлением: я никогда не мог смотреть на Ивана Алексеевича, говорить с ним, слушать его, без щемящего чувства, что надо бы на него наглядеться, надо бы его послушаться, — именно потому, что это один из последних лучей какого-то чудного русского дня. Все встречавшиеся с Буниным знают, что он почти никогда не вел связных, сколько-нибудь отвлеченных бесед, что он почти всегда шутил, острил, притворно ворчал, избегал долгих споров. Но как бывают глупые пререкания на самые глубокомысленные темы, так бывает и вся светящаяся умом и скрытой содержательностью речь о пустяках. У Бунина ум светился в каждом его слове, и обаяние его этим усиливалось. А обаятелен он бывал как никто, когда хотел, когда благоволил быть обаятельным. Но даже не это было важно. Важно было, что его словами, о любой мелочи, говорило то огромное, высокое, то лучшее, что у нас было: дух и голос русской литературы. И вместе с тревогой от сознания, что это уходит, было и удовлетворение от того, что это еще здесь, перед нами, за столом, в халате, с книгой в руках, испещренной на полях сердитыми, пусть даже не всегда справедливыми замечаниями.

Анна Ахматова писала о «великом русском слове», которое должно быть в сохранности передано нашим внукам и правнукам. Это не только великое слово, это и особое слово, без которого мир был бы беднее, как то более плоским, и нет никакого патриотического самообольщения в признании истины, которую признают и многие из самых проникательных иностранцев.

Бунин — один из редких наших старших современников, который об этой истине напомнил.

Георгий Адамович



Когда приходит день осенний
Приходит с ним и мысль тогда:
До первой бы дожить сирени,
До первого б дожить дрозда!

Глядишь и дожил! Но ревниво
Опять томят тебя мечты
И первым яблоком иль сливой
Полакомиться хочешь ты!

Полакомился. Вновь осенний
Приходит день и вновь тогда:
До первой бы дожить сирени,
До первого б дожить дрозда!



Мы потеряли музыку косы,
Вздох паровоза, благовест копыта,
Застенчивость девической косы,
Уют свечи, податливость корыта.

Быть может мы когда-нибудь вздохнем
И с грустью вспомним о колосьях в поле,
О розах, скрипках, рифмах — обо всем,
Чего тогда уже не будет боле?

Всё это будет тем заменено,
О чем сегодня и гадать не стоит!
Где та вершина, где такое дно,
Что наше нетерпенье успокоит?

Д. Кленовский

ОТЧИНА И ЕЕ АВТОР

Необычайна — для современной русской литературы — эта небольшая, но весомая (по Тютчеву) книжка — «Отчина» Леонида Зурова, недавно — к всеобщему читательскому удовлетворению — удачно переизданная ИМКА-ПРЕСС, Париж. Уже более трехдесятилетий назад она превратилась в «книжную редкость», как теперь, впрочем, и другие довоенные, художественно полновесные, книги Зурова («Кадет», 1928 года, «Древний путь», 1934 года, «Поле», 1938 г.). В свое время «Отчину» прозорливо выделил Бунин, вообще высоко ценивший талант ее автора.

Но в первом — рижском издании 1928 года не было подзаголовка, а первое слово в предисловии неверно определяло и даже как-то снижало характер текста — *очерки*... К счастью, это определение *жанра* произведения теперь исправлено и найдено иное, точное и к тому же опирающееся на извечно присущий русской письменности, облюбованный ею, тип сочинения — *повесть*, то-есть повествование без упора на «беллетристические интриги», без «заострения сюжета», но при наличии серьезной темы, обычно драматической, со склонностью к лирическому — подчас, а не обязательно — освещению ее.

«Отчина» несет ныне подзаголовок: *Повесть о древнем Пскове*. Речь в ней не идет, однако, как можно было бы предполагать, о судьбе «молодшего брата Господина Великого Новгорода», о судьбе «свободной земли Псковской» (определения времен независимости Пскова). В «Отчине» нет отзвука «Повести о Псковском взятии», горько оплакивавшей утрату в 1510 году Псковской вольности в железных объятиях Москвы — Третьего Рима. «Отчина» посвящена общерусской теме самостояния Руси, теме стремления к смиренному («в страхе Божием»), трудовому и мирному житию, нарушаемому чужими воителями, теме военной беды и обороны Русской земли, теме трудной, подчас скорбной, а иногда героической доли псков-

ского пограничья с Ливонией и Литвой. В повествование искусно введен еще один трагический мотив — «Жестока была держава царя Ивана» — с беспощадным изображением Грозного: «от поклонов был темен, словно закопчен его лоб, а кожа пальцев изранена колокольными веревками», «...шел он погорбленный, жидкобородый, волоча ноги...», «...царь, глубоко сидя, зажав в руке чарку, — не разглаживая морщин, мелко смеялся. Внезапно остановился его взгляд, и дернувшись застыла улыбка...», и с пронзающей меткостью определены исполнители его большой воли: «...На вороных конях, то шагом, позванивая в трубы, то с присвистом и гиком, пуская рысью, шла *верная в своем сиротстве* причина...»

Архитектонически (в идейном, сюжетном и эмоциональном планах) вершиной повествования оказывается потрясающее описание великого нашествия на Русь в конце Ливонской войны (1558-1582 гг.) разноплеменной армии польского короля, Стефана Батория. Картина штурма Пскова совершенно единственна по силе изобразительности (при строжайшей экономии в словах), и душевная напряженность русских участников события выявлена с необыкновенной убедительностью при блестящей лаконичности автора.

Об этом историческом эпизоде есть составленная современником событий «Повесть о приходе Стефана Батория на град Псков». Есть также и польские свидетельства об осаде, начинающиеся с восхищения: «...Любуемся Псковом! Господи, какой большой город! Точно Париж. Помоги нам, Боже, с ним справиться...» Писатель знал и эти и другие документы эпохи. Но именно здесь надлежит подчеркнуть со всей ясностью и определенностью, что «Отчина» Зурова ни в какой мере *не* является «стилизацией» под какую-либо письменность той или другой поры. «Отчина» есть выражение — на точном историческом материале — авторских личных чувств, обращенных к Русской земле, которая — в данном случае — представлена Псковщиной: «...Широки Твои поля, святая Троица, а трудно пашню пахать...»

Поразительным образом писатель выявил ту суровую простоту, цельность, естественность и глубину народных чувств, которые составляли предмет удивления иностранных наблюдателей в те века (я имею ввиду отзывы враждебных Руси ливонских историков, а отчасти различные польские замечания,

— и те и другие полны удивления преданностью русских православия, «великому государю», выносливостью в военных лишениях и ожесточенным упорством в обороне). Необычайная убедительность, воспринимаемая, как непререкаемая *подлинность* этой атмосферы «ливонской украины» («украина» тогда означала «пограничье, у края»), воспроизведенной в «Отчине», оказалась возможной, как указывает во вступительной заметке сам автор, благодаря тому, что Зурову посчастливилось не только осматривать Псково-Печерский монастырь, находившийся тогда на территории Эстонской республики, но и работать как молодому энтузиастическому открывателю старины в этой твердыни русского православия, наиболее западной по местоположению в Прибалтике, во всяком случае в XVI веке, т. е. периоде, главным образом, описанном в «Отчине».

Этот «первоклассный мужской Успенский монастырь», каким он числился до революции, называется в летописях обителью «Пречистые (Богородицы) у Печеры», т.е. подразумевается «Богом зданная пещера», положившая начало избранности «сего никем незнаема места близ Ливонского рубежа». О раннем периоде монастырской истории рассказал с умным реализмом писатель в главе — «Малая обитель», используя отрывки сохранившихся преданий. Но основную эмоциональную основу для «Отчины» дало ему вхождение в жизнь монастыря, оказавшегося во времена независимой Эстонии подлинным историческим заповедником, полностью сохранившим не только весь архитектурный ансамбль, но и непоколебленный монашеский быт, а главное — высокое религиозное настроение, создаваемое непрерывным потоком богомольцев, неустанно приходивших, в духе вековых традиций, восславить и молить о помощи «Царицу мою преблагую, надежду мою Богородицу», — начальная строка из акафиста, певшегося всеми молящимися и производившего потрясающее впечатление на всех, кому посчастливилось присутствовать на таком богослужении: высокие женские, почти рыдающие, голоса, монашеские, мужские, создающие вокальный фон, мерцание свечей в полумраке храмов или в главных воротах обители, под Никольским храмом, — видение древней поры... Писатель трижды использовал — и с великолепной удачей — это песнопение в «Отчине».

Леонид Зуров сумел в своей повести оживить тот исторический инвентарь, который был пощажен временем в монастыре, начиная с закрытых слюдой и серебряными ризами чудотворных икон, со звонниц, полных наборами тонально подобранных колоколов древнего отлива, кончая производившими сильное впечатление монастырскими укреплениями (около трех четвертей версты протяженностью, стены до пяти сажен вышиною, девять боевых башен), кончая древним *било* раннего периода жизни обители...

Сам по происхождению из Псковщины, из «пригородов» (из Острова), писатель многое «знал» о родном крае, но силою своего таланта создал он то преобразование материала, когда рождается подлинное искусство: «Отчина» — редкое по характеру, своеобразное по тону и необычайно цельное произведение высокого словесного мастерства. Все то, что рассказал Зуров в «Отчине» не выдуманно: это — подлинная история и Псково-Печерской обители и Пскова. Но исторические факты рассказаны писателем по своему, по зуровски и — что самое важное в литературном искусстве — зуровским *собственным* языком: четким, крупнословным, отборным, взращенным автором на сочетании любви к народной меткой простоте и наглядности и склонности к картинности умного и сжатого литературного обобщения. Почти наугад несколько образцов: «...В котел с водой искрошили сухой ломоть ржаного хлеба, что дал им день тому назад мужик, угонявший в лес коней, остерегавший их от изборского пути. Был обложен пригород литовскими кострами. Благославил старик место ночное и, опорожнив котелок, легли они на тощее сердце. Дым низко стлало над звеневшим меж ивянковых кустов ручьем, усталость томила, и, прижавшись плечо к плечу, уснули они под шорох вершин...» При чем здесь Бунин, в ученики которого любят зачислять Зурова, закрывая глаза на своеобразие и — в «Отчине» — на блестящую лаконичность авторского стиля? «...Заря румянила башни Детинца. Уронив искры от крестов в седую утреннюю воду, лебединым стадом выплывал из туманов Псков...» «Звон падал на воду. Выходя на чистый озерный путь, медленно заворачивали серые паруса, ветер ровно держал стяг Нерукотворного Спаса, а за кораблями бусами тянулись груженные белым льном ладьи...» А вот как описан переломный момент штурма Пскова: «...Келарь Печерского мо-

настыря и два инок, отвязав от ограды коней, поскакали вперед к проломному месту. Келарь Хвостов в развевающейся рясе очутился около медленно отступающих псковичей. — Братцы! Богородица идет, родимые, — крикнул он и, зарывав, начал благославлять ратников крестом, давая с коня целовать крест ловающим его запекшимся устам. И запел он сквозь рыдания. — Царице моя Преблагая, Надеждо моя Богородице. — От собора, неся золотые пласты икон, бежала с пением и слезами женская толпа. Вопли, мешаясь с молитвами, летели к чудотворной иконе Успения. Она, залитая царским золотом, цепями, привесами и жемчужными уборами, что сняли с себя псковитянки, тяжело колыхалась над головами. Народ придвинулся. Приглушенная тяжелыми рыданиями молитва воскресла на проломе — Царица моя Преблагая, Надеждо моя Богородице. — Заработали топоры. С края придвинулись окованные железом мужицкие палицы. Словно почувствовав на лицах прохладный ветер, псковичи вырвались на гребень. Крестьясь меж ударами, они начали сбивать венгров с пролома в забитый трупами, колами и камнями ров. Под башней зажгли хворост. Дым повалил из пробитых дыр. Затрещали, загораясь, бревна. Шатаясь от жара, начали сбегать вниз рыцари. Еще шла сеча, но псковитянки бросились выносить раненых. Мать, сидя на земле, держала на коленях рассеченную голову своего мертвого сына. Она разбирала его волосы, причитала тонким измученным голосом и целовала сыновний лоб...»

Может быть, уместно вспомнить, что в самые смутные периоды последней войны эта и другие страницы зуровской прозы читались вслух, и их неподдельная вера в Русь укрепляла тех, кто, сидя «под немцами», начинал терять «русские чувства». А «Отчина» приносила утверждение жизни и мирного труда: «...Около псковских стен уже орали землю мужики. Сохи чиркали. Трудно было за межу выкидывать каменные и железные ядра. А потом с сумой вышел на свою пашню псковский пушкарь, перекрестился на Троицу, попросил благословения Божия и сделал три шага вперед. Бросил он первую горсть зерна на просящего, а вторую для себя». И получался оправданным прекрасный эпиграф к книге: «Из крестов скована Русская земля, И через кресты восходит солнце».

Есть ли оптимистическое изображение Зуровым русских людей в «Отчине» результат его «романтического» отношения

к старине, результат его *почвеннического* понимания России? Вероятно, правильным было бы утверждение, что писательские впечатления, отраженные в его «Повести», выросли на его опыте общения с крестьянами в Эстонии и Латвии: отсюда свежесть и убедительная ясность в обрисовке народной психологии.

В 1937 году, летом мне посчастливилось принять участие в несколькодневном археологическо-этнографическом походе группы ученых под водительством Л. Ф. Зурова по Печерскому краю. Все мы съехались в Печерах, имея собственные исследовательские задачи. Но Л. Ф. Зуров был уже знатоком и монастырских древностей и этого осколка Псковщины, исхоженной им вдоль и поперек в предыдущие его, многократные, приезды. Более того, он приобрел славу и уважение, способствуя реставрации Никольского храма в обители, восстановив звонницу и крыльцо церковки «на вратах» в первозданной простой и строгой красоте, как она была запечатлена на найденной Зуровым иконе XVI-XVII веков, изображавшей тогдашний вид монастыря. Присланный в то лето парижским музеем «Человек» для этнографических исследований в Печорском краю, Зуров помог нам войти в «проблематику местного краеведения», проведя ученых — «варягов» до Псковского и Чудского озера, до знаменитого валуна огромных размеров — Вороньина камня, возле которого, по преданию, происходило Ледовое побоище, познакомив нас с сельскими церковками, погостами, деревнями, рыбацкими поселками, стараясь как-бы воскресить в нашем сознании основные черты древней Псковщины...

Именно тогда мне стала понятной психологическая подлинность русских людей, изображенных писателем в «Отчине»: они были плоть от плоти тех, кого с такой любовью наблюдал Зуров в русских районах Латгалии и Печерского края. Он подходил к ним без всякой нарочитости. Вот запавшие в память сценки.

Мы идем цепочкой по проселку. Парит. На горизонте нависают тучи. Навстречу несется на виляющем ободранном велосипеде бородатый мужик, напоминающий Толстого, в раздувающейся, без пояса красной рубахе и босой. — «Доброго здоровья!» — кричит он, приближаясь: «Спрыснет вас ужо...» — «Чище будем, веселее пойдем!» отвечает Зуров, смеясь. —

«Верно, сынок... Дождь хлестанет лучше веника...» — хохочет Толстой, проносясь мимо. Мы встретились с ним, сутки спустя, уже как старые друзья, и он дал ряд полезных указаний о мелких археологических находках, случайно сделанных крестьянами в его деревне.

На поле работает группа крестьянок. — «Бог в помощь!» — кричит Леонид Федорович. — «Спаси Бог!» — отвечает звонкий молодой голос: — «Шли бы подсобить, лентяи!...» — Зуров, молниеносно принимая «вызов»: — «С превеликим удовольствием, да не хотим парней ваших обидеть!...» — Задорный голос с поля: — «Оно так и есть: лентяи и трусы!» — Всеобщий хохот.

Так Зуров мгновенно устанавливал «общий язык», а весь вид его, молодого, энергичного, высокого, ловкого в движениях, со светлыми, пронизательными, зоркими глазами («лешачьи, лешака очи то у тебя, сынок», сказала при мне ему пожилая певунья старинных песен), подтянутого, отчетливого, тщательно побритого, дружественного, находчивого в речи, располагал к себе, если не мгновенно, то в короткое время, всех русских его собеседников, начиная от серьезных неторопливых рыбаков до «князя церкви», епископа печерского Иоанна, молитвенника и «народного трибуна», понимавшего значение исторического исследования и покровительствовавшего многим поискам Л. Ф. Зурова. К сожалению, в 1937 году епископ был уже «не у дел»: «малодержавные шовинисты» косились и на Зурова, слово и дело которого служило русской культуре, и служение это началось — в глубоком и талантливом размахе — именно «Отчиной».

Для «будущего историка» стоит отметить несколько запомнившихся суждений об авторе «Отчины» и о самой книге. Раньше того, однако, свидетельствую, что дед в «Послесловии», предсказывающий апокалипсический, но оптимистический по исходу бой над Псковщиной: «Тогда Христос выйдет и побьет Антихриста, и задвинутся грешные крутой стеной, и шабаш, а праведные пойдут на мирное жительство, и опять православная вера будет единая», реалистический портрет (собирательный или даже индивидуальный, не знаю) печерянина, проникнутого эсхатологическими настроениями, в сознании и подсознании которого переплелись вековые навыки душевной преданности Богу и Руси, что и составляет основную движущую

шую силу героев «Отчины». Во всяком случае мотивы эти не раз прозвучали в моих встречах с крестьянами и в 1937 году и особенно поздним летом 1938 года, когда все явственнее чувствовалось нарастание предвоенной тревоги.

Основной мотив — «Зуров словами и делами приукрасил нашу печерскую обитель» — звучал, по праву, в каждом доме гостеприимнейших печерян, где при наличии заезжих «варягов» моего типа непременно заходила речь о писателе. Получался род некоего «единого мнения» не только в среде тамошней интеллигенции, но и среди всех печерян с открытыми сердцами, читавших — многими поколениями — монастырь. «Леонид Федорович душу камня чувствует... Божий дар...» — горячо объяснял мне, с гордостью показывая реставрированную Никольскую звонницу один из каменщиков, там потрудившихся. «Сердцу господина Зурова красота обители нашей близка», — голос богомольной хозяйки моей квартиры на чудесной Задней улице. Чрезвычайно интересны суждения иеродиакона и ключаря, отца Серафима, пошедшего в монастырь уже после окончания гимназии (в Нарве?), говорившего на всех местных языках, — он был приставлен ко мне — «следить, как и что» — подозрительным и грубоватым игуменом Агафоном, усердно мешавшим исследовательской работе, несмотря на целый пук «разрешений» и «благословений» от светских и духовных властей из эстонской столицы. С отцом Серафимом я, в конце концов, весьма подружился, хотя к моим исследованиям он относился холодно: — «...Люди шли в монастырь концы хоронить, а вы все концы ищете».

О Зурове отец ключарь отзывался — повидимому, в унисон с общим мнением братии — так: — «За умножение монастырского благолепия господину Зурову многие прегрешения его будут отпущены по ходатайству Пречистой Богородицы и святителя Николая». Это был отклик на восстановление Никольского храма. Но «Отчину» отец Серафим не одобрял: — «Суеты много описано. И преподобный Корнилий не отроком пришел в обитель, а в молодых летах».

Теперь, занимаясь изучением псковских летописей и их источников, я с изумлением убедился в правильности последнего замечания моего тогдашнего собеседника. И могу — уже от себя, как историка — добавить, что исторически в «Отчине» невероятна сцена заезда Курбского в монастырь перед его

бегством «от царского гнева». Опальный князь бежал из Юрьева Ливонского в ночь на 30-е апреля 1564 года, вместе с двенадцатью «со-товарищи», в чрезвычайной поспешности, даже без своей «брони и лат», ибо со-воевода Курбского, М. В. Морозов, в Юрьеве получил новый «разрядный список», т.е. список военных назначений, только что сделанных Грозным в Великих Луках, и имени Курбского больше в нем не было. Это означало опалу. Князь Андрей Михайлович отлично знал нравы «нового Вавилона» и ждать больше было нечего. Курбский с Василием Шибановым и другими преданными ему людьми поскакал не на Печеры, а на Валк, к Вольмару, где он и написал свое знаменитое «послание, полное яду» Ивану IV (кстати, Шибанов послан был «подметнуть» грамоту Курбского, и при этом он был схвачен, — романтическая же легенда, использованная Алексеем К. Толстым, относится к XVII веку). Интересно, что один из сотоварищей Курбского по Ливонской войне, воевода Павел Петрович Заболоцкий, построивший в 1564 году Никольский храм «на вратах» (реставрированный Зуровым), принял там постриг, став иноком Пафнутием, и именно он сделал запись в Третьей Псковской летописи: «Тое же весны изменил князь Андрей Курбский, збег в Литву из Юрьева».

«Отчина», по истине, занимает особое положение в русской художественной традиции, ибо ее автор сумел средствами художественного показа, в сильном, красочном, отобранном и проникновенном слове передать не только внешние события, разыгравшиеся «у Ливонского рубежа», но выявить и те духовные начала, которые создавали силу русских людей в те далекие времена. Именно этим «Отчина» обогащает читателя и приобретает «весомость», по Тютчеву.

Август 1971 года, Корнуел.

Ник. Андреев

В ПОИСКАХ РИФМЫ

Алексису Ранниту

Устроены с умыслом
Природа и речь:
Чтоб зорям и сумеркам
В созвучье не лечь.
Чтоб Эрос и Фанатос
Раздельно брели
И, роком обмануты,
Сойтись не могли.
Закон математики:
Здесь минус, там плюс.
Для пешек — квадратики,
Решетки для муз.
Но резвая ленточка
На девичьем лбу
Смыкается с венчиком
Бумажным в гробу.

СТРЕЛЬБА В ЦЕЛЬ

Вчера стрелки перед турниром
Круг поднимали на прицел,
И он топорщился тапиром
Под облаком дикарских стрел.

А мне, свидетелю расправы,
Напоминала та стрельба,
Что алчут высохшие травы,
Что каждая стрела — судьба,

Что, судьбами больна чужими,
Склониться рада в полутень
Одна израненная ими
Кровоточащая мишень.

Валерий Перелешин

ЛЕСЯ УКРАИНКА

НЕСОКРУШИМАЯ

Год 1971 — год славного юбилея в истории украинской литературы: сто лет тому назад, 13 февраля 1871 г. родилась знаменитая украинская поэтесса Лариса Петровна Косач, по мужу Квитка, прославившаяся под псевдонимом — «Леся Украинка». Драгоценным подарком к этой знаменательной дате является книга, увидавшая свет в результате кропотливого труда и поистине героических усилий целой группы лиц, в первую очередь сестер поэтессы.*

В годы моей юности в Киеве мне посчастливилось: мы жили по соседству с семьей Кривинюков и мне часто удавалось поговорить с Ольгой Петровной Косач-Кривинюк (1877-1945), родной сестрой Леси Украинки, с ее мужем Михаилом Васильевичем и старшим сыном Михаилом, тем самым «маленьким Бобриком», к которому когда-то с такой нежностью обращалась в своих письмах поэтесса. Знала я еще и младшую, из сестер Леси Украинки, Исидору Петровну Косач-Борисову, ставшую почетной председательницей комитета по изданию этой замечательной книги.

Еще в последние предвоенные годы я знала, что Ольга Петровна интенсивно работала над упорядочением семейного архива, а встретившись с ней в эмиграции, с радостью услышала, что в труднейшей обстановке военных лет и эмигрантского существования она упорно продолжала эту большую и ответственную работу.

Незадолго до смерти Ольга Петровна передала один экземпляр своего объемистого труда Музею-Архиву Украинской Свободной Академии Наук, в Аугсбурге, а позже перевезен-

* Ольга Косач-Кривинюк. Леся Українка; хронологія життя і творчості. Нью Йорк, Українська Вільна Академія Наук у США, 1970. 923 стр. С ілюстр.

ному в США, тогда как часть материалов, относящихся к жизни и деятельности Леси Украинки, включая многие ее письма, была еще раньше передана на хранение в Отдел Рукописей Академии наук Украинской ССР в Киеве. Несмотря на то, что многие письма поэтессы опубликованы в киевских изданиях ее собрания сочинений в 50-х и 60-х годах, читатель «Хронологии» найдет около ста писем Леси Украинки, опубликованных только в этом издании. Кроме того, книга эта включает две краткие, но содержательные статьи редактора этого труда, известного исследователя творчества Леси Украинки, проф. П. В. Одарченко, — о матери поэтессы, талантливой украинской писательнице и общественной деятельнице Олене Пчилке (псевд.), а также о самой составительнице «Хронологии» О. П. Косач-Кривинюк.

Книгу оживляют редкие фотографии, выбранные из семейного архива, а пользование материалом облегчено приложением именного указателя.

Книга эта удачно построена: материалы расположены по хронологическому принципу, а в конце каждого такого отдела приводится список помещенных писем с указанием, из каких архивов они взяты. Далее следует список литературных произведений Леси Украинки, написанных за данный период, а затем список оригинальных произведений и переводов, вышедших из-под пера поэтессы.

Заметим, кстати, что Леся Украинка начала печататься очень рано: ее первое стихотворение «Конвалія» (Ландыш) появилось уже в 1884 г. Тогда же мать подобрала ей псевдоним, которым поэтесса пользовалась всю жизнь.

Но прежде чем перейти к обзору жизни поэтессы, я позволю себе вкратце остановиться на самом собирателе этого архива и на некоторых материалах, находившихся в его распоряжении. С М. В. Кривинюком поэтесса познакомилась в 1896 г. на свадьбе своей приятельницы Л. М. Старицкой (позже известной украинской писательницы Людмилы Старицкой-Черняховской). Позже М. В. был вместе с Лесей Украинкой членом социал-демократического кружка, затем стал другом и названным братом поэтессы, а позже ее шурином, женившись в 1905 г. на ее сестре Ольге. Первые письма М. В. Кривинюку Леся Украинка писала в апреле 1897 г. в Киевскую Лукьянов-

скую тюрьму, где он сидел после своего ареста 24 ноября 1896 г.

Архив М. В. Кривинюка, которым широко пользуется в своей «Хронологии» его жена и друг, особенно ценен тем, что кроме писем самой Леси Украинки он содержит и множество писем, так или иначе относящихся к поэтессе, из которых автор отчетной книги приводит выдержки или же вкратце пересказывает их содержание.

Кстати, архив этот богат материалами, дающими ряд сведений о политических настроениях и связях Леси Украинки. Для примера приведу следующие строки из письма некоего Волховского, «Волоха», датированного 19 апреля 1903 г., где он сообщает поэтессе следующее (Переводы писем, приведенных в «Хронологии» по-украински, сделаны мной. Т. Ф.): — «Моя позиция в социалистическом и революционном деле такая же, как и Ваша. Кроме Аграрной Лиги, не являющейся партией, а только организацией с профессиональным заданием, я формально не принадлежу ни к какой группе... Могу сказать Вам с уверенностью, что и лига (Аграрная) и партия с.-р. (социалистов-революционеров) относятся положительно к федеральной связи с украинцами, как и с иными народностями, нужно только окончательно установить практические формы этой связи, и, мне кажется, что эту работу мы с Вами, как межпартийные Wilde, к тому же оба украинцы, могли бы как можно лучше если и не завершить, то хотя бы помочь ее такому установлению».

Из этого же архива взято весьма интересное письмо самой Леси, адресованное сестре Ольге и ее мужу, жившим тогда в Праге, и датированное 23 ноября 1905 г., в котором речь идет о событиях в Киеве, о «военном бунте» и о взаимоотношениях Р. У. П. (Радикальной Украинской Партии) с С. Д. «Я считаю, что между... газетами, как и между самими партиями, может быть вместо антагонизма просто разделение труда, ну и определенное разделение публики... Я даже свою собственную работу могла бы так разделить...», — пишет поэтесса.

Этих кратких выдержек достаточно, чтоб показать, что публикуемые материалы из архива М. В. Кривинюка имеют большую ценность как для историка, так и для исследователя — литературоведа.



Труд О. К. Косач-Кривинюк (я буду для краткости называть автора «Хронологии» принятым в книге сокращением — ОКК), открывается интересной историей семейств Косачей и Драгомановых (предков Леси Украинки по материнской линии). Тут мы узнаем, что «Косача было имя сильного благородного рода босняцкого, игравшего в XIV и XV ст. важную роль в истории страны... Правитель Захолмья Стефан Косача исходатайствовал для себя в 1444 году у Германского императора Фридриха титул герцога, откуда вся его область получила название Герцоговины».

Однако, нет неопровержимых данных, что эти сведения относятся к предкам поэтессы, т. к. хоть герцоговинским Косачам и пришлось покинуть родные места, оказавшись, наконец, в Польше, их путь теряется на целое столетие. Известно только, что прямой предок Леси Украинки прибыл из Польши и от него пошел украинский род Косачей, впоследствии занявший видное место среди черниговского дворянства.

Отец поэтессы, П. А. Косач, женившийся на О. П. Драгомановой, окончил Киевский университет, был помощником правителя канцелярии Киевского губернатора, а в 1866 г. был назначен председателем Новоград-Волынского (Звягельского) съезда мировых посредников. В этом же городе увидела свет поэтесса, неся в себе кровь двух родов, тесно связанных с историческим прошлым Украины и соединенных семейными и дружескими узами с самыми блестящими представителями национально-настроенной украинской интеллигенции.

Составляя хронологию жизни и творчества своей знаменитой сестры, О. П. Косач-Кривинюк оживляет тщательно подобранный по годам материал своими личными, чрезвычайно интересными «Воспоминаниями и заметками». К сожалению, они относятся только к четырнадцати годам из недолгой жизни поэтессы, охватывая 1877-1890 г.г. Семейная обстановка, детство Леси Украинки, а главное, люди, окружавшие ее, и так или иначе повлиявшие на склад ее характера, очень живо представлены также в очерке, написанном ОКК со слов близких и по собственным более поздним наблюдениям: «Звягельский период Лесиной жизни: 13/II 1871 — первая половина 1879».

Брат матери, Михаил Петрович Драгоманов, публицист, историк, фольклорист, известный украинский общественный деятель, вынужденный позже жить в эмиграции, с детских лет воспринимался Лесей и ее старшим братом и ближайшим другом Мишей, как некий идеал, и это отношение к нему сохранилось у поэтессы на всю жизнь, обусловив многие черты ее психологического облика: «Он научил меня, как люди терпят горе и борются с судьбой», — пишет она матери 25 июня (7 июля н. с.) 1895 года.

В своих «Воспоминаниях», относящихся еще к 1890 г., ОКК подчеркивает, что каждое письмо М. П. Драгоманова «трогало и волновало Лесю, подбадривало и поддерживало ее, так как в нем она находила выражение у человека, так высоко стоявшего в ее мнении, и внимания, и серьезного отношения к ней, и любви, и нежности, и желания помочь ей чем только можно. Получение письма от дяди всегда было словно каким-то большим праздником для Леси, так она была ему рада, такое приподнятое настроение вызывало у нее это письмо».

Рассказывая в одном из писем к известной буковинской писательнице Ольге Кобылянской о своем недостаточном формальном образовании («училась только тому, что мне нравилось, а читала все, что попадалось под руку») Леся спешит добавить: «Правда, корректив был в лице моей матери и в письмах дяди Драгоманова, которого считаю своим учителем, так как очень многим обязана ему в моих взглядах на науку, религию, общественную деятельность и т. д.»

Из писем Леси видно, как близка она была со всей семьей дяди и с каким удовольствием она подолгу гостила у Драгомановых в Софии, где ей пришлось и присутствовать при последних минутах жизни Михаила Петровича.

Автор «Хронологии» хорошо воссоздает облик матери поэтессы: «...людей, умнее ее, я знала мало, а, может быть, и совсем не знала. Были в ее характере прекрасные черты, но были и такие, что очень больно задевали близких людей, в первую очередь ее детей. А поэтому ее хорошие и плохие черты очень отразились на Лесе, но все же хорошие черты преобладали. Во всяком случае Леся безгранично любила ее и очень высоко ценила ее до самой смерти, хотя не раз прямо теряла сознание от боли, причиняемой ей матерью».

Зато ее очень любили отец и бабушка, крестная Леси, к

которой обращены многие ранние письма поэтессы, включенные в сборник.

Нельзя без волнения читать воспоминания ОКК, относящиеся к 1881 г., когда у Леси впервые появились признаки туберкулеза, Это было началом упорной «тридцатилетней войны» с туберкулезом, как определила свою дальнейшую жизнь сама Леся Украинка. Ни раньше, ни позже, когда к болям в руке присоединились страдания, вызванные туберкулезом тазобедренного сустава, Леся старалась не поддаваться болезни. Несмотря на оперированную и деформированную руку, Леся Украинка много играла на рояле, чудесно импровизировала, а так же и вышивала, увлекаясь, как и ее мать, народными узорами.

Мелкие подробности, рассказанные родным человеком, создают необычайно живой и яркий образ Леси Украинки, подчеркивают величие души этой мучимой болезнью молодой женщины. Вся ее жизнь — борьба с болезнью, вечные метания по курортам и лечебницам. Можно поистине преклоняться перед этим немощным, физически слабым человеком, находившим и время и силы для интенсивной литературной работы, самообразования и общественной жизни.

Мать Леси Украинки пишет 18 января 1897 г. Л. М. Драгомановой о страданиях дочери: «Уложили ее на три месяца в постель... Лечение очень мучительное, болезненное, да и лежать тоска! Она очень терпеливая вообще и переносит страдания, не жалуясь...» И действительно, уже 1 февраля Леся пишет тому же адресату: «Нужно все-таки помнить, что «бывает хуже», а мама об этом забывает». Но все-таки прорываются и жалобы: «Литература моя едва дышит...» А в письме к Л. М. Драгомановой из Крыма от 21 декабря того же года находим такие грустные строки: «Только мне уже немного надоела эта одинокая жизнь, особенно же это плохо во время болезни: лежишь себе, смотришь в потолок, слушаешь выстрелы бури на море да свист ветра между кипарисами, а в доме так тихо, а ночь такая длинная...»

Здесь же в Чукурларе под Ялтой, в эти трудные для нее месяцы 1897 года, поэтесса познакомилась с Сергеем Константиновичем Мержинским, тоже лечившимся в Крыму от туберкулеза. Эта нежная дружба и последующие краткие встречи озарили жизнь Леси новым светом, но ненадолго: уже

7 января 1901 г. Леся уехала в Минск, чтоб у постели умирающего, брошенного друзьями Мержинского провести два страшных месяца. В письмах к М. В. Кривинюку сестра Ольга, заезжавшая также в Минск, чтоб проститься с Мержинским, писала: «А Леся, Леся. Если бы ты только знал, какая она несчастная! А все же находит силы, чтоб быть спокойной при С. К. и его родственниках, более энергична и бодра, чем все они. Вот уж судьба у нее: вся жизнь одна мука!»

М. В. Кривинюк поехал в Минск, чтоб облегчить Лесе ее дни у постели умирающего и позаботиться о ней самой. Этот «друг и брат» вскоре снова окажется очень нужным и близким Лесе в ее новом горе, а его архив снова даст исследователю исчерпывающие материалы о «трушиаде», как называла Леся свой конфликт с талантливым галицко-украинским художником Иваном Трушем, в результате которого с ней разошлась ее любимая кузина Рада (Ариадна) Драгоманова, ставшая позже женой художника и старавшаяся в то время всячески оправдать любимого человека.

Для Леси Украинки и всей ее семьи 1903 год был годом глубокого горя — в Харькове внезапно умер ее брат Михаил в расцвете молодости и сил. Лесю подкосил этот удар, но и до него «потеря» Рады была для нее очень тяжелым переживанием, отразившимся и на ее физическом состоянии. В конце марта и в начале апреля 1900 г. Иван Труш, по заказу Научного общества имени Шевченко во Львове писал в Киеве портрет Леси Украинки. «Мы с ним очень большие приятели» — писала Леся Ольге Кобылянской 14 ноября 1900 года., Действительно, Труш очень сблизился со всей семьей Драгомановых-Косачей в свои частые приезды в Киев, однако 29 мая 1903 г. Леся Украинка в письме к М. В. Кривинюку отмечает: «Мы порвали знакомство с Трушем и, кажется, навсегда. Он сам этого захотел, неожиданно для меня...»

В письмах Леси и сестры Ольги к тому же адресату выясняются причины конфликта: Труш обвинял всех их троих в «плохом влиянии» на Раду, выразившемся в «игнорировании» его друга, профессора Михаила Грушевского, и в поддержании теплых отношений со старым другом, единомышленником и многолетним корреспондентом отца Рады, М. П. Драгоманова, галицко-украинским общественным деятелем и писателем, основателем Радикальной украинской партии и редак-

тором газеты «Народ» М. Павликом, с которым и сама Леся вела деятельную и часто цитируемую переписку, тогда как Труш считал его своим врагом.

В свою очередь Леся Украинка открыто высказывала крайнее неудовольствие в связи с тем, что ее портрет, предназначенный для Научного товарищества имени Шевченко во Львове, был продан Трушем наместнику Пининскому.

Шестого июня 1903 г. Леся написала М. В. Кривинюку подробное письмо, приложив к нему «на хранение» три письма Труша и черновик своего ответа художнику, где она в частности подчеркивает: «...я совсем не интересуюсь публичным выставлением моих портретов, но если им уж висеть у польских магнатов, то пусть они лучше висят в украинском общественном доме».

Конечно, конфликт этот далеко не ограничивался делом с портретом (который, кстати, был возвращен Пининским), а отражал в себе борьбу различных направлений в самом Научном обществе имени Шевченко и взаимоотношений его членов, тогда как Леся Украинка решительно отходила в сторону от этой борьбы: «На дела Общества я не имею никакого влияния, так же как и на личное поведение его членов. Я интересуюсь его литературно-научной деятельностью...» (Письмо Ивану Франко).

Письма Леси Украинки поражают тем спокойным достоинством, с которым эта молодая женщина высказывает свои взгляды и мысли признанным авторитетам того времени. Так, когда еще двадцатилетняя Леся во время краткого пребывания во Львове познакомилась с упомянутым выше М. Павликом, он написал М. П. Драгоманову: «Леся просто ошеломила меня своим образованием и тонким умом. Я думал, что она только в сфере своих стихов, но это далеко не так. Для своего возраста это гениальная женщина. Тем печальнее, что она, бедная, не живет, а мучится!»

Действительно, круг интересов Леси Украинки отнюдь не ограничивался поэзией. Так, еще 30 августа 1896 г. она пишет сестре Ольге из Крыма, где она лечилась: «...я, как и раньше, почти ничего не делаю, вот только половину Kapital'a «простудировала» («читать» его невозможно) и, знаешь, чем дальше читаю, тем более разочаровываюсь: я не вижу той «строгой системы», о которой говорят фанатики этой книги,

вижу много фактов, немало остроумных гипотез и еще больше просто острословия, но многое остается для меня темным, невыясненным, недоговоренным и в научной теории, и в практических выводах из нее. Нет, видно этот *pocum evangelium* все-таки требует больше непосредственной веры, чем есть у меня».

Жажда приобщения к мировой культуре сопутствовала Лесе Украинке всю ее жизнь. Так, 9 апреля 1904 г. она пишет сестре Ольге из Тифлиса: «В Одессе я хотела бы теперь пробыть больше недели, чтоб походить в иностранные библиотеки, а то я тут отстала от европейской литературы».

Но нежная, шутливая, ласковая, женственная Леся раскрывается не в письмах к родным людям, а только тогда, когда она пишет своей далекой подруге — «кому-то черненькому», «моему цветку папоротника», как она называла талантливую Ольгу Кобылянскую. Вероятно, это происходило вследствие особого «климата», настолько характерного для семьи Косачей, что его отметила и сестра Ольга в своем письме М. В. Кривинюку от 18 января 1904 г.: «Наша семейная черта — все мы словно боимся проявить свою нежность и любовь друг к другу». В письме ему же от 3 октября того же года она с горечью признается: «Как-то нет у нас в семье привычки говорить друг с другом просто, откровенно и ласково. Или скрываем, или злимся, или говорим как-то непросто».

Вот эти-то признания родного поэтессе человека, впервые напечатанные в «Хронологии», дают ключ к пониманию того, почему самые интимные, самые задушевные и самые ласковые письма Леси Украинки адресованы Кобылянской, а не членам ее собственной семьи. Правда, с выходом сестры Ольги из старой семьи, ее отъездом к М. В. Кривинюку в Прагу и отказом молодых от церковного венчания (в чем их очень поддерживала сама Леся, предвидя, однако, что ей самой придется поступить иначе), письма поэтессы к любимой сестре и ее мужу становятся все чаще, теплее и откровеннее. Но все-таки именно Кобылянской Леся будет жаловаться на то, какое страшное горе причинила ей смерть брата, ей же она напишет 22 июня 1904 г. о своем будущем муже К. В. Квитке*: «...кто-то

* Климентий Васильевич Квитка (1880-1953) музыковед, фольклорист, записавший более 6000 украинских и других песен, причем

всегда был хорош с «Цветиком» [игра слов — по-украински: цветик, цветочек — «квіточка». Т. Ф.], а теперь и того лучше. «Цветик» совсем не может жить без кого-то, да и кто-то примерно так же. Хорошо это или плохо, каждый может судить об этом так, как он хочет, но это уже так. Я не знаю, какой будет форма или формула наших отношений, но одно ясно: мы будем стараться как можно меньше быть врозь и как можно больше помогать друг другу. Это главное в наших отношениях, все остальное второстепенно. Может быть не каждый поверил бы этим моим словам, но кто-то [т.е. Кобылянская] поверит мне, я знаю».

16 февраля 1907 года Леся написала сестре Ольге, что очень волнуется за Климентия Васильевича Квитку, у которого туберкулез легких дал неожиданную вспышку и начались сильные и опасные легочные кровотечения. Леся спешно уехала с любимым человеком в Крым, а в июне они уже гостят у старой подруги поэтессы в селе Бережцах Кременецкого уезда — там сухо, сосновый лес, там им обоим, больным и замученным, должно стать лучше... Двадцать восьмого июля все родственники Леси Украинки, собравшиеся на лето в усадьбе «Зелений Гай», в Гадяче, послали Лесе телеграмму, поздравляя ее с замужеством.

Молодые снова уезжают в Крым, собираясь осесть там на более продолжительное время, и 10 сентября Леся пишет матери, что Квитке стало значительно лучше «только утомление К. и до сих пор переносит очень плохо, как только попишет или почитает чуть больше, чем следует, сейчас же перестает есть, бледнеет и как-то увядает». Всё это не ново для Леси, призрак чахоточного Мержинского, вероятно, стоит у нее перед глазами, но она не сдается, не склоняется под новым ударом судьбы, даже при том, что у нее самой все чаще проявляются симптомы туберкулеза почек. Наоборот, она не только берется за свои «улиты» (так Леся называла медленно подвигавшиеся крупные произведения, требовавшие много времени и труда для их полного завершения), в частности, за драму «Руфин и Присцилла». В письме к матери она сообщает: «Я ряд песен был записан им с голоса Леси Украинки и Ивана Франко. С 1920 г. был профессором Киевской консерватории, с 1933 г. — Московской консерватории. В 1937 г. основал Кабинет музыкального творчества народов СССР.

теперь в периоде заканчивания» и тут же спрашивает, не пригодились бы для «Родного Края», — детища Олены Пчилки, — «критические заметки о новейших сборниках народных украинских песен»: над такими заметками собирался работать Квитка между припадками своей болезни. К тому же, несмотря на плохое состояние здоровья, он посильно продолжает работу в Ялтинской камере мирового судьи. В 1908 г. «перспектива переселения на Кавказ становится все более реальной: имеем сведения, что тифлисский суд уже выбрал Клёню [К. В. Квитку. Т. Ф.] на должность помощника мирового судьи в городе Телави».

Пребывание в Крыму мало помогает борьбе с болезнями, но письма Леси из Ялты полны забот и просьб о помощи другим людям, в частности писательнице Н. Кибальчич-Козловской с мужем, очень бедствовавшим в Италии, тогда как мысли супругов Квитка были заняты собиранием материала для научного издания песен кобзарей, над которым в то время работал знаменитый фольклорист, музыковед и композитор Филарет Колесса (1871-1947). В письме Леси Украинки Научному обществу имени Шевченко во Львове, связанном с этой работой, поэтесса подчеркивает, что украинская общественность должна сделать все, от нее зависящее, чтоб нагнать упущенное время в собирании «чудеснейших, единственных в целом мире памятников творчества нашего народа». В этом отношении очень интересно письмо из архива ОКК, в котором Леся поручает сестре записать на валиках фонографа для Колессы исторические думы, исполняемые бандуристами Кучеренко и Гончаренко, находившимися в то время в Киеве. Позже супруги Квитка пригласят старого бандуриста Гончаренко к себе в Ялту и сами сделают дальнейшие записи исполняемых им дум, а затем перешлют валики фонографа в распоряжение Этнографической комиссии Научного общества имени Шевченко.

Трудно себе представить, что всю эту сложную работу проделали два тяжело больных человека накануне мучительного переезда на Кавказ, вызвавшего у Леси новую вспышку туберкулеза легких, еще обострившуюся после вести о смерти отца. Оставалась одна надежда — предписанная врачами поездка в Египет, о которой больная поэтесса все больше начинает мечтать. С горьким юмором пишет она из Кахетии:

«...уж видно написано мне на роду быть этакой *Princesse Lointaine* (название драмы в стихах Э. Ростана, известной в России, как «Принцесса Греза» в переводе Т. Щепкиной-Куперник. Т. Ф.), пожила в Азии, поживу еще и в Африке, а там... вот так буду продвигаться все дальше и дальше, да и совсем исчезну, превращусь в легенду».

В середине ноября 1909 г. Леся Украинка с мужем пришла на курорт Гелуан под Каиром, откуда она пишет матери: «...финансы мои теперь в таком состоянии, что их, верно, в обрез хватит на возвращение домой... даже одеждой летней не могу как следует обзавестись, так как «лечебный» бюджет сократить уж никак невозможно».

Но все же в 1911 г. Леся Украинка снова вернется в Египет, в тот же Гелуан, но уже одна. Муж ее переведен в Кутаис, и вот оттуда-то 29 июля 1911 года, утомленная далеким путешествием и дополнительным лечением еще в Киеве, Леся напишет сестре Ольге: «...вот недавно «нашел стих» писать и я докончила кое-что из давнишнего, а кроме того написала драму-поэму в 3-х действиях дней за десять, и писала ее в каком-то таком экстазе, что ночью не могла спать, а днем есть... Когда закончила ее, то немного таки расхворалась — была температура 38° и значительный упадок сил...» Так, на пороге могилы Леся Украинка создала свою бессмертную «Лесную песнь».

Позже, в письме к матери, поэтесса признается: «Лесную песнь» я потом так отболела, что боялась возвращения зимней истории, другие вещи стоили мне меньших приступов, но ни одна не прошла даром, — пусть уж никто не скажет, что я «не горевши, не болевши» добываю себе «лавры», так как в буквальном смысле я и горю и болею каждый раз».

Осенью 1912 года, закончив в Кутаисе «Каменного гостя», Леся Украинка в третий раз уехала в Египет, так и не дождавшись публичной оценки своей драмы. С грустью писала она сестре Ольге: «...«Каменный гость» мне казался первой настоящей драмой, вышедшей из-под моего пера, объективной, сконцентрированной, не затопленной лирикой, совсем новой по сравнению с моей обычной манерой, а мама и Людя (писательница Л. Старицкая-Черняховская. Т. Ф.) молчат... Будут ли так же молчать и все остальные?» Но опять-таки все мысли, связанные с трактовкой действующих лиц в этой драме, Леся

Украинка изложит не в письме к матери, опытной писательнице, а к далекому другу Ольге Кобылянской.

Почти все письма Леси Украинки, написанные родным и близким в 1913 году, — последнем году ее жизни, — напечатаны и в советских изданиях собрания сочинений поэтессы, и все они рисуют очень печальную картину ее последних месяцев.

А Леся все еще не сдается, все еще строит планы, надеется на переезд в Среднюю Азию, где «я поправлюсь хоть так, чтоб не быть инвалидом». Но ей становилось все хуже и хуже, и 4 июля, вызванные К. В. Квиткой, мать Леси и сестра Исидора приехали в Кутаис. Хотя Леся поразила мать своим видом, она еще нашла в себе силы продиктовать матери конспект задуманной ею новой поэмы. Десятого июля Лесю Украинку перевезли в Сурам, тихий, небольшой курорт возле Боржома, а 25 июля в конторе старого Байкового кладбища в Киеве была выписана квитанция № 1319 на имя М. В. Кривинюка, уплатившего деньги за рытье могилы для Ларисы Петровны Квитки. Леся Украинка становилась легендой...



О великой украинской поэтессе написано множество литературоведческих работ, анализирующих ее творчество. Но «Хронология» совершенно своеобразная, увлекательная и в то же время объективная книга, в которой упор сделан на жизнь Леси Украинки, на ряд событий и фактов, часто раскрывающих внутренний смысл ее стихов, объясняющих, почему те или иные темы нашли свое выражение в ее произведениях определенного периода.

К тому же, в своих «Воспоминаниях и заметках» О. П. Косач-Кривинюк оказала огромную услугу литературоведам, расшифровав много имен и сокращений, встречающихся в письмах Леси Украинки или же в письмах близких к ней людей.

Сила книги именно в том, что сгруппировав по годам письма Леси Украинки к разным лицам, рассказав по порядку об основных событиях в семье Косачей-Драгомановых и зачастую вкратце передав содержание писем родных к самой поэтессе или о ней к другим членам семьи, ОКК с необыкновенной яркостью восстановила облик *живой* Леси.

На пятнадцатой сессии ЮНЕСКО 10 июля 1970 г. была принята резолюция № 4351, согласно которой «празднование годовщин выдающихся людей и знаменательных событий будет подлинно содействовать широкому ознакомлению с этими людьми и событиями, оставившими глубокий отпечаток на развитии человеческого общества и мировой культуры». Среди многих блестящих имен, названных в приложении к этой резолюции, мы находим и имя Леси Украинки. Таким образом, в 1971 году во всем мире торжественно отмечается столетие со дня рождения великой украинской поэтессы, несчастной, удивительной, несокрушимой Леси Украинки.

Татьяна Фесенко

МАСТЕРСТВО

Совсем не хандра и не сплин,
Не слёзы в тоскующей гамме,
Поэзия — гибкий трамплин,
Прыжок и полёт вверх ногами.

Не бойся хватать через край
И, не залезая в бутылку,
Уверенно изображай
Блаженно тупую ухмылку.

Чтоб пахли навозным дымком
Твои расписные затеи,
Прикидывайся дурачком:
Мы, дескать, летать не умеем.

Холодной вползая змеей
В извилины стихотворений
Чеканной сверкай чешуёй,
Скользя средь цветов вождедений.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Коротким будет этот сказ:
«Слоны в диковинку у нас».

Живём средь мелочей сучая,
Живых слонов не примечая,

Когда ж громада нам нужна,
Из мухи делаем слона.

Но где-то, для острастки вящей,
Слон существует настоящий...

Мораль сей басни из трёх слов:
Старайтесь избегать слонов.

Глеб Глинка

ВСТРЕЧАЛСЯ ЛИ ДОСТОЕВСКИЙ С ГОГОЛЕМ?

До последнего времени никто не писал о том, что Достоевский когда-нибудь встречался с Гоголем. Мы знаем, что Тургенев не только встречался с Гоголем, но даже слушал его по меньшей мере странные лекции по истории Средних Веков в Петербургском университете. У Достоевского нет ни одного намека на какую-нибудь его встречу с Гоголем.

Однако в 1963 г. в альманахе «Воздушные пути», III, напечатана была статья Ю. Маргулиеса под заглавием «Встреча Достоевского с Гоголем», в которой автор стремится доказать на основании прочтения «Записок» И. И. Панаева и внимательного изучения «Села Степанчикова» Достоевского, что такая встреча состоялась осенью 1848 г.

В 1969 г. советский достоевсковед С. В. Белов выпустил библиографический указатель «Достоевский в воспоминаниях современников», в предисловии к которому написал: «Внимательное прочтение воспоминаний И. И. Панаева в сравнении их с «Селом Степанчиковым» позволили недавно слависту Ю. Э. Маргулиесу впервые привести ряд убедительных соображений о возможности личной встречи молодого Достоевского с Гоголем в Петербурге осенью 1848 г.».

Убедительны ли эти соображения в статье Ю. Э. Маргулиеса? Мнение С. В. Белова является казалось бы веским доказательством их убедительности и с его легкой руки *в науке о Достоевском может утвердиться мнение о том, что такая встреча состоялась*. Сам Маргулиес в своей статье пишет: «Установленное нами выше свидание...» и «сопоставление текстов совершенно бесспорно указывает на наличие этой встречи Достоевского с Гоголем» (стр. 278 и сл.) и «ничто не противится этой гипотезе» (стр. 276).

Посмотрим, настолько ли убедительны соображения в пользу того, что встреча Достоевского с Гоголем состоялась, и бесспорно ли можно считать такую встречу доказанной? Но раньше ответим на может-быть, напрашивающийся вопрос:

так ли уже важно — встретился ли Достоевский с Гоголем или нет, тем более, что и Маргулиес не утверждает, что они говорили друг с другом? Оказывается — важно, потому что на гипотезе такой встречи Маргулиес основывает заключения, имеющие немаловажные последствия для литературы и в частности, для толкования «Села Степанчикова».

В своих «Записках» И. И. Панаев сообщил о встрече Гоголя с молодыми русскими писателями, состоявшейся осенью 1848 г. у А. Комарова, друга Белинского: «Гоголь... просил его пригласить к себе несколько известных новых литераторов, с которыми он не был знаком. А. А. (Комаров) пригласил, между прочими Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Я (Панаев) также был в числе приглашенных, хотя был давно уже знаком с Гоголем... Мы собрались часу в девятом вечера. Радужный хозяин приготовил роскошнейший ужин для знаменитого гостя и ожидал его с величайшим нетерпением... Мы все также разделяли его нетерпение; в ожидании Гоголя не пили чай до десяти часов. Но Гоголь не показывался, и мы сели к чайному столу без него.

Гоголь приехал в половине одиннадцатого, отказался от чая, говоря, что никогда не пьет, взглянул бегло на всех, подал руку знакомым, отправился в другую комнату и разлегся на диване... Хозяин представил ему Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Гоголь говорил с каждым из них об их произведениях, хотя было заметно, что он не читал их. ...От ужина он также отказался. Вина не хотел пить никакого, хотя тут были всевозможные вина.

— Чем же угощать Вас, Николай Васильевич? — сказал наконец в отчаянии хозяин дома.

— Ничем, — отвечал Гоголь, потирая свою бородку, — впрочем, пожалуй, дайте мне рюмку малаги. Одной малаги именно и не находилось в доме. Было уже между тем около часа, погреба все заперты... Хозяин разослал людей для отыскания малаги. Но Гоголь, изъявив свое желание, через четверть часа объявил, что он чувствует себя не очень здоровым и поедет домой.

— Сейчас подадут малагу, — сказал хозяин дома, — погодите немного. — Нет, уж мне не хочется, да, к тому же поздно. — Хозяин, однако, умолил его подождать. Через полчаса бутылка была принесена. Он налил себе полрюмочки,

отведал, взял шляпу и уехал, несмотря ни на какие просьбы».

Вот тот знаменитый *«эпизод с малагой»*, который лежит в основе всей аргументации автора статьи. «Записки» Панаева были опубликованы в 1860 г. А в 1859 была опубликована повесть Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели».

Ю. Маргулиес сравнивает этот эпизод со следующим местом из «Села Степанчикова и его обитателей»:

«Да не хочешь ли подкрепиться, а? Так, этак... рюмочку маленькую чего-нибудь, чтобы согреться...» — «Малаги бы я выпил теперь», — простонал Фома, снова закрывая глаза. «Малаги? Навряд ли у нас есть», — сказал дядя, с беспокойством глядя на Прасковью Ильиничну. «Как не быть», — подхватила она: «целые четыре бутылки остались...» Господин Бахчеев был в самой последней степени негодования. «Малаги захотел», — проворчал он чуть не вслух. — «И вина-то такого спросил, что никто не пьет. Ну, кто теперь пьет малагу, кроме такого же, как он, подлеца?»

На основании этого сопоставления автор статьи в «Воздушных путях» пишет: «Нам кажется, достаточно сопоставить эти два отрывка, чтобы тождественность их бросилась немедленно в глаза. Невозможно допустить мысль о совпадении — Достоевский определенно и намеренно пародировал поведение Гоголя на ужине у Комарова, обозвав его, кстати же, подлецом... Этой фразой он кроме того, неоспоримо утверждал, тождество Гоголя и Фомы в глазах всех тех, кто знал об инциденте с малагой у Комарова. Но откуда он сам мог знать эти подробности приема?... Единственное само собою напрашивающееся объяснение: Достоевский сам присутствовал на пресловутом вечере, где видел Гоголя и описанную Панаевым сцену он воспроизвел по личному своему, непосредственному воспоминанию. Ничто не противится этой гипотезе...»

Доказательствами этого служат два аргумента: 1) невозможно допустить совпадение и 2) выслушанный от кого-либо из присутствовавших устный рассказ навряд ли бы оставил в уме Достоевского след настолько яркий, что он пронес его через всю каторгу и восстановил полностью десять лет спустя. То, что Панаев, перечисляя новых писателей, приглашенных встретить Гоголя, не упоминает Достоевского, не смущает автора: он мог быть среди «прочих», тем более, что Панаев недоброжелательно относился в это время к Достоевскому,

как и вся группа либеральных писателей, группировавшихся вокруг Белинского.

Однако, это отношение с гораздо большим основанием может объяснить факт неприглашения Достоевского на прием к Камарову — другу Белинского, с которым Достоевский рассорился.

К 1848 г. Достоевский окончательно отошел от членов кружка писателей, с которыми он сошелся в 1845 г., после известных инцидентов с Тургеневым, Панаевым и др. Совершенно невероятно, чтобы в 1860 г. Панаев, мстя Достоевскому, — вычеркнул его имя из числа приглашенных на разговор с Гоголем. Есть документальное доказательство обратному: Плещеев писал Достоевскому в Семипалатинск в 1859 г., что Панаев, Некрасов и Гончаров (который знал Достоевского только по его произведениям) с большим участием расспрашивали о Достоевском и предлагали послать ему деньги. Очень вероятно, однако, что в 1848 г. порвав всякие отношения с ним, писатели этой группы не пригласили Достоевского на встречу с Гоголем, о чем Достоевский мог даже не знать, а если бы и знал, то не возражал бы, т.к. сам не хотел с ними встречаться (есть сведения о том, что он переходил на другой тротуар с тем, чтобы с ними не встречаться на улице).

Случайное совпадение эпизода с малагой на вечере у Комарова и каприза Фомы в «Селе Степанчикове» совсем не исключено: малага была не редким вином в России того времени и Достоевский мог заставить Фому так же назвать это вино, как и Гоголь. С другой стороны, анекдот о малаге мог быть рассказан Достоевскому одним из присутствовавших на «встрече» из числа «прочих» и мог запасть в память Достоевского, который во все время своего пребывания на каторге находился под впечатлением гоголевских писаний, как о том свидетельствует его проект написать статью об искусстве в духе гоголевского подхода к нему, против точки зрения Чернышевского на искусство.

Если бы Достоевский в «Степанчикове» воспроизвел по личным впечатлениям эпизод с малагой у Комарова, то он не преминул бы воспроизвести и тот факт, что у Комарова малаги *не было* и Гоголь уже расхотел ее пить, что могло дать Достоевскому прекрасный повод для развития каприза Фомы,

и для того, чтобы помучить еще Ростанева, однако у Ростанева оказалось в запасе целых четыре бутылки малаги...

Кроме того Ю. Э. Маргулиес преувеличивает даже то, что произошло на ужине у Комарова (на котором нет никакого основания считать, что Достоевский присутствовал): он пишет о 4-х часовом ожидании ужина приглашенными литераторами, о пытке голодом, об оскорбленном самолюбии Достоевского, затаившего личную злобу на Гоголя и, якобы, отмстившего ему злой пародией в «Степанчикове», назвав его даже через Бахчиева подлецом!

Гости пришли к Комарову в девятом часу, ждали они Гоголя до десяти и не дождавшись сели за стол: значит ждали они не 4 часа, а всего полтора часа, что уж никак не похоже на пытку голодом, как бы голодны гости не были.

Да и обиды, в сущности, никакой на этом ужине со стороны Гоголя не было. В самом деле, вернемся к рассказу Панаева: Гоголь взглянул бегло на всех, подал руку знакомым (в том числе Панаеву-рассказчику), отправился в другую комнату и разлегся на диване. Кто видел его там? Очевидно, знакомые с ним, и в том числе Панаев. Гоголь сказал, что он чувствует себя не очень здоровым. Хозяин представил ему Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Если бы на ужине был Достоевский, то, конечно, он был бы представлен Гоголю так как Гоголь просил пригласить новых литераторов, для того чтобы объяснить им свои знаменитые «Места из переписки» (что он и сделал, сказав, что их не следовало издавать, что писаны они им были в болезненном состоянии и что он очень сожалеет, что они изданы). Достоевский был новый писатель, с которым Гоголь не был знаком, также как он не был знаком с четырьмя приглашенными, и только либо нежелание Комарова (вероятно после совещания с Белинским или Некрасовым, или с самим Панаевым) пригласить Достоевского, либо тот факт, что Достоевский, всецело поглощенный тогда своими связями с кружком Петрашевского, не мог быть на ужине, помешали этой встрече.

Гораздо важнее то, что на основании, как нам кажется, очень шаткой гипотезы о встрече Достоевского с Гоголем и на маловероятной «обиде» им Достоевского Маргулиес строит целую *теорию личной вражды* и *литературной мести* Гоголю со стороны Достоевского. Какая же могла быть обида у

Достоевского на Гоголя, даже если мы допустим — вопреки здравому смыслу — что он на ужине у Комарова был? На Комарова, не представившего Гоголю Достоевского в числе «прочих» — да, он мог бы быть в обиде, *на своих коллег литераторов*, отсоветовавших Комарову пригласить Достоевского, — может быть тоже — но *не на Гоголя!*

Маргулиес утверждает, что у Достоевского к Гоголю были постоянные враждебность и ненависть и что в 1859 г. он выставляет его на «публичное посмеяние» и «безжалостно издевается над покойником». И делает это он не столько из соображений общего порядка — несогласия с его позицией моралиста и проповедника, — сколько из-за личных чувств — «непрощенной обиды». «Невозможно», пишет Маргулиес, «чтобы подобное унижительное положение (Гоголь пришел с опозданием и пытал Достоевского голодом; Достоевского не представили Гоголю, а представили его недоброжелателей-литераторов; Достоевский, не попав в комнату где был Гоголь, «должен был довольствоваться обрывками разговора, которые до него доносились»), преувеличенное мнительностью и болезненным самолюбием Достоевского до чудовищных размеров, не нашло своего выражения в «Степанчикове»! И он заключает: «Действительно, мы там его легко находим в очень яркой форме».

Автор сравнивает «унижительное положение Достоевского» (придуманное Маргулиесом) с некоторыми сценами в «Степанчикове». Например, обитатели Степанчикова должны выслушивать длинную проповедь Фомы по случаю бракосочетания Ростанева и Настеньки и далее следует замечание: «Все были голодны, всем хотелось обедать». Маргулиес комментирует: «Нам кажется трудным не видеть тесной связи между этой сценой и рассказом Панаева о четырехчасовом ожидании литераторов перед столом, на котором красовался роскошный ужин». По нашему мнению, никакой связи тут нет, да и четырехчасового ожидания (в котором Достоевский и не принимал участия) не было — через полтора часа все сели к столу.

Но Маргулиес, стараясь внушить читателям то, что он не доказал, и приняв это уже за доказанное, продолжает. «Достаточно фразы «все были голодны, всем хотелось обедать», чтобы понять и то голодное ожидание, которому был подвержен

Достоевский, и ту горечь, которую оставило ему это неизгладимое воспоминание, а он наверное был голоден в этот вечер» и тут ссылка на «Униженных и оскорбленных». «Если сопоставить это с роскошнейшим ужином, который столько часов красовался перед его голодными глазами, картина получится полная».

Маргулиес продолжает: «Достоевский захотел, даже более, ощутил потребность перенести в свою сатиру и это ожидание, пытку голодом, которой подвергло почтительно молчавших литераторов *многословие* Гоголя, «самый дикий вздор», как он злобно определяет его высказывания. Позвольте, но Панаев пишет, что Гоголь на ужине «говорил мало, вяло, нехотя». Кто же говорил долго, кто подвергал пытке голодом своих слушателей? Фома Опискин — да, а вовсе не Гоголь. Это Маргулиес *приписывает Гоголю все черты Фомы*, а никак не Достоевский и в этом *главная ошибка статьи* в «Воздушных путях» для понимания и творчества и личности Достоевского.

В ней ставится знак равенства между великим писателем — Гоголем — и пройдохой, плутом, бесталанным, полупьяным, невежественным Фомой в повести другого великого писателя — Достоевского.

Когда Маргулиес утверждает, что это Гоголь говорил у Комарова устами Фомы: «Давеча я выказал ум, талант, колоссальную начитанность, знание сердца человеческого, знание иностранных литератур... Что же? Оценил ли кто-нибудь из них меня по достоинству? Нет, отворотились!», — кто может этому поверить? Ведь Панаев написал о Гоголе совсем другое — он как будто оправдывался перед писателями, что его «переписка» была напечатана, что «он был болен, когда писал их» и т.д. Что же тут общего с выдержками из «Степанчикова»?

Насколько более осторожен и правдоподобен подход Ю. Тынянова к пародии в «Степанчикове», когда он говорит, что Достоевский воспользовался местами из «Переписки с друзьями» для пародирования ее, а пародия, как литературный прием, вещь нередкая и хотя пародия иногда резка и язвительна, но это не «публичное посмеяние» и не «безжалостное издевательство» над покойным писателем, которого Достоевский высоко ставил в течение всей своей жизни. Это — знак отхо-

да Достоевского от того периода своего творчества, когда оно находилось под влиянием Гоголя, отхода, который был отмечен Тыняновым, а до и после него другими критиками и литературоведами.

Комментарии к Комаровскому ужину, как бы они не были соблазнительны и любопытны, не вносят ничего нового в понимание произведений Достоевского. И напрасно набрасывать тень на личность Достоевского. Несмотря на интересную статью Маргулиеса и ее одобрение Беловым, Гоголь не остается в нашем восприятии Фомой Опискиным и выдуманные, личные причины не играли роли в создании повести Достоевского.

Почему и можно решительно утверждать, что Достоевский не был на ужине у Комарова и не встретил там Гоголя. Ведь все это лишь «логические» и косвенные соображения? Но имеется и прямое доказательство того, что *такой встречи* на этом ужине *не было*, а значит не было ни обиды, ни личных мотивов, ни мести. А. Г. Достоевская в своем «Библиографическом указателе сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского» составленного ею и напечатанного в 1906 г. на стр. 261-264 пишет, что Достоевский познакомился с Гончаровым только в 1861 г. До этого они не были знакомы. Если бы допустить, что оба были на ужине у Комарова и провели «в голодной пытке», как пишет Ю. Маргулиес, четыре часа, то невозможно было бы, чтобы они там не познакомились. Так разрушается эта «окололитературная» гипотеза.

Остается вопрос, *чем же является повесть «Село Степанчиково» и почему Достоевский воспользовался в нем пародией* на «Выбранные места из переписки» Гоголя и даже наружности Фомы Опискина придал некоторые черты Гоголя позднейшей эпохи?

Освободившись из тюрьмы в 1854 г., Достоевский начинает писать и хлопотать о разрешении ему печататься. С 1856 г. он начинает писать «Село Степанчиково» (одновременно с «Дядюшкиным сном» и с набросками для романа, вероятно, «Униженные и оскорбленные»). Его главная забота в том, чтобы его повести были напечатаны и прошли цензуру; они не должны были иметь никакого намека ни на политику, ни на судьбу самого Достоевского. С другой стороны он хочет написать что-то, что понравилось бы редакторам популярных

журналов — «Современника», «Русского Вестника», «Русского Слова», «Отечественных Записок». Все журналы, по словам молодого Достоевского в 1847 г., были единодушны против гоголевской «Переписки с друзьями», поэтому пародия на «переписку» могла быть хорошо принята в этих редакциях и в то же время никак не могла задеть цензуру.

«Село Степанчиково» — русская вариация на мольеровского «Тартюфа»; параллели бросаются в глаза даже при поверхностном чтении: Фома — Тартюф, генеральша — г-жа Пернель, Ростанев — Оргон, Дамис и Эльвира — племянник и Настенька готовят падение Фомы, даже Бахчеев похож на Клеанта. Только религиозной темы — ханжества — почти нет в повести Достоевского, а если есть в словах Фомы, то уже в стиле «переписки» Гоголя; нет и романтической интриги Тартюфа. Другими словами, Достоевский обогащает и «русифицирует» Тартюфа гоголевским материалом, включая также иногда и свои мысли, напр. в словах Ростанева о том, «что вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одолажешь» (Достоевский знал, что значит быть должником!). Он пародирует и личность Гоголя и его внешность, пользуется выражениями и образами из «Мертвых душ», но при всем этом *Фома — не Гоголь*, ведь сам Достоевский подчеркнул, когда хотел вывести в «Жизни великого грешника» Чаадаева, Пушкина, Белинского и др.: «Ведь у меня же не Чаадаев, *я только беру этот тип*». Тынянов по этому поводу замечает: «И мы не можем поручиться, не было бы пародийной окраски и в рисовке Пушкина», а ведь Пушкин то был «Богом» для Достоевского.

Н. В. Первушин

ПАДЕНИЕ РОСТОВА

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Эти заметки я начал набрасывать, будучи еще в оккупированном немцами Ростове на Дону. Я старался записывать, главным образом, только то, чему сам был свидетелем. Поэтому записи мои не могут претендовать на законченную картину того времени, скорее всего это отрывки, из которых было бы рискованно делать какие-либо определенные обобщения.

Как русскому человеку, патриоту, ничего не знавшему о Третьем Рейхе, мне казалось (первое время только), что немецкая армия представляла из себя единственно-возможную силу, способную сокрушить коммунистическую империю. Я сотрудничал с немцами и считал, что я выполняю свой национально-патриотический долг.

Свободный мир вел смертельную борьбу с Гитлером. В этом мире была свободная пресса и он отлично знал звериный оскал гитлеризма. Всякий человек, живший в свободном мире (француз, бельгиец, голландец, датчанин, норвежец), сотрудничавший с немцами — подлежит осуждению. Они боролись против своей родины, коллаборируя с врагом.

Другое дело, мне кажется, у нас. Мы были слепы как кроты. За что мы могли бороться? За сохранение концлагерей, за массовые аресты и расстрелы, за голодное, рабское существование? За то, чтоб мы умирали за Сталина, залившего кровью необъятные просторы нашей родины?

Сначала я верил немцам, но скоро пришло и разочарование.

Думаю, что недалеко то время, когда беспристрастный историк смоем грязную краску, которую многие в свободном мире, вкуче с коммунистами, с завидным усердием размазывали по русским «коллаборантам», единственной мечтой которых было освобождение России от человеконенавистнической власти. Я говорю здесь о подлинных русских патриотах, включая, конечно, и все национальности, проживавшие на

территории Советского Союза. Говорить же о шкурниках, продававшихся немцам ради корыстных целей, ставших палачами собственного народа, вряд-ли стоит.

1

Не могу объяснить себе, почему у меня появилось желание записывать некоторые события из своей жизни: возможно, что это успокаивало меня, возможно, что у меня была внутренняя потребность осмыслить все происходящее и дать ему свою оценку.

Я хочу начать свои записки с того, по-моему знаменательного дня, когда в столице Северного Кавказа советская власть прекратила свое существование.

К приходу немцев, значительная часть населения Ростова оставалась на месте: одни не хотели уезжать, теряя последнее имущество, приобретенное трудом всей своей жизни, другие строили оптимистические планы, полагая, что вряд ли на свете найдется власть хуже советской, третьи, наконец, просто боялись ехать в неизвестность. Паническое отступление советских армий, массовая сдача в плен, свидетельствовавшие о нежелании подсоветских людей, одетых в военную форму, защищать большевицкий режим, смотревших на немцев, как на освободителей от этого режима, — вызывали у власть имущих полную растерянность. Так, например, выдача эвакуационных разрешений была начата в Ростове только тогда, когда положение города было безнадежным и бумаги эти были никому не нужны. Единственная дорога для отступления вела через Дон, причем переправляться через реку нужно было собственными средствами: или на лодке или вплавь. Лодок, увы, не было. Немцы знали место переправы и бомбили его и днем и ночью. Оно имело вид своеобразного кладбища, где покойники были обезображены, где бранные останки их никто не собирався погребать и где, наконец, их трупы, разорванные на части, были как будто специально приготовлены на съедение голодным собакам.

2

В городе царило безвластие: были случаи бессмысленных расстрелов совершенно невинных людей на улицах и в квартирах.

Мы решили спрятаться на складе табачной фабрики, которая также была и бомбоубежищем. Проникнуть в него не составляло труда: моя жена, работавшая на фабрике, часто провожала маму и меня на склад во время немецких налетов. Старенький сторож, у входа, хорошо помнил покойного Иринога отца, человека, по его мнению, на редкость хорошего, знал Иру, когда она была еще девочкой. Открывая дверь, он говорил нам сочувственно:

— Проходите в тот дальний угол и сидите тихо, там никто не найдет вас. Не попадайтесь только на глаза дежурному, он у телефона.

Мы спрятались среди тюков прессованного табака, сложенного почти до самого потолка: было душно от пыли и ноги ныли от неудобного положения тела. Огромный склад с железно-бетонными перекрытиями, хранивший табачные сокровища фабрики, не был освещен. Дежурный мирно спал, склонив голову у телефона.

Поздно вечером, с шумом распахнулась дверь, вошли какие-то люди. Они прошли к дежурному, зажгли небольшую электрическую лампочку, окрашенную в синий маскировочный цвет и постояли немного, почти не разговаривая. Телефон был соединен с «дозорной вышкой», где дежурили комсомолки, передававшие донесения о движении немецких самолетов. Зазвонил телефон и до нас донесся приглушенный, властный голос, привыкший, очевидно, приказывать, нетерпеливо повторявший:

— Что? Да говори же громче! Ага, понимаю, понимаю...

Неожиданно мы услышали пронзительно-поющий свист падающей бомбы — привычный для нас, как звонок почтальона — после чего раздался оглушительный взрыв. Никто не мог понять, куда попала бомба, но телефонная связь оборвалась и лампочка погасла. Около стола началась беспокойная суэта: тихо стоявшие люди, вдруг задвигались и зашумели. Кто-то зажег свечку, осветившую небольшое пространство вокруг стола, и теперь мы могли разглядеть, что там происходило. Военные срывали с себя форму, поспешно переодевались в штатское и, по одиночке, пробирались к выходу. Последним ушел человек с коптящим огарком. Гася его наслю-

нявленным пальцем (привычным, видимо для него, жестом), он громко крикнул в пустоту:

— Эй, выходи, если кто здесь остался! Через несколько минут склад будет взорван!

Мы не шелохнулись и гнетущая тишина воцарилась в наступившей темноте.

Подождали еще несколько минут, стараясь, по мере наших сил, сохранять спокойствие. В конце концов, Ира не выдержала:

— Пойдем, не могу больше! Что будет, то будет!

Мы пробрались к полуоткрытой двери, мерцавшей где-то вдали. С улицы потянул слабый ветерок, насыщенный гарью и дымом. Огромные языки пламени, вырывавшиеся из-под сводов горящей фабрики, освещали путь к нашему дому, находившемуся, к счастью, в нескольких кварталах от нашего убежища. Было трудно идти по улице, засыпанной стеклом, камнями, кирпичами и мебелью, выброшенной из квартир.

Против нашего дома был снесен целый квартал: густой, черный дым поднимался из-под груды обломков, будто это был исполинский, плохо потушенный костер. Дом, примыкавший к нашему, был пробит прямым попаданием: остался только остов с окнами, похожими на выколотые глаза. В одном из них, жалобно мяукала кошка, запутавшаяся в тюлевую занавеску. Наш старенький домик — остался невредим.

Мы спустились в подвал, имевший деревянное крепление пятидесятилетней давности, повалились на каменный пол, покрытый густым слоем пыли, и заснули. Разорвавшаяся совсем рядом бомба, разбудила нас. Многолетняя пыль, поднимавшаяся с пола, застилала весь подвал: она резала глаза, проникала в рот, затрудняла дыхание. Я протянул руку к жене лежавшей почти без сознания и, желая хоть немножко успокоить ее, сказал:

— Ирочка, не бойся! Следующая бомба, по теории вероятности, не может попасть в то же место!

В этот момент, как бы в насмешку над моими словами, раздался второй взрыв. Вырванные из мостовой булыжники ударили в нашу стену: дом зашатался, покачнулся на сторону, с потолка полетела штукатурка. Но мы остались невредимы.

Ростов стал «ничьим городом» — с одной стороны бомбили его немцы, с другой — советские.

Несколько дней мы просидели в подвале. В одну из долгих ночей, совсем уже под утро, неожиданно наступила мертвая тишина. Слышно было только, как муха жужжала в паутине.

Внезапно раздался крик какого-то мальчишки, пробежавшего мимо:

— Немцы в городе!

Мы перекрестились и заснули крепким, непробудным сном.

3

В Ростове не было ни света, ни воды. Без света можно было жить, но как без воды? Дон был рядом, но принести воду было не легко. Сначала надо было проделать утомительный путь со спуском и подъемом по крутой, изрытой снарядами, улице. Затем найти место, где можно было бы зачерпнуть ведром более или менее чистую воду.

Картина, когда-то красивого «Тихого Дона» была неприглядна: по широкой поверхности реки плыли куски дерева, собаки, кошки, обломки вещей, мусор, наконец, взбухшие и разлагавшиеся трупы. Весь этот груз проплывал неторопливо, погруженный в причудливые узоры из нефти, красок, масла и мазута, вылитых из «неприкосновенного запаса» прибрежных фабрик.

Вода из Дона, после кипячения, имела кисловатый привкус: но ее приходилось пить, так как другой не было.

Я занимался приведением в порядок нашей квартиры, но работа не клеилась и руки были в крови. Жена не хотела отрываться от этого, малополезного дела и решила сходить за водой сама. Когда она вернулась и бросила пустные ведра на пол, я заметил ее взволнованный вид и заплаканные глаза.

— Что случилось? — спросил я.

Она долго не могла говорить и успокоиться. Наконец рассказала мне голосом, полным обиды:

— Мне удалось набрать хорошей, совсем чистой воды. Я дошла почти что до нашего дома. Неожиданно ко мне подошел немецкий солдат и, довольно вежливо, попросил напиться. Я протянула ему одно ведро, другое поставила около себя. Он сделал вид, будто бы отхлебнул немножко, затем, посмотрев на меня с усмешкой, опрокинул его и вода залила

мне и платью и ноги. Отбросив ведро далеко от себя, он перевернул ногой второе, сказав с наглостью: «Спустишь, красавица, еще раз к Дону, тебе будет это полезно». Потом повернулся и спокойно, как ни в чем, пошел своей дорожкой.

4

В мертвом городе впервые затеплилась жизнь на базаре, расположенном около большого собора с высокой колокольной. Советы — уже во время войны пытались взорвать его. По их «авторитетному разъяснению» — колокольная являлась ориентиром для немецких самолетов. Попытка не удалась: после взрыва собор не шелохнулся, хотя кое-где и были вырваны двери и оконные рамы.

Около этого величественного храма, служившего долгие годы местом молитв, теперь кощунственно поруганного, живописно раскинулся базар. Продуктов было маловато, но другие товары были в изобилии: здесь продавались залатанные ботинки, подержанная одежда, тарелки с отбитыми краями, заржавленные замки без ключей, красивые рамки с выцветшими фотографиями прошлого столетия, будильники с вырванными пружинами, надтреснутые стаканы, погнутые вилки и ложки, ведра с запаянными дырами и тому подобное.

Думаю, что здесь был представлен ценнейший ассортимент, характеризующий наше советское время. Мы знали, что немцы не препятствовали свободной торговле. Из чувства любопытства, я и Ира прошли к базару и остановились с широко открытыми глазами. Какая-то немецкая воинская часть, совсем как на войне, оцепила молниеносным рейдом бушующее море человеческих голов, пришедших или поглазеть на базар или чем-нибудь поживиться. Откуда-то появились три грузовика, в которые, с помощью прикладов и зуботычин, загонялись неудачливые торговцы, вместе с покупателями. Перепуганные обыватели, помятые и пораненные, понятия не имели, какую судьбу готовила им новая власть. Как потом выяснилось, черт, в этом случае, был не так страшен — просто это были жертвы, так оригинально проводимой трудовой повинности.

Мы наблюдали всю эту сцену и чувство возмущения наполняло нас.

5

Ростов медленно залечивал свои раны. Население, по собственной инициативе, разбирало баррикады, приводило в порядок улицы, убирало камни и всякий мусор, починяло, как могло, свои пострадавшие жилища. Около разрушенных домов на главной улице стояли большие, совсем непохожие на наши, немецкие автомобили-грузовики. Солдаты, сидя в кузовах машин, — мылись, брились, здесь же чистили свои мундиры, обувь, переговариваясь на странно звучащем в русском городе иностранном языке.

Немецкий солдат был не похож на красноармейца: он был чисто выбрит, сыт, носил хорошо-сшитую форму и крепкую обувь. У офицеров, одетых всегда с иголочки, были нарядные фуражки с серебряными орлами, кое у кого красовались на груди черные, на подобие мальтийских, кресты.

Солдаты и офицеры шутили с девушками, не понимавшими немецкого языка, подтрунивали над старушками, без любопытства рассматривали оставшееся мужское население, объяснялись на пальцах с обывателями, если хотели что-нибудь узнать.

Я не мог среди этих военных людей обнаружить враждебного отношения к населению и не мог понять того, что так недавно случилось на базаре: здесь на улицах, они были такими же людьми, как и мы, только не голодными и хорошо одетыми.

Большевики, уничтожившие громадные запасы продовольствия, предназначенного для армии, не успели, однако, истребить все: кое-что еще оставалось. Голодное население, вооруженное мешками, ведрами, кошелками и «авоськами» запруживало брошенные на произвол судьбы магазины, лавки, «закрытые распределители» и склады; в них происходили битвы из-за коробки зубного порошка, сухой горчицы, желудёвого кофе или соли. Были счастливы, которым удавалось неизвестно откуда достать сахару, муки, сыру или масла: но это были только единицы.

Запасов у нас не было, если не считать нескольких фунтов муки и мешочка пшена. Как-то, рано утром, соседка пришла с ведром патоки. Мы услышали ее громкий крик через окно:

— Немцы патоку раздают! Бегите скорей на конфетную фабрику!

Я схватил два ведра и мигом был у места раздачи, бывшего совсем недалеко от нас. Действительно, посреди двора стояли металлические бочки с патокой. На одну из них взобрался немецкий солдат, дирижировавший стоявшей вокруг него толпой. Немца никто не понимал, но жесты его были выразительны: он указывал на бочку, люди вскрывали ее, затем зачерпывали коричневую, густую жидкость чайниками, кувшинами, банками, ведрами и, со счастливыми лицами, пробирались обратно. Пройти к бочке невозможно — всякий отстаивал право на получение своей доли, имевшей сейчас ценность, может быть, нескольких дней жизни. Я пробовал пробиться через этот, поистине, железный обруч, но задача была мне не по силам. Я жалел, что пришел сюда и хотел уже уходить, как внезапно у меня мелькнула мысль крикнуть по-немецки.

— Можно и мне немножко взять?

Немец удивленно повернул голову, пораженный словами, произнесенными на его родном языке. Физиономия его расплылась в улыбку, он сделал движение рукою, означавшее, что нужно освободить проход. В немце люди видели представителя новой власти и покорно расступились. Я набрал два полных ведра и, с торжествующим видом, стал продвигаться назад. Вся моя одежда была вымазана, брюки и рубашка липли к телу, мои единственные парусиновые туфли намокли. Я несколько колыхающиеся ведра, они касались меня своими краями, и патока выплескивалась, стекая по ногам.

Когда я вошел в комнату и поставил ведра на пол, лицо Ирочки выражало два, совершенно противоположных, чувства: испуг от моего действительно ужасного вида и радость от удачно выполненной задачи.

6

Несколько дней подряд немцы демонстрировали свои достижения в военной технике. Через город проходили моторизованные войска — неуклюжие и тяжелые танки, броневики, различного рода артиллерия, двигавшаяся на прицепах или гусеницах, вырывавшая асфальт из мостовой. Вся эта, громылавшая и лязгавшая металлом коллона, сопровождалась под-

вижной пехотой, следовавшей на мотоциклетах, службой связи, саперами и другими вспомогательными войсками. Немцы поражали техникой, организованностью, порядком, дисциплиной, слаженностью частей огромного военного механизма.

— Вот это армия! — с восхищением и тайной завистью говорили жители, делая грустное сравнение со своей армией — плохо экипированной и недостаточно оснащенной техникой. Невольно думалось: куда же с ними тягаться!

Однажды мы наблюдали иную картину — проходили другие войска, никогда нами не виданные. Сначала двигались альпийские части. Солдаты шли пешком, повидимому, только через город. Они были одеты в «виндяки» — куртки, служившие надежной защитой против дождя, снега и холода, в ботинки, подбитые железными шипами; на головах были небольшие шлемы, поверх которых поблескивали очки-консервы с темными стеклами, предохранявшими глаза от ультра-фиолетовых лучей. Рядом, неторопливо тащились ишаки — эти бесценные «горные лошадки», нагруженные рюк-заками, ледорубами, альпийским троссом, палатками и техническим снаряжением, необходимым для передвижения войск по скалам и ледникам. Ишаки немецких войск, похожие на наших кавказских, были в горах незаменимы; они отличались силою, выносливостью, могли довольствоваться скудной травой, растущей на каменистых склонах гор и свободно проходить по узким тропинкам, выющимся над головокружительными пропастями.

По городу пронесся слух, что руководителем этой группы был альпинист с мировым именем, до войны бывавший на Кавказе, прекрасно изучивший рельеф местности, знакомый с горными перевалами и заранее подготовивший маршрут для продвижения немецких частей.

Когда альпийские части прошли, появился небольшой конный отряд — и нашему изумлению не было пределов — это были казаки!

Они пели по-русски хорошо знакомую всем песню:

Взвейтесь, соколы, орлами,
Полно горе горевать,
То-ли дело под шатрами,
В поле лагерем стоять!

Казачи ехали на конях в казачьей форме с лампасами, с открытыми и загорелыми лицами, с винтовками за плечами и пиками. Кое у кого были нацеплены георгиевские кресты. Казалось, они спешили добраться до своих родных станиц.

Женщины вздыхали, крестились, в глазах у многих стояли слезы: это ехали свои русские люди, настрадавшиеся на чужбине и возвращавшиеся теперь к родным, давно покинутым очагам.

7

За время войны советская печать ни словом не обмолвилась о судьбе евреев: в газетах помещались только пространные отчеты о зверствах, совершенных немцами на оккупированной территории. Беженцы, хлынувшие на восток, не допускались в большие города. Их везли прямым сообщением в Сибирь. Но кое-какие слухи о расправе над евреями достигали и Ростова. Обычно, они передавались осторожно и под большим секретом: население отлично знало, что распространение слухов каралось по законам военного времени. Власти понимали, что слухи вызывают панику и, главное, компрометируют советское правительство.

У меня было много приятелей среди евреев, работавших в разных учреждениях города. У них, даже до самого последнего времени, когда Ростов был уже обречен, не было панического настроения: они думали, как и многие другие, — мало ли какие слухи ходили? Немцев никто не боялся и в ужасы, творимые ими, плохо верилось.

В городе осталась значительная часть еврейского населения. Выехали только те, кто работал на фабриках или в учреждениях, подлежащих эвакуации. Это было, конечно, каплей в море для такого большого города как Ростов.

С занятием города немцами, евреям было предложено выбрать комитет, ведавший их делами. Комитет расположился в бывшем Парамоновском особняке. Вскоре было выпущено воззвание — «Ко всем евреям города», где объявлялось, что немецкое правительство намерено переселить их на новое местожительство и, что поэтому они должны явиться в определенный день и час на вокзал для отправки, имея при себе не больше двух чемоданов с вещами. Воззвание было расклеено по всему городу.

Трудно забыть то ясное, ростовское утро, в которое происходил этот массовый исход еврейского населения. Евреев вывозили на грузовиках, но многие из них предпочитали идти пешком. По главной магистрали города — Садовой улице, — выходящей к вокзалу, длинной лентой тянулись люди, нагруженные тяжелыми вещами.

Вот идут — старик, белый как лунь, с бородою патриарха, опираясь на толстую палку, а рядом с ним такая же старушка, с морщинистым лицом. Идут под руку, еле передвигая ноги: видно, что идти им трудно. Может-быть они уже давно не ходили, а были прикованы к кроватям и единственной радостью у них было воспоминание о своей семье. Сзади — немного поодаль — девочка лет четырнадцати тянула увесистые, купленные еще в «проклятое, царское время» кожаные чемоданы. Вероятно, это была их внучка: она выбилась из сил, по лицу ее струился пот: никогда не носила она таких тяжестей!

Евреи тихо шли по середине широкой улице. Лица их были спокойны: нельзя было прочесть в них ни испуга, ни страха, ни отчаяния. По бокам стояли растерянные горожане. Нигде не было слышно разговоров — стояла напряженная и тягостная тишина.

8

Однажды ранним утром, мы были разбужены громкой музыкой, раздававшейся где-то недалеко от нас. Вздуродерженные, мы выбежали на главную улицу, куда со всех сторон стекался народ.

Около памятника Ленина, сбитого со своего пьедестала и валявшегося с обломанной головой, немецкая машина, на которой помещалось радио с большим, похожим на громадную грамфонную трубу, репродуктором. Вокруг расположилась огромная толпа с интересом слушавшая «заморскую музыку». Из рупора неслись бравурные звуки немецких маршей, популярных песен и танцев.

Неожиданно музыка оборвалась и в репродукторе что-то зашипело. Немец посмотрел на часы, что-то передвинул и мы услышали голос, говоривший на чисто русском языке. Переход был настолько внезапен, что люди буквально застыли на месте. Трудно сначала было понять, где мы слышали раньше этот знакомый, нудный, бесстрастный, как у евнуха, голос.

«Говорит Москва», — и после небольшой паузы, — «От советского информбюро». Мы с любопытством слушали длиннейший обзор событий на фронте, с массой ненужных, совершенно несущественных подробностей. Не ясно было только одно, — а где же, собственно, проходит сейчас фронт? Наконец, диктор заговорил и о нас: «На подступах к Ростову идут ожесточенные бои, противник несет тяжелые потери, захвачено столько то пленных» и т.д.

Жители Ростова, слушавшие эту передачу в самом центре взятого города, заулыбались, кое где послышался смех, выражение лиц, казалось, говорило: вот вам и советская информация — есть ли здесь, хотя бы доля правды?

Немцы торжествовали — первый наглядный урок для населения.

9

Фронт уходил все дальше и дальше. Немецкие войска занимали Краснодар и Майкоп и продвигались на юг, вглубь Кавказа. На востоке они подходили уже к Сталинграду. Прекратились бомбардировки, наводившие ужас на население, перестали летать над городом советские самолеты. Немецких войск стало заметно меньше.

Ростов, казалось, забыл о войне и началась нормальная, мирная жизнь. Советская власть, где-то далеко от нас, корчилась в предсмертных судорогах. Никто не жалел о ней; она была символом горя, страдания, бедности, голода, страха, тюрьмы.

Немцы открывали учреждения, обслуживавшие армию и, вместе с тем, начали организацию городского самоуправления. Сначала было учреждено главное бургоминистерство, затем районные отделения. При бургоминистерствах появились отделы, без которых не могла идти нормальная жизнь: жилищный, финансовый, здравоохранения, народного образования и т.д. Начали работать больницы, начальные школы, столовые, кафе и рестораны, почилочные мастерские и комиссионные магазины, где продавались старые вещи. Только с продовольствием было трудно.

Требовались люди. Немцы создали Биржу труда («Арбайтсамт») помещавшуюся в здании бывшего Госбанка, на улице Ф. Энгельса, которая теперь называлась по старому —

Садовая улица. Сначала жители неохотно шли на работу к немцам. Но нужда заставляла: почти у каждого была семья и только работа давала возможность рассчитывать на получение пайка. Но это было только в начале. Потом потянулись к Бирже все — и беспартийные, и комсомольцы, и члены коммунистической партии, скрывая, конечно, свою партийную принадлежность. Не думаю, чтобы последние занимались каким-либо вредительством. Нет, они работали честно, выполняя все то, что им приказывали. Работа, для большинства населения, была вопросом жизни.

10

Вчера у меня была необычайная встреча. Если бы мне сказали, что я увижу Нину К., я держал бы пари на что угодно, что это невероятно, невысказимо.

Ко мне пришла молодая женщина с красивыми, немножко суровыми чертами лица. В прошлом — она была секретарем партийной организации в учреждении, где я работал. Мы знали ее, как твердокаменную коммунистку, принимавшую активное участие в разоблачении «врагов народа». После моего ареста она выступала на всех собраниях нашего учреждения, называя меня «врагом народа», «змеей подколенной, скрывшей на время свое жало», и требовала применения ко мне высшей меры наказания. Когда, перед самой войной, меня выпустили, она отворачивалась при встречах со мною.

Сейчас она сидела в моей комнате — похудевшая, осунувшаяся, с бледным, безжизненным лицом и опущенной головой. Она не знала, как начать разговор.

— Ты знаешь, что я член партии. — У коммунистов было принято разговаривать со всеми на «ты».

— Мой муж коммунист, политрук, с первых дней войны в армии, на фронте. У меня двое маленьких детей. — Голос ее пересекся. — Вчера дети мои доели последние крохи хлеба. Сама, не помню уже когда ела...

Она помолчала немного и голос ее слегка дрогнул:

— За прошлое извини и не суди строго. Ты сам знаешь, что я не могла поступать иначе. — Она волновалась и говорить ей было трудно. — Я пришла к тебе за советом. Что мне делать?! От меня сейчас отвернулись все. Мне не к кому обратиться.

Я молчал: мне нечего было советовать. Предложить идти на работу к немцам я не мог. Не хотел брать греха на душу. В конце-концов, кто-нибудь мог донести на нее. Немцы арестовывали коммунистов и доносы процветали, как и в старое, советское время.

Видя, что я молчу, она заплакала. Сейчас это была несчастная и беспомощная женщина, брошенная на произвол судьбы: вся коммунистическая позолота с нее слезла. Я принес воды и старался успокоить ее. Она продолжала плакать и, наконец, сказала с горечью:

— Идти к немцам работать?! А что скажет муж, если вернется с войны?

Мне было искренне жаль ее.

— Если бы у меня был хлеб, я дал бы тебе последний кусок. Но веришь, у меня такое же положение. Может-быть, завтра я пойду искать работу?

Я дал ей банку патоки и лицо ее просветлело.

— Спасибо, я никогда этого не забуду.

Через несколько дней я встретил ее на улице: она работала в «Виртшафтсамт» — в немецком хозяйственном управлении.

11

Запасы наши кончились. Я сидел с Ирой и молча пил фруктовый чай. Мама, еще с раннего утра, ушла на базар, взяв с собою для продажи старый оренбургский платок. Вскоре, она вернулась, бросив сверток, завернутый в газету, и устало опустила на стул.

Мне было не по себе. Я смотрел на Иру и на маму — они голодали, но я не слышал ни одного слова упрека. Чувство стыда поднималось во мне: я даже не искал работу.

Я направился, прежде всего в «Арбайтсамт» — на Биржу Труда. Это здание было мне хорошо знакомо: сколько раз получал я здесь деньги? На маленьких окошечках были вывешаны надписи: плотники, столяры, стекольщики, каменщики, электро-монтеры, механики и, наконец, интеллигентные профессии. В некоторых местах стояли небольшие очереди, у последнего окна было пусто. Я подошел.

— Могу ли я найти какую-нибудь работу?

Девушка с прозрачным личиком и вздернутым носиком, сидевшая за окошечком, равнодушно протянула руку и сказала только одно слово:

— Паспорт.

Я передал маленькую книжку, без которой жизнь в Советском Союзе была невозможна. Девушка что-то долго рассматривала в ней. Ее внимание было напряжено, как будто она решала трудную задачу. Наконец, она спросила:

— Почему у вас, в графе национальность, стоит «русский»? Фамилия у вас немецкая?

Я пожал плечами и недовольно ответил:

— Никогда немцем не был!

Она не торопясь вернула мне паспорт и указала рукой на второй этаж. Там было отделение для «русских немцев». Делать было нечего, я поднялся и вошел в большую комнату, где за столом сидела седая дама, со строгим лицом, и что-то писала. Я подошел к столу и остановился. Дама продолжала писать, не обращая на меня никакого внимания. Я подождал немного, затем кашлянул. Она подняла голову и посмотрела на меня.

— Что вам нужно? — спросила она крайне неприветливо на немецком языке. Не знаю почему, но я отвечал ей по-русски. Рассказал, что случилось и положил свой паспорт перед нею на стол.

Она ничего не ответила и принялась изучать мой «вид на жительство» так же, как это было внизу. Дойдя до графы «национальность», она побагровела и с нескрываемым презрением прошипела:

— Почему русский, почему русский?

Я ответил, что не мог считать себя немцем, если ряд поколений моих предков, были русскими. Она написала маленькую записку, вложила ее в конверт с адресом и передала мне, вместе с паспортом.

— Идите с этим письмом в «С.С.», там решат, что с вами делать!

Я медлил, не понимал, что означали таинственные буквы и, что это вообще за учреждение. Она отмахнулась рукою и ушла в соседнюю комнату, хлопнув дверью.

12

Идти было далеко — учреждение помещалось на границе Ростова и Нахичевани. Я шел через мертвый город, пострадавший, казалось, от недавнего землетрясения, в котором, каким-то чудом, сохранилась одна пульсирующая артерия — Садовая улица. По ней двигались немецкие грузовики, тяжелые танки и маленькие «фольксвагены». В конце улицы стоял, построенный в форме трактора, новый ростовский театр. Стены его были облицованы мрамором, снятым с могил городских кладбищ. Над входом были два больших барельефа, работы молодого ростовского скульптора Вучетича. Театр был разграблен, с кресел содран дорогой сафьян, из которого сейчас продавались дамские туфли.

Я поднялся на второй этаж, по адресу моего таинственного учреждения и вошел в кабинет, где царил полумрак от спущенных штор. Над письменным столом висел портрет Гитлера, на диване было небрежно брошено дамское платье и стояли туфли, со стоптанными, высокими каблуками.

Мне не пришлось долго ждать. Вскоре дверь отворилась и вошел офицер, в расстегнутом кителе. Видно было, что он только что встал с постели: волосы его были взъерошены, глаза сонные, хлодные и немного опухшие.

Я протянул письмо. Он жестом пригласил меня сесть, неторопливо закурил сигарету и сказал мне по-немецки:

— Покажите ваш паспорт!

Он бегло просмотрел его, потом молча отложил в сторону, прочел письмо и начал задавать мне бесконечные анкетные вопросы. Попутно он делал у себя в блокноте заметки. Его заинтересовал мой арест, допросы, тюрьмы, в которых я сидел, обращение с заключенными и, наконец, были ли пытки? Все, что я говорил, казалось ему важным. Его утомил этот долгий разговор. Он снова закурил и позвонил куда-то по телефону. Мне неудобно было прислушиваться и я отвернулся. Затем, он обратился ко мне:

— У меня есть для вас работа. Я направлю вас, в качестве переводчика, к генералу К. Правда, генералу совсем не нужен переводчик — у него есть свой. Но у его адъютанта, капитана Ш., бывают бумаги, которые нужно переводить на русский. Работы там мало. Я сейчас об этом говорил капитану.

Сделав небольшую паузу, он прибавил:

— А вы знаете, кто такой генерал К.?

Я пожал плечами. Он был крайне удивлен и сказал, акцентируя каждое слово:

— Генерал К. — комендант города Ростова и командующий войсками этого района! — Казалось, что спокойствие его было нарушено. Неожиданно, он вскочил и закричал на меня громко и запальчиво:

— Знаете ли вы, почему вы на свободе, а не расстреляны в НКВД? Наш фюрер велел Сталину выпустить всех немцев! Вы неблагодарны, вы забыли свою великую родину — Германию — и превратились в какого-то русского!!

Его обуревал безудержный гнев. Я молчал.

13

Когда я входил в комендатуру, у меня подламывались ноги и силы мои подходили к концу.

Адъютант, капитан Ш., сидел в большом, светлом, сверкающем чистотой кабинете, с аккуратно расставленной мебелью. На стенах висели две большие карты — одна Северного Кавказа, другая — Европейской России. В углу стояла полка, заваленная книгами и журналами.

У капитана было открытое, интеллигентное лицо; одет он был в щегольской, как у всех немецких офицеров, мундир. На левой стороне его красовался железный крест.

Встретили он меня приветливо, как будто я был его старый знакомый. Он знал, что мне нужно, и о работе ничего не говорил. Его интересовала жизнь в Советском Союзе, театры, музыка, спорт, красивые города, вроде Ленинграда. Мы беседовали очень мирно, я говорил с увлечением, зная, что никто не может привлечь меня к ответственности за правду о нашей прошлой жизни.

Неожиданно разговор наш прервался и в комнату вошел генерал К. — комендант города. Капитан встал, вытянулся и застыл на месте. Я тоже встал.

— Продолжайте, пожалуйста, — обратился генерал ко мне, поздоровавшись. — Дверь в мою комнату была открыта и я слушал вас с интересом.

Генерал сделал жест, чтобы мы сели и сам устроился около стола. Он был высок, строен по-военному, немножко

полноват, с румяным и добродушным лицом. В своем генеральском мундире, с золотыми плетеными погонами и красиво расшитым воротником, он выглядел импозантно. На правой стороне мундира был у него серебряный орел, с распростертыми крыльями и свастикой, а на шее висел черный, рыцарский крест, с белой каймой.

Нам принесли кофе, булки и бутерброды. Капитан пододвинул мне чашку. Я боялся, что мое голодное лицо подведет меня. Я медленно отодвинул кофе и сказал, стараясь чтобы мой голос не дрогнул:

— Спасибо, но право же я сейчас пойду демой. Жена меня ждет к обеду.

Мысленно, я проклинал себя. Мне казалось, что капитан понял меня, но как воспитанный человек, не подал и виду.

Мы поговорили еще немного. Генерал встал, поблагодарил меня, попрощался и ушел.

Капитан протянул мне написанное на бланке удостоверение личности.

— С этим удостоверением мы можете ходить по улицам во всякое время дня и ночи.

Я встал и поблагодарил.

— А как же с работой?

— Приходите в пятницу на следующей неделе. Сейчас у меня ничего нет.

14

Как-то поздно вечером, раздался стук в дверь нашей квартиры, запертой на железный засов. В городе было военное положение и после семи часов вечера нельзя было ходить по улицам. Кто мог прийти к нам в такое неурочное время? — Мама, Ирочка и соседка по квартире были взволнованы: — все могло случиться! Может быть это были «коммунист-мстители», пришедшие ночью для расправы с контрреволюционерами?

— Дойтшер официр, — сказал кто-то тихо за дверью. Дамы вздохнули с облегчением. Я открыл дверь. По нашим встревоженным лицам, офицер понял, что мы испугались: ему хотелось загладить свою вину.

— Мне нужна комната, у меня есть ордер от комендату-

ры, — проговорил он смущенным голосом, как будто хотел извиниться за свое непрошеное вторжение.

Он был одет в новенькую форму, на руках замшевые перчатки, рядом он поставил кожаный, изящный чемодан. Наши дамы рассматривали его с довольно бесцермонным любопытством: это был, действительно, живой человек, сошедший с экрана кино, показывавшего заграничный фильм.

Мы могли предоставить пришедшему только крошечную комнатку: там, на продавленном диване, он мог бы спать. Лишней кровати у нас не было.

— Если это вас устроит, пожалуйста.

Так познакомились мы с немецким офицером, пришедшим из другого, неизвестного мира.

15

Перед Биржей Труда собралась толпа, глазевшая на новые, только что вывешенные плакаты, с призывом ехать на работу в Германию: немецкому правительству нужна была рабочая сила, инженеры и специалисты разного рода. На фотографиях были изображены: небольшой завод, расположенный в живописной, гористой местности, электрические агрегаты, управляемые одним человеком и рабочие поселки, с небольшими и уютными домиками. Все выглядело красиво и, казалось, что и жизнь там должна быть хороша.

Бесконечная очередь тянулась к двери Биржи Труда. Здесь были мужчины, женщины, девушки и совсем «зеленая молодежь». Лица у всех были радостные, можно было думать, что каждый хотел уехать в Германию, в ту «заграницу», которая была запретным плодом за все время существования советской власти. И вот сейчас, каким-то чудом можно было осуществить эту несбыточную мечту.

Я подошел к человеку, одетому в старенький, перелицованный костюм. Вероятно, это был инженер.

— Поеду в Германию, страна передовая, индустриальная, — говорил он с воодушевлением, — посмотрю на настоящую, европейскую технику! Там будет чему поучиться! А что у нас? Стыдно сказать! Пользуемся машинами, которые на западе давно выброшены на слом!

Несколько простых девушек, вероятно работницы, одетые в лучшие платья, оживленно беседовали между собою:

— Ну, чем я рискую! Мне все равно, где работать — на заводе или в деревне. Поработаю с годик, может быть война кончится, поеду домой. Хоть раз в жизни посмотрю, как живут иностранцы! Да и харчи, наверное, будут лучше, чем у нас.

Были и совсем пожилые. Трудно было понять, что тянуло их, в немолодом уже возрасте, на это рискованное путешествие. У них были свои сомнения:

— А если забракут по возрасту? Что делать тогда?

Люди, стоявшие в очереди и жаждавшие попасть в чужие края были полны радостных надежд.

16

Немцы занимали Ростов уже в течение нескольких месяцев. Их армия вышла к Черному морю, овладев Новороссийском; на Кавказе пал Нальчик и на вершине Эльбруса было водружено немецкое знамя со свастикой.

Никаких особенных событий в городе не было. Много людей нашли работу в немецких или городских учреждениях, разросшихся как грибы, после дождя.

Я ходил один или два раза в неделю к капитану Ш., в комендатуру, и только изредка получал для перевода какой-нибудь циркуляр или распоряжение.

Нашего жильца мы видели по вечерам. Домой он приходил спать, весь же день проводил за работой в отделении немецкого Генерального Штаба. Иногда он уделял нам из своего скромного пайка кусочек колбасы или сыра, конечно, в строго микроскопических дозах. Бывало, очень редко, правда, что он обедал у нас: мы могли угощать его супом, сваренным из овощей и картофеля.

Наш жилец был скромный и тихий человек, избегавший касаться в разговорах каких-либо политических вопросов. На наши просьбы сообщить, хоть что-нибудь о судьбе России после войны, мы получали всегда стереотипные ответы, что он солдат, а солдаты в политику не вмешиваются. Он не любил говорить о политике и, обычно, всегда переходил на другие темы. Служа в Генеральном Штабе и зная обстановку на фронте, он успокаивал нас и уверял, что большевики никогда больше не возвратятся в Ростов.

У нас не было оснований не верить ему, но нам казалось, что за последнее время, он что-то от нас скрывал.

17

Капитан Ш. протянул мне небольшой листок бумаги, на котором было напечатано на машинке всего несколько слов.

— Что здесь написано? Переведите, пожалуйста, — попросил он. — Мне эти бумажки только что принесли из полиции.

Я взял почти прозрачный листок, оттиснутый, очевидно, во многих экземплярах, с неясными и бледными буквами. Разобрать содержание не представляло труда. Стараясь дословно придерживаться текста, я медленно переводил:

«Бей фашистских гадов! — гласила прокламация. — Наша доблестная армия наносит сокрушительные удары по немецким захватчикам! Скоро Ростов будет наш! Смерть фашизму! Да здравствует великий Сталин!»

Меня заинтересовало, где были обнаружены эти прокламации?

— Они были расклеены на стенах домов, — холодно ответил капитан Ш. — Еще рано утром полиция заметила их, сорвала листки и принесла сюда. Вот они все!

Он выдвинул ящик письменного стола и вынул небольшую пачку, аккуратно сложенных бумажек.

— Правда, — добавил капитан, как бы мимоходом, — один экземпляр принесла мне старая женщина, сорвавшая его со стены своего дома. Она заявила на плохом немецком языке, что «эту мерзость, я даже читать не хочу!» — И лицо капитана Ш. расплылось в широкой улыбке.

Через несколько дней мне пришлось снова побывать в комендатуре. Капитан Ш., прощаясь, сказал мне:

— Прокламации помните? Гестапо раскрыло эту историю и арестовало всех виновных.

Я подумал, что сейчас, вероятно, они были уже расстреляны. Убийство человека — всегда было мне отвратительно. Но в этом случае, у меня не было жалости. Я знал, что эти «подпольщики» были ничем иным, как отборными кадрами НКВД; что каждый из них, за свою «беспорочную службу» замучил и погубил сотни невинных людей. Может быть это было возмездие — ведь пролитая кровь вопиет к небу!...

Я всегда думал, что «чистка аппарата» была специфическим и чисто советским явлением. Однако, я ошибся. Сегодня, по поручению капитана Ш., я должен был принять участие в комиссии, проверявшей политическую благонадежность полицейских в одном из отделений городской полиции.

Мне был знаком порядок советских чисток. Обычно, они проходили на общих собраниях, при чем, каждому было дано право задавать вопросы и выступать — за или против — проверяемой персоны.

Я пришел к назначенному часу и поднялся в комнату, где за большим столом сидело уже несколько человек: представители главного бургоминистерства и полиции, вместе с районным бургомистром.

Теперешняя проверка была мало похожа на советскую: общие собрания были не нужны, так-же как и мнения сослуживцев, представителей так называемой «общественности». Первенствующую роль, мне кажется, играл психологический фактор: реакция человека на задаваемые ему вопросы.

Полицейские вызывались в кабинет в порядке списка, а затем начинался перекрестный допрос. Обычно спрашивали: был ли членом партии или комсомола, имел ли родственников среди партийцев, был ли репрессирован или раскулачен, кто были отец, мать, братья, подвергались ли они преследованиям, где служил, в какой должности, почему пошел на работу к немцам, в частности, в полицию? И, наконец, отношение к коммунизму?

Новоиспеченные полицейские, репрессированные в прошлом, отвечали на вопросы свободно и я бы сказал, сознательно становились в ряды «изменников родины», не желая дольше жить так, как они жили. Активисты и «беспартийные большевики» давали противоречивые ответы, смущались, когда их уличали во лжи. Были и такие, которые не имели «никаких суждений о природе советской власти» и хотели работать, лишь бы получать деньги и пайки.

Я просидел около трех часов. За все время удалось обнаружить весьма мало «подозрительных». Мне было трудно судить, насколько правилен был этот психологический метод.

19

Проходя по коридору комендатуры, я услышал из-за двери голос женщины, бывшей, как в истерике:

— Я не еврейка! Я не еврейка!

С неприятным чувством я вошел в кабинет капитана Ш., шагавшего по комнате из угла в угол. По лицу его можно было судить, что он расстроен.

— У меня к вам просьба, — начал он сразу, стараясь быть спокойным, — в нашей приемной, сидит арестованная женщина. Ее задержал на улице, около самой комендатуры, один из наших работников. Он утверждает, что она еврейка и требует отправки ее в Гестапо. По-немецки она не говорит. Мне бы хотелось предварительно выяснить, насколько все это верно. — Помолчав немного, он сказал с плохо-скрываемым раздражением:

— Вы понимаете, что такие дела не входят в нашу компетенцию!

Я хотел отвертеться от этого щекотливого и, по-моему, чисто полицейского дела. Я всегда питал отвращение к деятельности всякой полиции. Я категорически отказался, но капитан настаивал и просил:

— Она же ваша ростовчанка! Я думаю, что вы это сделаете лучше, чем кто-нибудь из нас!

У окна сидела совершенно незнакомая мне женщина. Ее трясло, как в лихорадке. Заметив меня, она вскочила и начала кричать:

— Я никогда не была еврейкой! Поймите же! Хотите я сейчас прочту молитву! — И она начала: «Отче Наш, иже еси на небесех! Да святится Имя Твое...»

Я мягко остановил ее.

— Я армянка! Армяне похожи на евреев! — Лицо у нее было измученное, страдальческое, опухшее от непрерывных слез. Вдруг она проговорила тихим, обреченным голосом:

— И за что только мой муж пропал, в кошмарном 37-ом году...

Затем, она назвала мне свою, хорошо известную в Ростове, армянскую фамилию.

Я почувствовал, как удар обуха. Будто молния ударила в меня и осветила страничку прошлых, страшных лет — тюрь-

мы, допросов, надругательств... В нашу камеру, в подвале Ростовского ДПЗ (дома предварительного заключения) НКВД, втокнули растерянного, близорукого человека, ослепшего без очков, одной рукой поддерживающего падающие брюки со срезанными пуговицами, а другою держащего небольшой сверток с вещами. На следующую ночь, его вызвали на допрос. Вернулся он утром, с синяком под глазом. В продолжение двух недель он не разговаривал с нами, отказывался от «баланды» и каждую ночь проводил у следователя.

Наконец, наступил день, когда он заговорил:

— Да, только в НКВД все узнаешь. Когда я начал писать о своей шпионской деятельности, следователь перечеркнул красным карандашом мои показания и сказал:

— Ты гнилой интеллигент! Понимаешь? Ну, кто тебе поверит, что ты был французским шпионом?

Я не хотел говорить этой женщине, находившейся сейчас в неменяемом состоянии, о судьбе ее мужа: да и что могло бы измениться от этого? Капитану Ш. я рассказал обо всем. Через десять минут, обезумевшая женщина, была на свободе.

— А вы не хотели помочь мне? — с упреком сказал капитан Ш.

20

Надо было улаживать дело с пайками для своей семьи. Я пошел в главное бургоминистерство, помещавшееся на Большом проспекте, в прекрасном двухэтажном особняке. Множество комнат были заполнены служащими, сидевшими за столами или шнырявшими по коридорам с деловым видом. Громадная комната была отведена для переводчиков. Неизвестно откуда появились машинки с немецким шрифтом, за которыми сидели, большей частью, солидные, седые дамы, с важным видом печатавшие циркуляры и распоряжения. На стенах пестрели надписи на немецком языке, со стрелками, указывающими, как пройти в тот или иной отдел.

Я направился в секретариат — большую и светлую комнату, где за столами с телефонами, сидели две молодые девушки — личные секретарши обербургомистра и его заместителя. Здесь толпился народ — это были просители, пришедшие сюда, чтобы найти правду у только что организованной, новой власти. Мне бросился в глаза седой, сгорбленный

старичек, лет под восемьдесят, одетый в блестящую форму офицера царского времени. Трудно было понять, как удалось ему сохранить в течение долгих лет советской власти это контрреволюционное одеяние? Он пришел к обер-бургомистру во всех своих регалиях и растерявшаяся секретарша, никогда в своей жизни не выдавшая подобного великолепия, — пропустила его, под одобрительный шопот посетителей, без очереди, прямо в кабинет нового хозяина города.

Мне удалось быстро уладить свое дело с заместителем обер-бургомистра. На его большом письменном столе лежали — мне это сразу бросилось в глаза — какие-то списки, с бесконечными перечнями фамилий, которые он, разговаривая со мною, неторопливо перелистывал и подписывал. Он заметил мой недоуменный взгляд и сказал:

— Не удивляйтесь! Никакого секрета здесь нет. Это списки бойцов армии генерала Качалова, не хотевших воевать за Сталина и сдавшихся в плен немцам. Они сидят сейчас в лагерях для военнопленных. По этим спискам, подписанным мною или обер-бургомистром — немецкая комендатура выпускает их на волю.

Я не верил своим глазам.

— Конечно, — продолжал заместитель обер-бургомистра — мы ручаемся, что среди отпускаемых людей нет коммунистов. В этом есть риск, но что ж делать? Вы понимаете, что сейчас мы не в состоянии устроить какую-нибудь основательную проверку. Нельзя допустить чтобы тысячи невинных людей гибли из-за нескольких десятков мерзавцев!

Мне было непонятно, как могли согласиться на это немцы? Однако, это было так!

21

Мой старый приятель — доктор М., заведывал Отделом Здравоохранения главного бургоминистерства. Мне приходилось, иногда, бывать у него по разным поручениям. Доктор М. был пресимпатичнейшей личностью. Добрый, отзывчивый, скромный, бескорыстный, как многие наши доктора, он любил повеселиться и, конечно, выпить. Когда он бывал навеселе — он всегда напевал: «Эх, вы пташки, канашки мои...» Я сидел в кабинете его — приема не было — и мы мирно беседовали.

— Черт знает что! — как-то внезапно сказал доктор,

очевидно вспомнив что-то не совсем приятное. — А знаете вы, что немцы открыли в Ростове публичный дом?

Я не знал. Но я понимал, что немцы были хозяевами в городе и могли делать все, что хотели.

— Ну, а как туда попадают женщины? — спросил я довольно наивно.

— Как? — переспросил доктор. — Да очень просто. В этом деле соблюдается принцип полной добровольности. И знаете, что удивительно: предложения превышают спрос!

Я непонимающе смотрел на доктора и не верил ему.

— Не верите, вижу по вашим глазам. Сейчас поймете! — Он приподнялся и глядя на меня в упор, сказал мрачно: — А что делать женщине, если ее мужа забрали в армию, а у нее двое или трое детей, да в придачу престарелые родители? Работу найти невозможно, а хлеба нет!? Прикажете всем подыхать с голоду?

Он помолчал немного, а затем сказал, как будто по секрету:

— Там все такие, несчастные. Разве можно осуждать их за это?

Воцарилось молчание.

— Условия в этом публичном доме, — снова начал он, — извините за слово, выражающее не совсем то, что я хочу сказать — «приличные». Каждая девушка имеет отдельную светлую комнату с мебелью, каждая обеспечена одеждой, бельем, обувью, получает хороший паек и жалованье. Одна из них, только что была у меня. Не обижают тебя?, — спросил я. — Нет, — ответила, — всё хорошо. Семья довольна — все сыты и обуты. Только нет у меня жизни дальше... — Так и сказала. Вы знаете, ведь, что русская женщина всегда готова пожертвовать собой! Это еще истари...

Доктор замолчал, мне было не по себе.

— Ну, а бывают заболевания? — спросил я, чтобы как-то нарушить молчание.

— Нет, — ответил доктор. — Шансов на заболевания почти нет. Там есть дежурный врач, который осматривает каждый раз и посетителя, и девушку. Конечно, все это страшная мерзость! Но, что поделаешь — сейчас мы побежденная сторона.

Он помолчал немного, затем сказал:

— А некоторые девицы — есть и такие! — довольны своей судьбой, и — доктор развел руки. — Одна из них говорит мне: «Нашла себе постоянного кавалера: он такой хороший, ходил хлопотать за меня и добился, чтобы я приняла только его одного...»

22

В Ростове стала выходить на русском языке небольшая газета. Была она, конечно, про-немецкая, и не могла быть другой. В первом номере, поверх текста, были напечатаны жирным шрифтом слова из манифеста императора Александра 2-го: «Осени себя крестным знаменем, православный народ...» Читая это, люди вздыхали и верили, что с советской властью покончено навсегда. В газете не было программных статей, но она была резко антикоммунистической. В ней появился, забытый при советской власти, отдел происшествий, не плохо была представлена хроника местной жизни. Конечно, это был скорее листок, чем настоящая газета.

К нам приезжали старые русские эмигранты — «белобандиты», как называла их советская печать. С этими «белобандитами» мы очень быстро сошлись, подружились. От них мне впервые удалось получить несколько номеров русской газеты «Новое Слово», издававшейся В. Деспотули в Берлине. Конечно, и здесь были обязательные восхваления Гитлера. Но для нас это было чем-то второстепенным и не важным — ведь, то же было и в советских газетах, в отношении Сталина. Нас интересовал исключительно русский вопрос и борьба с большевизмом.

Берлинские газеты производили на нас огромное впечатление. В них были блестящие статьи квалифицированных журналистов, прекрасно осведомленных о положении дел в Советском Союзе, беспощадно разоблачавших сущность большевизма. Много статей были написаны бывшими советскими людьми, сидевшими в НКВД, побывавшими в ссылке и досконально знавшими оборотную сторону советской действительности. Теперь никто не мог заткнуть им рты. Они считали своим долгом высказать ту правду о большевиках, свидетелями которой были. Статьи были проникнуты фанатичной верой в неизбежную гибель советской власти, при чем разгром большевизма должен был совпасть с окончанием мировой вой-

ны. Кто победит — Германия или союзники — для нас не играло роли. Важен был только один факт: Коммунистическая диктатура должна быть уничтожена! Этих газет ждали с нетерпением и получение их было праздником.

23

Не хотелось выходить из дому. На улице было холодно, тяжелые облака, предвещавшие грозу или снегопад, нависли над городом. В воздухе чувствовалось приближение зимы. Невольно думалось — как проживем ее?

У нас было много забот: надо было вставить стекла в разбитые окна, заклеенные газетной бумагой, поставить печку, чтобы не замерзнуть зимою, раздобыть угля и, наконец, достать дров для растопки.

Мы привыкли к оптимистическим информациям нашего жильца. Но сейчас он молчал, не говорил больше об успехах немецкого оружия, о занятии новых городов, о разгроме той или иной советской армии. Приходил ночью, уходил на работу рано, не выпив даже чашки чая.

Город был полон слухами о трагическом положении немецкой армии, находившейся под Сталинградом. Попытки узнать что-либо у нашего жильца или капитана Ш. в комендатуре — были безуспешны. Вероятно, это была военная тайна. Слухи действовали на нас угнетающе. Беспокойство росло изо дня в день. А что, если это правда? Только сейчас, впервые, перед нами встал вопрос о нашей будущей судьбе.

Вчера, рано утром, я пошел на базар. Проходя мимо здания главного бургоминистерства, увидел толпу на улице. Посреди нее была девушка, кричавшая охрипшим голосом:

— Давай, давай, скорее! Что рты пораскрывали! А ну, пошли...

Озябшие люди с недовольными и злыми лицами, покорно тронулись за своим энергичным командиром. Начиналась, как и в советское время, старая песенка — надо было снова идти за город и копать не нужные, не имеющие никакого стратегического значения — оборонные рвы.

Наша небольшая квартирка была празднично убрана. Удалось, правда, с большим трудом, привести ее в полный порядок: вставить окна, сложить новую, крошечную, кирпичную печку и побелить стены.

24

На улицах выпал глубокий снег: стоял, небывалый для наших мест, мороз. Стекла окон были изукрашены искрящимися узорами, но у нас было тепло и уютно.

Сегодня, казалось, что кровопролитная война далеко отошла от нас, что улицы нашего города не были завалены разрушенными домами, что не было несчастных семей, где кто-нибудь да погиб, пропал без вести или просто был отрезан мертвой полосой, разделявшей фронт.

К десяти часам стали собираться гости. Пришла семейная пара — наши соседи по квартире, один мой бывший сослуживец, с которым я работал еще при советской власти, наконец, наш жилец — немецкий офицер и два его сотоварища по генеральному штабу: один полковник, другой капитан.

Угощение, которое состряпали мама и Ира, было очень скромное: винегрет — наше традиционное блюдо, какая-то полусъедобная закуска и торт из бураков. Немцы принесли бутылку довольно приличного вина и несколько бутербродов с сыром.

В 11 часов мы зажгли елку и, не совсем стройно, спели старинную рождественскую песнь — «Штилле Нахт». Немцы растрогались, кое-кто вытирал влажные глаза. Вспомнили, очевидно, далекую родину и этот памятный день, когда их семьи были вместе.

В этот вечер я много играл: клавиши легко повиновались моим пальцам и наше старенькое пианино, давно пережившее свою долгую жизнь, казалось, допевало последнюю лебединую песнь.

Уходил старый 1942-ой, перевернувший уклад всей нашей жизни, и наступал новый 1943 год, полный неизвестности и тревожных опасений.

Мы не хотели, ради праздника, предаваться печальным мыслям. Немцы развлекали нас, как умели: они дурачились, несмотря на свои солидные чины. Наш жилец декламировал одно и то же стихотворение на различных немецких диалектах. Мы много смеялись, но смех был деланный, не натуральный: в глубине души не было спокойствия.

Разошлись поздно: печь потухала и становилось холодно. Тогда не было у нас и мысли, что скоро, очень скоро мы навсегда покинем Ростов, а затем и Россию.

Ночью выпал глубокий снег, скрывший, под белой пеленою, безобразие разрушенного города. Улицы были запружены немецкими машинами, потерявшими свой нарядный вид, который они имели во время победоносного вступления в Ростов. Сейчас они были грязны, наспех отремонтированы и помяты. Солдаты, не привыкшие к суровой зиме, сидели, накупившись, с мрачными лицами.

Перед нами проходила — в прошлом — блестящая «Кавказская армия», поспешно покидавшая величественные горы, покрытые вечными снегами, крутые ущелья, лесистые долины и гостеприимные города солнечного Кавказа. В своем стремительном, обратном движении — она поредела: не видно было сейчас ее моторизованной пехоты и прекрасно экипированных альпийских частей с экзотическими ишаками. Чувствовалось приближение катастрофы, о причинах которой никто не знал и не догадывался.

Немецкие сводки были туманны: неизвестно, что творилось под Сталинградом, какие города были оставлены на Кавказе, каково было положение под Москвой и Ленинградом? Сообщалось только о героической защите Кубанского передового укрепления.

В жизни города никаких видимых перемен не было: он жил своею прежней, тихой жизнью. Одно было только ново — появился страх. Подобно какой-то зловещей эпидемии, он широкой волной разливался по улицам города, проникал сквозь каменные стены домов в сердца встревоженных горожан.

Наш жилец-офицер пришел домой поздно. Не говоря ни слова, он сосредоточенно упаковывал свой чемодан. Наконец, он сказал, стараясь не выдать своего волнения:

— Завтра в 6 утра мы уезжаем. — Лицо у него было виноватое, будто он сделал нам какую-то неприятность.

Для нас было совершенно ясно, что в ближайшее время немцы покинут Ростов.

(Окончание следует)

Н. Туров

КРЫМ

ВОСПОМИНАНИЯ

В Симферополе представители университета встретили нас радушно и помогли устроиться на первое время. Обстановка смены власти была нервная. После ухода немцев и турок образовалось местное краевое правительство под председательством известного крымского общественного деятеля винодела С. С. Крыма, караима, очень почтенного и толкового человека. Тогда все успокоилось (тогда то Симферопольский университет и стал самостоятельным и назван был Таврическим). Мы довольно быстро освоились с новой для нас жизнью. Мы раньше полюбили Пермь и могучую северную природу, но теперь постепенно оценили и чары юга. Участвовать в создании нового университета была увлекательная работа. Симферополь был симпатичный город и в нем мы нашли много милых и интересных людей. В Перми я участвовал в тамошней ученой архивной комиссии, но не очень активно. В Таврической ученой архивной комиссии я принял деятельное участие и подружился с ее председателем Арсением Ивановичем Маркевичем, глубоким знатоком истории Крыма и очаровательным и интересным человеком (много старше меня). Среди профессоров Таврического университета оказалось двое моих коллег по Перми — Б. Д. Греков и А. И. Кадлубовский. Как и в Перми, Греков читал древнюю русскую историю, а я — новую. С Кадлубовским приехали в Симферополь две его дочери-близнецы Оля и Наташа (Кадлубовский был вдовец). Из новых для меня лиц был талантливый Гудзий (он читал новую русскую литературу, а Кадлубовский — древнюю). Историю искусства читал Айналов, политическую экономию — Георгиевский (из Петербурга). Классический греческий язык — А. Н. Деревницкий (кажется бывший попечитель Одесского учебного округа) превосходный знаток и новогреческого языка, сельскохозяйственные науки — Иван Вячеславович Якушкин, младший брат экономиста Николая Вячеславовича, с которым я дружил

в Москве. С Иваном Якушкиным мы тоже сблизились. Очень подружился я с Владимиром Алексеевичем Розовым, преподавателем церковно-славянского языка и древней русской литературы. Розов был глубокий знаток в этой области, человек замечательно чистой души, не обращавший внимания на внешность, верующий православный. Жена его Зоя Гавриловна также была очень милая. Сблизились мы также с П. П. Кудрявцевым, философом, читавшим историю церкви. Познакомились и с И. П. Четвериковым (философия и психология). Как Кудрявцев, так и Четвериков тоже были верующие православные. При университете была устроена библиотека, быстро разросшаяся. Библиотекарем назначен был Н. Л. Эрнст, а до его приезда временно исполняла должность библиотекарши Нина (ставшая помощницей Эрнста).

Из естественников я познакомился с ботаниками Кузнецовым и Палладиным. От некоторых других естественников меня отталкивал их воинствующий атеизм. Не могу вспомнить кто был первый ректор Таврического университета.

В Крыму находилось в частных руках несколько ценных семейных архивов. Часть их еще до основания Таврического университета была передана в архивную комиссию. От А. И. Маркевича я узнал, что в имении Тавель хранится большой ценнейший исторический архив В. С. Попова, правителя канцелярии Потемкина. Так как время было смутное (шла гражданская война и можно было опасаться, что она коснется и Крыма), то мы сочли необходимым перевезти этот архив в университет как наиболее надежное место для его хранения. Владельцы (потомки В. С. Попова) охотно согласились на это. К этому времени приехал в Симферополь Эрнст. Кажется именно он наблюдал за перевозкой архива и поместил его в библиотеку университета. Так архив был спасен и я начал понемногу его разбирать.

С самого основания университета было принято много студентов и число их все возрастало. Как и в Перми большинство их занималось с большим рвением. Среди них было довольно много студентов из других университетов, но большинство, сколько помню, составляли юноши, только что кончившие гимназию, некоторые в Симферополе же. Не помню отдельных моих слушателей и учеников моего семинара, но помню, что среди них было много талантливых людей.

Кроме преподавания я с увлечением изучал ордера и письма Потемкина и другие материалы Тавельского архива, и на основании их сделал несколько докладов на заседаниях архивной комиссии. Доклады эти были напечатаны в «Известиях» этой комиссии (перечень их см. в моем Festschrift — A. D. Ferguson and Alfred Levin, Essays in Russian History 1964).

Я продолжал свои занятия татарским языком у местного муллы. Язык крымских татар почти тождественен с языком казанских татар, но есть разница в произношении. Под руководством муллы я начал осваивать арабский алфавит.

В начале нашего приезда в Симферополь мы сняли комнату довольно далеко от центра города в доме Лобова, довольно сумрачного вдовца, кажется, бывшего земского статистика. Позже переселились в более удобное и близкое к университету помещение — сняли две комнаты в семье чиновника Васильева и там же столовались. Васильев был спокойный хороший человек. Жена его — Евфросиния Ильинишна — армянка, замечательно милая. У них было два мальчика, учившихся в гимназии — Витя и Коля — оба живые и способные. Кажется у них было пианино, которым Нина могла пользоваться или она ходила куда-то близко, где был рояль и там практиковалась в пении. Часто пела на вечерах у друзей, между прочим у Бобковых. Бобков был молодой инженер, не связанный с университетом.

Из не университетских знакомых мы довольно часто делились со Спасо-Кукоцкими. Спасо-Кукоцкие (их имен не помню) были старше возрастом, чем Бобковы. Муж был тоже инженер, но другой специальности, чем Бобков. Жена Спасо-Кукоцкого была очень музыкальна, хорошо играла на рояле, иногда акомпанировала Нине.

После капитуляции Германии пошли разговоры о том, что «союзники» намерены помочь Добровольческой армии в ее борьбе против большевиков. В конце декабря 1918 г. в Севастополе высадился небольшой французский отряд. К апрелю 1919 г. под французским командованием там было уже несколько тысяч человек, в том числе алжирские и сенегальские стрелки и полк греков (не доверяя своей памяти беру эти сведения из V тома «Очерков русской смуты» генерала Деникина, стр. 62). Французское командование отправило в север-

ную Таврию на помощь отряду добровольцев две роты греков. Помню, как по дороге на север в Симферополе появились греческие офицеры, покупали в комиссионных магазинах разные вещи, например, часы-браслеты, удивлялись дешевизне, а для нас на тогдашние бумажные деньги все это казалось очень дорого.

Силы были слишком неравны. И добровольцы и греки понесли тяжелые потери. Добровольцы отступили на Акманайские позиции на Керченском полуострове. Греки вернулись в Севастополь. 27 марта красные заняли Джанкой и, не встречая сопротивления, двинулись на Симферополь (см. Деникин, V, стр. 45). Оттуда ринулись в Севастополь люди, надеявшиеся, что французы их будут эвакуировать. В том числе было несколько профессоров Таврического университета. Мы с Ниной решили поехать в Севастополь и посмотреть, что там делается.

Когда мы подошли к какому-то зданию около пристани, где некоторым желавшим эмигрироваться французы по своему усмотрению выдавали пропуска, мы увидели длинный густой беспорядочный хвост желающих. Членов крымского правительства в стороне от хвоста встречал французский морской офицер и приглашал на адмиральский корабль. (Мы видели как проходили Винавер — министр внешних сношений и Набоков — министр юстиции). От времени до времени два французских матроса старались выравнить хвост, щелкая бичем. Картина была отвратительная. Мы решили остаться в Крыму и пошли пешком в Ялту по южному берегу. В Кореизе мы остановились в небольшом пансионе. Когда мы отходили от Севастополя, слышали сильные взрывы — французы перед уходом взрывали севастопольские укрепления. Несмотря на нашу ненависть к большевизму, нас охватило чувство национальной горечи.

На другое утро после нашей ночевки в Кореизе по шоссе (пансион был у самого шоссе) по направлению из Ялты в Севастополь прошел большой отряд красной конницы. Это не была регулярная кавалерия, а партизанская конница имени «товарища Котовского» (кажется так), первоначального организатора этой конной группы (потом убитого в бою). Отряд шел в полном порядке и, к удивлению всех, от него не было никаких стеснений населению. В Кореиз назначен был представитель советский власти, от которого мы получили бумажку на возвращение в Симферополь. Коротенькое разрешение на

выезд было напечатано на машинке. Мы объяснили, что до Ялты мы пойдем пешком, а там уже можно было получить место на арбе. Тогда советский чиновник к словам «на выезд» приписал «пешком». Когда мы добрались до Симферополя, там советская власть начала уже распоясываться. Начались аресты, людей хватили на улице на принудительные работы. Встречные иногда предупреждали — «не ходите на такую-то улицу, там ловят». Этим занимались главным образом местные большевики. Первое их удовольствие было заставлять хорошо одетую даму мыть уборные в казармах или что-нибудь в этом роде. Рассказывали, что одна молодая дама пошла весело (не в пример остальным), подоткнула юбку, засучила рукава и с веселым пением стала действовать шваброй. Ее сразу отпустили.

Понемногу все стало приходить в некоторый порядок. Образовался Крымский краевой Совнарком, председателем которого был брат Ленина Д. Ульянов. Университет продолжал функционировать, профессорам предложено было записаться в учительский профессиональный союз. Много помог наладить отношения между новой властью и университетом профессор административного права А. И. Елистратов ранее очень консервативный, а теперь не только ставший законопослушным по отношению к новой власти, но чуть ли не записавшийся в коммунистическую партию (впрочем, в этом я не уверен). Елистратов спас от ареста нескольких своих коллег. В начале мая 1919 г. поползли слухи, что на Кубани идут бои с Добровольческой армией, успешные для последней, и что положение Советской власти в Крыму непрочное. Среди большевиков стала чувствоваться нервность. Аресты участились, введен был полицейский час, при том очень ранний. Уже после 5 часов дня, когда было совсем светло, запрещено было обывателям выходить на улицу. 5 июня добровольцы прорвали красный заслон перед Акманайскими позициями и погнали красных из Крыма. Вскоре после того как-то утром вошел в Симферополь передовой отряд добровольцев (5-го армейского корпуса). Население торжественно его приветствовало. Рассказывали, что одна старушка спросила проходящего солдата — «Что ж теперь, батюшка, можно будет и вечером выходить из дому?» Тот ответил: «Ходи, тётка, круглые сутки!»

Полицейский час был отменен, но начались аресты подо-

зрительных лиц и ловля скрывавшихся большевиков. Под подозрением оказался и профессор Елистратов. Его защитили те, кого он спас во время большевиков. Несколько местных большевиков были повешены на столбах близ вокзала. Многие обыватели пошли смотреть на это зрелище. Говорят, что некоторые дамы, в том числе две-три профессорских жены танцевали под повешенными. Мы туда, разумеется, не ходили. Через некоторое время в Симферополь приехал главнокомандующий Доброармией генерал Деникин. После торжественного молебна в соборе Деникин произнес прочувственную речь к собравшемуся множеству народа. Мы с Васильевыми там были. Молодежь, в том числе мальчики Васильевы, проникнуты были особым энтузиазмом.

Вскоре после того мы с Ниной поехали на лето на южный берег Крыма. Нас пригласил к себе Михаил Иванович Петрункевич (сын Ивана Ильича Петрункевича), управляющий дворцом и именем «Гаспра» падчерицы Ивана Ильича графини Софьи Владимировны Паниной, с которой мы были знакомы раньше, хотя и не близко. Сама Софья Владимировна в это время жила в Ростове, принимая близкое участие в деятельности правительства Деникина. Во дворце жили двоюродная сестра Михаила Ивановича — Анна Михайловна Ян-Рубан (рожденная Петрункевич, по первому мужу Маевская) и её гражданский муж Владимир Иванович Поль. Они тогда не могли жениться, его первая жена не давала развода. Только после ее смерти, много лет спустя, когда они были уже в Париже, они смогли оформить свой брак. С ними была и сестра Анны Михайловны — Александра Михайловна Петрункевич (профессор истории Бестужевских курсов в Петербурге).

М. И. Петрункевич сначала предложил нам поселиться в его просторном доме. И он и семья его были очень милые. Жена — Елизавета Ильинична (кажется родственница Бакуниных) и две дочери — Ирина и Ольга. Сын Иван был тогда в Добрармии — мы познакомились с ним только много позже в Праге. Довольно скоро М. И., переговорив с Полями, перевел нас во дворец, отведя нам очень большую удобную комнату. При ней была еще маленькая комната с небольшой плитой (м. б. примусом). Прислуги у Полей не было. Мы должны были сами убирать комнату, выносить мусор, готовить себе нехитрую еду. Нина еще раньше слыхала об Анне Михайловне Ян-

Рубан, но никогда до того времени ее не видела. Поли жили в Москве, когда мы переехали в Петербург в 1913 году. Теперь Нина загорелась мыслью брать у нее уроки пения. Нина принадлежала к музыкальной семье, у нее был не очень большой, но очаровательный голос. Учиться пению Нина начала еще в Москве и продолжала в Петербурге. Там она не могла найти учителя, который бы ее удовлетворил. Перепробовала нескольких — брала уроки у Ирещкой, Алчевского, Морского.

Анна Михайловна согласилась давать Нине уроки пения. Нина всей душой зажила ими. Много позже она поэтически описала Анну Михайловну, ее пение, ее манеру преподавания («Возрождение», № 151, январь 1965 г.).

Владимир Иванович Поль — идеальный акомпаниатор для Анны Михайловны, интересный и оригинальный человек, очень одаренный. Помимо музыки у него были способности к живописи, он очень хорошо писал акварелью. Он был йог. С юности у него был туберкулез и доктора считали, что ему недолго осталось жить. Требовали, чтобы он ел больше мяса и вообще сытнее бы питался, больше бы отдыхал и не утомлялся. Владимир Иванович делал все наоборот; не ел мяса, даже не пил молока (называл его «коровий сок»), питался картошкой, орехами, фруктами. Приблизительно раз в месяц устраивал «дебош организма» — в эти дни ел более обильно и кажется иногда позволял себе даже мясо. Он был очень худощав, но благодаря йогской системе дыхания развил себе страшно крепкие мускулы на животе, а гимнастическими упражнениями — и на руках. Очень много ходил. Анна Михайловна приняла его систему питания, несмотря на протесты ее сестры Александры, которая поэтому готовила себе добавочную пищу. Они все трое очень любили ходить по горам. Мы с Ниной — тоже. Часто все пятеро совершали большие экскурсии — подымались по тропинкам на Ай-Петри, а оттуда ходили по Яйле. Когда проходили около стада овец, на нас с лаем набрасывались овчарки. Тогда надо было останавливаться и стоять неподвижно пока пастухи не отзовут собак. Это были чудесные незабываемые прогулки. Часть лета на южном берегу жил А. П. Кадлубовский. Он был гораздо старше нас, но тоже любитель ходить. С ним мы часто ходили в Козма-Демьянский монастырь, расположенный уже на северном склоне Яйлы. К началу учебных занятий в университете в сентябре мы с

Ниной вернулись в Симферополь. Добровольческая армия развивала свое успешное наступление на Москву. Но большевики исподволь вели свою подпольную пропаганду, в Крыму главным образом среди рабочих. Вождей их арестовывали время от времени и на поверхности все было в общем спокойно.

Еще в конце существования крымского правительства в Крыму начались затруднения с продовольствием. При большевиках стало еще гораздо хуже. При добровольцах стало сначала немного лучше. При большевиках Васильевым стало уже трудно нас кормить и мы начали питаться или в столовой Симферопольского попечительства о бедных или иногда в столовой при университете. В обеих обеды были скудные. В столовой для бедных кормилось кроме нас еще несколько профессоров, в том числе Кадлубовский. Шутили, что это столовая для бедных и профессоров. Единственно что было хорошо, это белый хлеб и давали его вдоволь. Кадлубовский, большой любитель хлеба, брал большой ломоть к себе домой. Ему надо было проходить мимо дома Васильевых и мы иногда видели в окно, как он находит все время отламывает кусочек хлеба и ест. Большинство профессоров и служащих университета питались в университетской столовой. Помню, что доктор Свободин, попробовав суп, каждый раз говорил: «а сегодня суп опять водой пахнет» (он говорил на о), но все-таки выхлебывал всю тарелку.

Бумажные деньги, которыми уплачивалось университетское жалованье, имели все меньше реальной ценности. Надо было придумать дополнительный заработок. У инженера Спасо-Кукоцкого была хорошая двуручная пила и он предложил мне вступить в сотрудничество с ним, чтобы пилить дрова для тех, кому это было нужно. Заказчиков было не очень много, но все же мы на этом подработали. Некоторые даже платили часть зарплаты продуктами. Помню, что раз мы пилили дрова для писателя Тренева.

Кроме того, в конце 1919 или начале 1920 года я поступил на службу (кажется на 4 часа в день) в Украинский кооператив «Днепросоюз». Там часть жалованья мне платили продуктами.

Несмотря на гражданскую войну и трудные условия жизни, в Крыму был расцвет умственной и религиозной жизни. Даже под властью большевиков (конец марта — начало июня

1919) при университете и в Архивной комиссии устраивались лекции и собеседования на научные темы. Открытых религиозных собеседований нельзя было, конечно, устраивать, но церкви не были закрыты и всегда были полны молящимися.

После прихода Добровольческой армии в июне 1919 г. религиозное чувство и религиозно-философская мысль прорвались наружу. Приехали такие выдающиеся люди как отец Сергей Булгаков и В. Тернавцев. Из бывших уже ранее в Крыму, в религиозно-философском движении принимали деятельное участие профессора Кудрявцев и Четвериков, а также молодой архимандрит Вениамин, ректор Симферопольской духовной семинарии. Вениамин был тогда в высоком духовном подъеме и вдохновенно совершал церковные службы (он был очень музыкальный). С Вениамином у меня установились дружеские отношения. О. Сергей Булгаков (с которым мы мельком были знакомы еще в Москве) принял священство в 1918 году. В Симферополе ему отвели для служения бывшую домовую церковь, построенную в усадьбе какого-то важного сановника (уже давно умершего). Церковь не отапливалась, и зимой в ней было страшно холодно. Молящиеся стояли в шубах, у мужчин мерзли непокрытые головы. О. Сергей тогда еще не вполне освоился с церковным служением. Хотя он любил музыку, но был не музыкален. Но все искупалось горячей верой и вдохновенным чтением молитв. Тайные молитвы при пресуществлении Даров о. Сергей читал вслух. Проникновенно читал он и колено-преклоненные молитвы на вечерне в день Пятидесятницы. Это мои тогдашние чувства. Впоследствии мое отношение к о. Сергию изменилось и многое в нем стало для меня неприемлемым.

О Тернавцеве я до того ничего не знал, и даже имя его мне было неизвестно. Тернавцев окончил Петербургскую духовную академию, но не принял священства и занимал маленькую должность при Синоде (см. о нем Н. Зернов "The Russian Religious Renaissance of the Twentieth Century", pp. 90-93.)

Необычайно талантливый человек Тернавцев верил в будущее установление Христом Царствия Божия на земле. У него было вдохновение пророка — он обличал интеллигенцию за безверие, а церковь — за замыкание в самой себе и невнимание к язвам социальной жизни. Тернавцев выдвинулся на религиозно-философских собраниях, происходивших в Петер-

бурге в 1901-1903 годах. Он открыл первое такое собрание своим докладом «Интеллигенция и Церковь». Я, конечно, по молодости лет в этих собраниях не мог бы участвовать. Позже о них слышал, но как раз о Тернавцеве не слышал. Ввиду этого первое выступление Тернавцева в Симферополе (кажется именно на эту тему — Интеллигенция и Церковь) произвело на меня, можно сказать, потрясающее впечатление. После того он выступал на каждом собрании, иногда с докладами, иногда с замечаниями по поводу докладов других участников. Каждое его слово было проникновенно. Сколько помню, он уехал из Крыма за несколько месяцев до эвакуации.

Среди участников религиозно-философских собраний было несколько консервативно настроенных (в церковном смысле) людей, которые не одобряли новые течения церковной мысли. Профессор Кадлубовский, знаток церковных служб, был только раз на служении о. Сергия Булгакова и больше не ходил — считал его служение истерическим. Пророческий дух Тернавцева для Кадлубовского тоже был неприемлем. Среди других противников новизны выделялся один замечательный протоиерей (кажется кафедрального собора). К сожалению, не могу сейчас вспомнить его имя и фамилию (хотя я довольно хорошо его знал и очень уважал). Я почти уверен, что его звали о. Федор. Он был высокого роста, крепкого сложения. Большая красивая голова в форме удлиненного куба, звучный приятный голос. Очень образованный человек, хороший проповедник, величаво вел церковные службы. По всем отзывам, которые я слышал о нем, он был очень достойный пастырь. Вспоминаю, как на одном из религиозно-философских собраний о. Сергей Булгаков прочел доклад о св. мощах. Это было время, когда большевики назначили специальную комиссию (в порядке их антирелигиозной пропаганды), чтобы обследовать мощи святых, для чего вскрывали гроба с ними. Потом в газетах печатались отчеты, что никаких нетленных мощей не сохранилось и что все это был обман. Такими поступками большевики вызывали негодование верующих, но вместе с тем многих и смущали. Вероятно чтобы рассеять это смущение о. Сергей и написал свой доклад. Сколько помню он говорил, что не надо понимать мощи как нечто материальное.

Когда началось обсуждение доклада, о. Федор (назову его условно так) сказал: «С докладом о. Сергия согласиться

не могу. Мы знаем, что мощи не суть непременно доказательство святости угодника. От очень многих святых мощей не осталось. Но от некоторых остались. Мощи суть мощи, и никакие умственные хитросплетения о. Сергия не могут этого изменить».

Кроме религиозно-философских собраний в Симферополе довольно часто читались публичные лекции приехавшими лекторами. Помню лекцию писателя Евгения Чирикова на тему о новых течениях в русской литературе. Мы с Ниной поднесли ему букет цветов. Он, видимо, был растроган, и говорил: «Вы такие молодые, такие милые».

Летом 1919 г. ввиду успешного положения на фронте появилась надежда, почти уверенность, что большевицкому засилью подходит конец. В связи с этим мне захотелось закончить устройство участка земли, который моя мать купила в 1916 г. к югу от Севастополя в Баты-Лимане. Это было кооперативное предприятие, в котором приняло участие много политических и общественных деятелей (например, Милюков), профессоров, писателей, художников (Билибин), адвокатов и других. Совместно куплен был, кажется, у миллионеров Ушковых, незастроенный склон горы к морю и побережье. Купленная земля была затем разбита на участки, проведены улицы и начаты постройки небольших домов. К 1919 г. некоторые из домов были готовы, но на многих участках, в том числе и на нашем, дома остались недостроенными. Дома были расположены в три яруса. Наиболее желательными считались участки у самого моря. Они были самые маленькие по размеру. Участки среднего яруса были побольше, верхнего — самые большие. Наша дача была в среднем ярусе. Кажется все участки были в одной цене. Дома были разного размера, но все были из одного материала — из камней на цементе. Чтобы добраться туда из Симферополя надо было ехать в поезде (всегда набитом битком) до Севастополя. Оттуда можно было нанять извозчика до Баты-Лимана, но я почти всегда ходил пешком (верст 12). В это лето дачников в Баты-Лимане было очень мало — две-три семьи в верхнем ярусе и столько же у моря. В средний ярус, сколько помню, в это время никто кроме меня не приезжал. У моря жил художник Билибин, с которым я познакомился и довольно часто у него бывал. Познакомился я и с молодой художницей Людмилой Евгеньевной Чириковой,

дочерью писателя Чирикова. Много позже в Америке и Нина и я очень подружились с ней и с ее мужем Борисом Николаевичем Шнитниковым, с которым мы когда-то встречались еще в Петербурге.

Приезжал я в Баты-Лиман дня на два, но не каждую неделю. По совету старожиллов я сговорился насчет завершения нашего дома с греком Кирьяком, жившим в соседней деревушке. Его главная задача была отделать начисто стены и крышу и построить цистерну для сбора дождевой воды — насчет пресной воды в Баты-Лимане было скудно.

Приходя на работу, Кирьяк приносил себе кое-какую еду и для меня — за плату — хлеба и яиц. Приносил и две бутылки питьевой воды. Платил я ему за работу по часам. Дело подвигалось медленно, но все же подвигалось. Вспоминаю свои поездки в Баты-Лиман с удовольствием. После катастрофы Добровольческой армии зимой 1919/20 года о мирном строительстве уже нельзя было думать. Я больше в Баты-Лиман не ездил и домик наш остался недостроенным.

В августе 1919 г. Добровольческая армия овладела Киевом. В связи с этим мой отец поехал в Ростов, где находилось правительство генерала Деникина, чтобы урегулировать положение Украинской академии и добиться кредитов на ее содержание. Все было ему обещано и он вернулся в Киев.

В октябре передовой отряд армии занял Орел. Москва казалась уже достижимой. Но тут начался перелом. В тылу у армии начались крестьянские восстания. Деникинское правительство не признало происшедшего при большевиках передела земли между крестьянами и восстанавливало помещичьи имения. К тому времени крестьяне готовы были восстать против большевиков, так как те, раздав землю крестьянам, фактически лишили их права распоряжаться урожаем, платя за него низкие цены. Во многих местах поэтому крестьяне ждали с надеждой прихода белых. Но когда белые стали отбирать у крестьян бывшую помещичью землю, крестьяне обратились и против них. К тому же в Добровольческой армии начало проявляться разложение. Благодаря быстрому продвижению армии интендантство не справлялось с обеспечением ее одеждой и продовольствием и многие офицеры и солдаты начали получать все «от благодарного населения» — т.е. попросту говоря грабить. Особенно, говорят, этим отличались казаки.

Началось катастрофическое отступление Добровольческой армии по всему фронту. Главная часть ее отошла по направлению к Ростову и потом Новороссийску. Красные следовали по пятам отступавших добровольцев. Они заняли и Северную Таврию, но в Крым тогда еще не проникли. Их успешно отбивал добровольческий отряд под начальством генерала Слащева, наркомана и самодура, но храброго воина.

Умственная жизнь в Симферополе в это хмурое время однако не заглохла. Помню наше яркое впечатление от лекции Максимилиана Волошина. Он читал многие из своих стихотворений последнего времени. Если память мне не изменяет, среди них он декламировал (мерно гудел) свой отклик на октябрьскую революцию:

«С Россией кончено... На последях ее мы прогальдели,
проболтали, пролузгали, пропили, проплевали,
замыгали на разных площадях,
распродали на улицах; «не надоль кому земли,
республик, да свобод, гражданских прав? И
родину народ сам выволок на гноище как падаль».

Волошин в это время мечтал о «третьей силе», которая оставила бы взаимное самоистребление. В симферопольской газете он напечатал на эту тему статью под заглавием «Вся власть патриарху». Живописна была внешность Волошина. Он был невысокого роста, но плотный, густая борода. Одет в плащ-размахайку, короткие штаны и гетры. После лекции мы с ним довольно долго говорили.

Опасным стало и положение Киева. Моя мать и сестра решили переехать в Полтаву (это и многое дальше — по воспоминаниям сестры). Отец, так как обещанные Украинской академии деньги не приходили, поехал вторично в Ростов (через Харьков).

Вскоре моей матери и сестре пришлось эвакуироваться из Полтавы в Новороссийск. На узловой станции Лозовая их поезд задержали на некоторое время. На путях столпилось много поездов. Мать и сестра, как и большинство пассажиров, вышли из вагонов. Многие неожиданно встретили своих знакомых. Сестра моя встретила знакомого инженера, который сказал ей, что отец ее в поезде по соседству. Это было прямо чудо. Мать и сестра бросились туда. Проведя вместе короткие

минуты, они разошлись по своим поездкам. Из Новороссийска мать и сестра выехали в Ялту на пароходе «Ксения». Была страшная буря. Все кроме них лежали, страдая морской болезнью. Как потом оказалось, это было «моретрясение» (трясение моря от колебаний морского дна).

После приезда в Ялту мать и сестра сначала поселились в Гаспре у Михаила Ивановича Петрунkevича, где вся семья радушно их приняла.

Через несколько дней ночью в Гаспре сестра моя проснулась от жуткого гула и разбудила мать. Та ответила: «Спи спокойно, это просто землетрясение». Мать наша родилась на Кавказе и провела там первые 16 лет своей жизни, так что к землетрясениям привыкла. Недели через две мать и сестра переехали к Соне Бакуниной (рожденной Любошинской), племяннице матери (а моей и моей сестры двоюродной сестре). Соня с двумя мальчиками жила недалеко от Ялты в имении «Горная щель». Имение это раньше принадлежало дяде Соениного мужа (Михаила Алексеевича Бакунина) философу-гегельянцу Павлу Александровичу Бакунину, а после его смерти — его вдове. Та, перед смертью, завещала «Горную щель» Михаилу Алексеевичу. Михаил Алексеевич был офицером Добровольческой армии и состоял при штабе генерала Кутепова.

Отец между тем застрял в Ростове, так как железнодорожное сообщение с Киевом было уже прервано. Он решил вернуться в Киев кружным путем через Новороссийск и Крым. В начале января 1920 года ему удалось сесть в Новороссийске на пароход, шедший в Севастополь через Ялту. Мать и сестра знали о его намерении и каждый день выходили на пристань встречать пароходы из Новороссийска. Наконец, в одно утро они его встретили и он с ними поселился в «Горной щели». Скоро обнаружилось, что на пароходе он набрался вшей (в Новороссийске свирепствовал сыпной тиф).

Недели через две я получил телеграмму от матери, что отец заболел сыпным тифом и положение его очень опасно. Я нанял парный фаэтон и выехал из Симферополя в Ялту. Проехал верст двадцать — вдруг застава — несколько добровольческих офицеров и солдат. Не пропускают никаких экипажей. Я сказал им, что спешу к опасно больному отцу, но они все равно не пропустили. Тогда я спросил: «А если я

пойду пешком, пропустите?» «Пожалуйста». Тогда я расплатился с извозчиком и отпустил его. Это был так называемый бунт капитана Орлова — группы энергичных молодых офицеров, возмущенных нераспорядительностью и растерянностью командующих генералов. (Бунт этот был довольно скоро ликвидирован благодаря посредничеству генерала Врангеля (см. Записки ген. Врангеля, часть 1, стр. 289-294, 299, 300)). Когда я приехал в «Горную щель» кризис болезни отца уже миновал, но он был еще очень слаб. Соня Бакунина проявила необыкновенное мужество и спокойствие держа у себя дома (а с ней были два ее мальчика Алеша и Сашко) тифозного больного — правда, это был ее горячо любимый «дядя Владимир». Для меня радостно было повидать и отца и мать с сестрой и Соню. Побыв в «Щели» два-три дня, я вернулся в Симферополь на арбе. Когда отец совсем выздоровел, он с моей матерью и сестрой переехал в экспериментальную ботаническую станцию (во главе ее стоял С. Мокржецкий) «Салгирка» недалеко от Симферополя. Им там отвели флигель для житья. Через некоторое время отец был избран профессором Таврического университета, но продолжал жить в Салгирке до осени.

В феврале и марте 1920 года остатки Добровольческой армии и казачьих войск эвакуировались в Крым. Потрясенные катастрофой офицеры и солдаты превратились в озлобленную беспорядочную толпу. Деникин потерял всякий авторитет. Военный Совет Армии, собравшийся в Севастополе 22 марта, избрал новым главнокомандующим генерала Врангеля. После этого последним своим приказом Деникин назначил Врангеля своим преемником и уехал в Константинополь.

Врангелю пришлось начать свою деятельность в хаотической обстановке разложения и интриг и в армии и в администрации. И тут произошло чудо. В течение нескольких недель новому главнокомандующему и «правителю Юга России» удалось водворить порядок и дисциплину и воссоздать армию. Из «Добровольческой» армия была переименована в «Вооруженные силы Юга России». Врангель назначил своим помощником по гражданской части Александра Васильевича Кривошеина, выдающегося государственного деятеля, опытного администратора, бывшего при Столыпине начальником главного управления земледелия и землеустройства. Министром иностранных дел был назначен П. Б. Струве. В мае 1920 г. Поль-

ша объявила войну Советской России. Поляки заняли Киев. Франция поддерживала Польшу дипломатически. Врангель послал П. Б. Струве в Париж для переговоров с французским правительством о помощи против красных. Франция признала правительство Врангеля де факто. Это казалось большим дипломатическим успехом, но по существу дела французы были заинтересованы главным образом в том, чтобы отвлечь часть большевицких сил от борьбы с Польшей.

В конце мая преобразованная Врангелем армия начала успешное наступление на север. В июне была занята Северная Таврия. Одновременно Кривошеин начал проводить ряд социальных и экономических реформ, из которых самая важная была земельная. Все земли годные к обработке, казенные и частновладельческие, были переданы хозяевам-землепашцам в собственность. Если бы подобный закон был в свое время проведен правительством Деникина, то весьма возможно, что Белая армия победила бы в гражданской войне. Сейчас шансов на победу оставалось мало — силы уже стали слишком неравны. С военной точки зрения благоприятным обстоятельством было, что главные свои силы большевикам пришлось направить против Польши. Энергичная политика Врангеля и Кривошеина внесла некоторую уверенность в настроение населения, но такого энтузиазма как в разгар победоносного наступления Добровольческой армии в 1919 г. уже быть не могло. Характерно, что молодежь охвачена была разочарованием — это проявилось и у мальчиков Васильевых. Многие из молодежи (как и некоторые взрослые) перенесли свои надежды на восстановление монархии. В какое-то из воскресений большая толпа гимназистов (в том числе Васильевы) после обедни собрались на площадь перед собором, чтобы выбрать царя. Почему-то выбрали князя Никиту Александровича (сына великого князя Александра Михайловича). Кажется он незадолго перед тем приезжал в Крым.

В середине сентября в правительстве Врангеля освободилась должность начальника отдела печати. И Врангель и Кривошеин были неудовлетворены деятельностью Г. В. Немировича-Данченко, занимавшего эту должность. (см. Воспоминания Врангеля, ч. II, стр. 197-199). По совету П. Б. Струве Кривошеин решил предложить эту должность мне. (Я об этом предварительно не был уведомлен). 20 сентября Врангель возвра-

шался из Мелитополя в Севастополь и заранее распорядился, чтобы губернатор Ладыженский вызвал Вернадского на вокзал для следования в поезде Врангеля в Севастополь для переговоров. Произошло недоразумение, которое выяснилось только во дворце Врангеля в Севастополе. Вместо меня Ладыженский вызвал моего отца. Он, конечно, отказался. Врангель тогда вызвал меня и на следующий день я выехал к нему в Севастополь. Перед отъездом я советовался с отцом, он посоветовал мне согласиться.

В 1921 году в Афинах я получил письмо из Петрограда от Льва Александровича Оболянинова (Лельки, друга моего отца по студенчеству, члена Братства «Приютино»), порицавшего меня за то что я, сын Владимира Ивановича Вернадского, согласился быть «цензором» у Врангеля и тем опозорил свое имя. Я не мог написать Оболянинову, что я принял должность начальника отдела печати по совету отца — отец мой был в это время в Петрограде. Да если бы я и написал Оболянинову, даже не упоминая отца, свои доводы, такое «контрреволюционное» письмо могло бы доставить не только моему отцу, но и самому «Лельке» крупные неприятности. Я не ответил ему.

Приехав в Севастополь, я сразу явился во дворец Врангеля и представился ему. Уже по первому впечатлению Петр Николаевич Врангель произвел на меня впечатление человека выдающегося — каким он и был. Он происходил из военной семьи, по образованию был горный инженер, что сближало его с людьми науки и техники. Уж самой внешностью он imponировал людям — высокого роста, стройный и подтянутый. В нем была смелость и быстрота соображения и вместе с тем способность к пониманию реальной обстановки и обдумыванию заранее необходимых мероприятий на случай перемены этой обстановки.

Я сказал Врангелю, что готов принять должность начальника отдела печати на известных условиях. Врангель тогда поручил Кривошеину договориться со мной. О Кривошеине я раньше в Петербурге слышал очень хорошие отзывы, но лично его не знал. Теперь я сразу оценил его умение быстро вникнуть в самое существо каждого рассматриваемого вопроса. Не помню, присутствовал ли при нашем разговоре П. Б. Струве или я потом с ним отдельно говорил.

Я поставил следующие условия, на которых я готов принять должность: 1) Я остаюсь профессором Таврического университета и буду раз в неделю ездить в Симферополь читать курс лекций. 2) Подготовка намеченного на 30 октября съезда деятелей печати должна быть произведена при моем ближайшем участии. 3) В отделе печати мне предоставляется выбор моего помощника — человека, которого я хорошо знаю и которому вполне могу доверять. Таковым я назвал Н. А. Цурикова.

Все мои условия были приняты Кривошеинным без возражений. От службы в Украинском кооперативе я тогда конечно отказался. Цуриков был офицером (не могу вспомнить в каком чине). По распоряжению Врангеля он был прикомандирован к отделу печати. Его помощь была для меня неоценима. Он сидел со мной в моем кабинете. Мы с ним советовались и по текущим вопросам и по общей политике в отношении печати. Кроме того, он мне очень помогал в приеме посетителей. Среди них бывало очень много военных, включая генералов, приходивших для осведомления и за справками всякого рода. Как невоенный человек, я плохо разбирался в чинах — Николай Александрович мне сразу подсказывал, как к кому обращаться (обращение для меня было установлено — «господин генерал», «господин полковник». Н. А. как офицер говорил «ваше превосходительство», «ваше высокопревосходительство»). Приходило, конечно, много деятелей печати. Почти все они понимали трудность положения и соответственно сами себя ограничивали в своих газетных писаниях в отношении острых политических и военных вопросов. Отношения у меня установились в общем хорошие.

Правителем канцелярии отдела печати был немолодой петербургский чиновник, искушенный в тонкостях канцелярщины, видимо интриган, в глубине души презиравший неопытного нового начальника (меня), но внешне очень почтительный. Фамилию не помню.

Мои друзья и коллеги по университету отнеслись к моему назначению различно. Многие сочувствовали, но некоторые жалели, что я таким образом отвлекаюсь от науки и преподавания.

В Севастополе очень трудно было найти помещение. Сначала нам с Ниной отвели большой пустой зал в гостинице

Кист (когда то считавшейся лучшей в Севастополе). Не помню, почему эта гостиница не была до тех пор использована для разрешения квартирного вопроса. Кажется в ней поместили склады продовольствия, угля и т.д. Кроме нас и сторожа там никто не жил. В зале, которую нам отвели, стояло несколько столов и скамеек. Для нас поставили две кровати и ширмы. Привезенные нами вещи мы держали в корзинах и чемоданах. Было пустынно и неуютно. В первую же ночь обнаружилось еще одно неудобство — по полу бегали стаи крыс (которых Нина всегда панически боялась). Через несколько дней для нас реквизировали большую комнату в доме каких-то богатых армян дельцов. Они конечно встретили нас не очень любезно, но так как знали что все равно к ним кого-нибудь вселят, то примирились с нашим вселением.

В Севастополе в это время жил мой дядя Георгий Егорович Старицкий и тетя Нина Георгиевна (так она сама себя и все ее звали вместо «Егоровна») Жедринская с мужем Иваном Александровичем и дочерью Марией (Мурочкой). Мы конечно часто виделись. Кажется в это время мы познакомились с молодым блестящим офицером Владимиром Герасимовичем Терентьевым, другом М. М. Карповича (Карпович был в это время уже в Америке). Терентьев кончил Московский университет на год позже Карповича и на два года позже меня. В Москве я его не встречал, но слышал о нем от Карповича.

С Кривошеиным я часто виделся по делам Отдела печати. У нас, несмотря на разницу лет, установились, можно сказать, дружеские отношения. Вероятно изредка по совету Кривошеина виделся я по делам и с Врангелем.

Кроме того, виделся я с ним и его супругой Ольгой Михайловной на приемах, которые они время от времени у себя устраивали. Туда приглашались (с женами) члены правительства и высшей военной и гражданской администрации, епископ Вениамин и некоторые другие духовные лица, некоторые профессора, общественные деятели, промышленники, инженеры и т.д. Сколько помню, приемы обыкновенно бывали днем (подавался чай и закуски — вероятно и вина и фрукты — не помню уже). Разговоры обыкновенно были оживленные. Острых политических и военных вопросов избегали.

В конце сентября поляки, под руководством французского

генерала Вейганда, разбили армию Тухачевского под Варшавой. Большевикам пришлось отступать по всей линии. 28 сентября между Польшей и Советской Россией заключено было перемирие. Красное командование тогда бросило все силы на Крым. Положение создалось грозное. Надежда на поголовное восстание казаков против большевиков не оправдалась. Оставалась надежда на Францию. И эта надежда не оправдалась. Врангель был нужен французскому правительству пока Польша воевала с большевиками. Чтобы поддержать Врангеля Франции нужно было бы послать в Крым значительные военные силы. На это французское правительство не решалось, да и для французского общественного мнения это было бы неприемлемо. При таких условиях неизбежна была эвакуация. План эвакуации армии Врангель предусмотрительно разработал еще в самом начале своего правления. Теперь надо было спешно привести его в исполнение.

Общий тоннаж русского флота в Крыму (достаточный для перевозки почти 130.000 человек) был распределен по пяти портам (Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь и Евпатория). 28 октября утром Врангель принял французского верховного комиссара графа де Мартеля и представителей других иностранных миссий и просил их снестись с их правительствами, чтобы они оказали возможную помощь присылкой дополнительных судов. Днем Врангель созвал представителей русской и иностранной печати и ознакомил их с создавшимся положением. На следующий день (29 октября) все военные и административные учреждения стали готовиться к погрузке. Персонал отдела печати был назначен к посадке на старый транспорт «Рион». Я выдавал всем членам отдела и некоторым лицам, так или иначе связанным с отделом (литераторы и другие) свидетельства на посадку. Цуриков помогал разговаривать с посетителями. Правитель канцелярии укладывал часть «дел» и сжигал секретные и ненужные бумаги. Должен сказать, что по указанию правительства в это утро (29 октября) начальникам и служащим учреждений еще не разрешено было официально сообщать посторонним посетителям об эвакуации. Это распоряжение было отменено среди дня. Поэтому когда ко мне утром зашел журналист Окунь (кажется его фамилия была Окунь, а не Окунев), я не счел себя в праве ему сказать об эвакуации, сказал только «приходите позже». Он больше

не пришел. Я не знаю, удалось ли ему уехать. Вряд ли. У меня потом были угрызения совести. Это одно из тяжелых воспоминаний моей жизни.

В этот последний вечер нашего пребывания в Севастополе мы с Ниной уложили самые необходимые вещи, надо было брать с собой минимум. Хозяева дома армяне очевидно не собирались эвакуироваться — чуть не всю ночь из их комнат слышались веселые крики, пение «Пей до дна, пей до дна» — видимо шел пир горой и пьянство.

30 октября была погрузка на пароход. Цуриков заранее подобрал подходящую по духу компанию известных ему лиц, сговорившись, что мы усядемся вместе и будем держаться вместе во время переезда. Цуриков правильно рассчитал, что иначе при неизбежной скученности можно затеряться в толпе или попасть в близкое соседство с весьма неприятными личностями. Кружок, подобранный Цуриковым, кроме него самого и нас, состоял из следующих лиц: Юрий Сергеевич Арсеньев, знакомый Цурикова еще по Москве, Валериан Валерианович Лашкевич, очень милый молодой караим садовод Бобович (племянник С. С. Крыма) и харьковский присяжный поверенный Валленбургер, веселый и неунывающий человек. Всего восемь человек. Утром 30 октября Цуриков пришел за нами со своими вещами, мы наняли какого-то человека с тачкой, погрузили вещи. По дороге кто-то сказал, что, так как русские бумажные деньги не имеют цены за границей, надо постараться захватить хоть какие-то продукты. Помню, где-то даром выдавали небольшие мешки сахарного песка. Мы взяли два. Пока мы стояли у пристани и ждали нашей очереди посадки, к Нине подошла очень милая незнакомая женщина и подарила Нине маленького размера русское Евангелие (синодального издания). — «Вот примите от меня на дорогу, пусть Евангелие Вам сопутствует». Это Евангелие и сейчас у нас. Разместились мы кружком на палубе (по левому борту), — под крышей и вместе с тем на свежем воздухе. «Рион» вышел в море под вечер (сколько помню). Погода была идеальная, море совершенно спокойное. Нина была единственной женщиной в нашей компании и ее выбрали хозяйкой. Провизию выдавали от заведующего хозяйственной частью парохода. Выдавали скудно. Главным образом консервные банки (английские или американские). На «обед» на всех была банка соло-

нины. Цуриков делил эту банку, стараясь всем давать поровну. Можно было доставать кипяток. Выдавалось и по куску хлеба на каждого на каждую еду. «Рион» был рассчитан на гораздо меньшее число пассажиров чем фактически на него было посажено. Из-за переполнения было много неудобств. Одно из самых неприятных было пользование уборными.

Приблизительно на полпути до Босфора кончился уголь и «Рион» остановился. К счастью погода была тихая. Через несколько часов подошел один из русских миноносцев и поделился частью своего угля. Все здоровые пассажиры мужчины (кроме стариков) (и я конечно) помогали грузить уголь. Пошли дальше, но угля до Босфора не хватило. Через несколько часов пришел американский крейсер и взял нас на буксир. К сожалению, не помню его названия. На Босфор, сколько помню, «Рион» пришел поздно вечером. Никого из пассажиров на берег не пускали. На следующее утро перед нашими глазами развернулась красочная картина Босфора, усеянного судами всевозможного вида. К «Риону» подошел французский пароход и привез провизии и питьевой воды. Кажется к вечеру по распоряжению Врангеля меня, Нину и Цурикова сняли с парохода. Для начала отвели нам места на полу в большом зале русского посольства, переполненного уже беженцами. Таким образом мы всё еще были в России.

Врангель вызвал меня к себе. Я вкратце доложил о ликвидации Отдела печати. Этим моя служба кончилась. Врангель распорядился, чтобы мне из казначейства выдали 100 ам. долларов. Кажется я не ошибаюсь, что это были американские долл., а не турецкие лиры. Через несколько дней я простился и с Врангелем и с Кривошеиным с глубоким чувством уважения к ним обоим. (Генерал Врангель умер в Брюсселе в 1928 году, Ольга Михайловна Врангель — в Америке в 1968 году, А. В. Кривошеин — в Париже в 1921 году.) Сотни тысяч русских людей были в эту пору выброшены событиями из родной страны. Как и всем, нам с Ниной предстояла теперь борьба за существование на чужбине.

Г. В. Вернадский

ПИСЬМА И. БУНИНА К Л. ЗУРОВУ

(ПУБЛИКАЦИЯ МИЛИЦЫ ГРИН)

Мы то лето проводили в имении «Жоготы» (Латгалия). Со дня на день ожидался приезд уже известного в Прибалтике молодого писателя, друга сына владельцев имения. Зуров приехал с русской границы, с мест, находившихся в тогдашней Латвии, но откуда видны были его родные земли — горячо любимый им Остров, где он родился, где воспитывался бабушкой, рано потеряв мать. Его приезд сразу же внес оживление в нашу жизнь — начались далекие прогулки, посещение крестьянских «ярмонок» и «гулянок».

Зуров был полон надежд на будущее. Автор «Кадета» и «Отчины» он уже был широко известен среди русской читающей публики. Его признала не только местная печать, помещавшая похвальные отзывы о его книгах, но — и это главное — сам «Державин нас заметил». А стихотворения Бунина Зуров знал наизусть и высоко читл его прозу.

*Леонид Федорович передал мне дорогие для него ранние письма Ивана Алексеевича, с которыми я теперь, после смерти Зурова, хочу познакомить читателя.**

М. Г.

7-ХІІ-1928

Вилла Бельведер, Грасс.

Очень занят, только теперь прочел Вашу книжку — и с большой радостью. Очень, очень много хорошего, а местами прямо прекрасного. Много получаю произведений молодых писателей — и не могу читать: всё как будто честь честью, а на деле всё «подделки под художество» как говорил Толстой. У Вас же основа настоящая. Кое-где портит дело излишество подробностей, излишняя живописность, не везде чист и прост язык, не нравятся мне такие слова как «сарь», «гармонь», «тяжелое тело города» и т.п. Да все это, Бог даст, пропадет, если только Вы будете (и можете) работать.

Кто Вы? Сколько Вам лет? Что Вы делаете? Давно ли

* Привожу письма в точности и полностью, изменив только орфографию.

пишете? Какие у Вас планы? Напишите мне, если можно, короткое, но точное письмо. Пришлите маленькую карточку.

От души желаю Вам успеха.

Простите, что пишу без обращения — не знаю Вашего отчества.

Ив. Бунин

9-III-29

1, Рю Жак Оффенбах, Париж, 16.

Милый Леонид Федорович, Слава Богу, рука у меня оказалась легкая: нынче о Вас сразу два фельетона (и даже немножко местами пристрастные). Порадуйтесь им — и тотчас же постарайтесь о них забыть, чтобы по прежнему, не спеша и не переоценивая своих молодых сил, еще весьма нуждающихся в развитии всяческом, работать только над тем, чего Ваша душа просит, а не над тем, что могут похвалить. По этому поводу написал бы Вам, м.б., полнее, да думаю, что Вы и так поймете меня; кроме того чувствую себя весьма слабо: нынче в первый раз поднялся с постели после семидневного гриппа.

Целую Вас и желаю всего доброго. Спасибо за вырезку, которую Вы прислали мне в январе (мой портрет в «Бирж. Вед.)

Любящий Вас Ив. Бунин

8 Авг. 1929 г.

Вилла Бельведер, Грасс.

Дорогой Леонид Федорович,

Уже давно думаю вот что: хорошо ли Вам сидеть весь век в провинции? Не следует ли пожить в Париже? Вы почти в России и возле России настоящей — все это прекрасно, да не достаточно ли (до поры до времени)? Не пора ли расширить круг наблюдений, впечатлений и прочая, прочая? Нужды Вы, повидимому, не боитесь, работы, даже черной, тоже, да и не все ли равно, где именно терпеть и то, и другое? Следовательно: почему бы Вам не переехать в этот самый Париж?

Визу достанем. Все дело в подъемных, в средствах на переезд. Но думаю, что и тут кое-что сделаем: выхлопочем, например, небольшую сумму из Парижского «Комитета помощи писателям»... Подумайте об этом и напишите мне. Напишите и о том, что пишете, и что думаете делать с написанным, если таковое имеется.

Ваш Ив. Бунин

(На полях приписано:) 9 Авг. Как нарочно — сейчас Ваше письмо к Гал. Ник.¹ Оно еще более утверждает меня в моей (вероятно «моих» М. Г.) мыслях насчет Вас.

2 октября 1929 г.

Вилла Бельведер, Грасс.

Милый Леонид Федорович, из Вашего письма ко мне заключил, что Вы и хотите приехать в Париж, и немножко побавиваетесь: как я, мол, там устроюсь, как буду обходиться без языка и пр. Заключение мое, м.б. и неправильно, но все таки хочу Вам сказать: не бойтесь! Язык — вздор, множество не знающих его все таки устроились в Париже, работают и т.д. Устройтесь и Вы, работу тоже найдете, надеюсь, — мы, по крайней мере, приложим к тому все усилия. А главное — в молодости *все*² полезно, даже всякие передрыги. В молодости нужно рисковать.

Из письма же Вашего к Гале узнал, что Вы приблизительно на днях (т.е. числа 10-го окт.) кончаете свою черную работу³ и садитесь приблизительно на месяц за работу литературную. Но не проживете ли Вы за этот месяц все свои сбережения? А если так, что же у Вас останется в кармане на дорогу и на первое время, на первые дни в Париже? Вообще очень жалею, что не знаю точно состояние Вашей «кассы» и прошу: немедленно напишите мне (если можно, письмом *экспрессом*) о Ваших денежных делах и соображениях с полной откровенностью. Затем: напишите, *когда именно* выходит Ваш грузовой пароход? Точно ли установлена дата этого выхода, или она может и изменена быть (как нередко случается это с грузовиками) — и *сколько времени* будете Вы в пути до Руана? Все это мне нужно знать в силу нескольких причин. Между прочим и потому, чтобы сообразить, к какому именно сроку нужно выхлопотать Вам хоть малую толику денег из «Комитета помощи писателям».

Я написал о Вас Кириллу Иосифовичу Зайцеву — т.е. о том, чтобы он взял на себя устройство Вам визы и вообще вступил с Вами в переписку на счет всего этого дела Вашего приезда во Францию. Он долго не отвечал, и я подумал: не

¹ Галина Николаевна Кузнецова.

² Это слово два раза подчеркнуто.

³ Зуров тогда работал в Рижской гавани.

лучше ли обратиться к более энергичному и быстрому человеку? — и написал вчера некоему Владимиру Феофиловичу Зеелеру, служащему в Парижском «Земгоре». А нынче получил от Зайцева письмо, что он в эту переписку уже вступил с Вами. Что ж, может быть, на нем и остановимся. Но подчеркиваю: может быть. И посему ставлю Вас в известность на счет Зеелера.

И еще вопрос: знаете ли Вы, что человек *просто* приехавший во Францию не имеет права на работу (во всяком случае в Париже) и что, стало быть, надо получить визу *с правом на работу* (без чего не берут, например, на фабрики)? Может быть, это относится *только* к фабрикам, а не к частной работе, — например, малярной.⁴ Но *на всякий случай* ставлю Вас в известность и на этот счет. На всякий, повторяю, случай имейте и *это* в виду при Вашей переписке с Зайцевым или Зеелером.

На днях напишу Вам точно — кто именно будет «вести» Ваше дело — Зайцев или Зеелер.

Пока до свидания. Ответьте же мне скорее.

Ваш Ив. Бунин

6 Окт. 29 г.

Вилла Бельведер, Грасс.

Милый Леонид Федорович, посылаю Вам письмо Владимира Феофиловича Зеелера,⁵ которое я получил нынче. Вы увидите из него, какой оборот принимает дело. Зеелер пишет, чтобы я решил, как же поступить. Но я и ему, и Вам пишу: решить должны Вы сами. Я же могу высказать только свое мнение: по моему история с контрактом — дело затяжное и Вам не подходящее. Вам нужна жизнь в Париже, возле Парижа, а тут что же выходит? Кабала, глушь, шахты или леса... Я бы на Вашем месте пошел бы на риск — просто добыл бы себе через Зеелера визу на въезд и приехал бы, а там посмотрел бы, что Бог даст. А может быть и нашли бы какую-нибудь частную (т.е. не требующую санкции Министерства Труда) работу? А то может быть получили бы *впоследствии* и закон-

⁴ Зуров, в свое время, красил один из Рижских кинематографов.

⁵ Приложено письмо В. Зеелера в котором, между прочим, указывается на возможность получить контракт на работу на заводе, либо на горные, дорожные или лесные работы. В этом месте, на полях рукой Бунина написано: «Это, по моему, никуда не годится».

ное право работать где угодно и что угодно? Ведь сам же Зеелер пишет, что это «не невозможно», хотя и очень трудно. Повторяю — решите рискнуть, выхлопочите визу только на въезд во Францию — и приезжайте на первое время к нам в Грасс. Почти все шансы за то, что мы пробудем здесь до 1 января. Вот Вы и поживете с нами. т.е. в гостях у нас, некоторое время, отдохнете, поработаете литературно, а затем поедете в Париж и будете искать там устроить себя как-нибудь. А может быть Вам и повезет? Если же не повезет, — ну что ж, уедете опять в Ригу, только и всего. А некоторую денежную помощь, еще раз говорю, мы Вам непременно устроим.

Таков мой план. Во всяком случае я Вас *очень* прошу не отказываться от нашего приглашения приехать в Грасс, если вообще решите ехать во Францию, — т.е. не спорить со мной, не церемониться и т.д. — Напишите мне и Зеелеру свое решение.

Будьте пока здоровы и благополучны. Все Вам кланяемся Ваш Ив. Бунин.

P. S. Кирилл Иосифович Зайцев пишет мне, что он готов вместе с Зеелером хлопотать за Вас. Напишите и Зайцеву.

10 Окт. 29.

Дорогой Леонид Федорович, получил Ваше письмо от 7 Окт. Не знаю, как Вы решите дело *после того*, как получите мое последнее письмо, посланное Вам мною на днях вместе с письмом Зеелера. Но так как возможно, что даже и оно не остановит Вас все таки «рискнуть», т.е. поехать во Францию, — а я лично продолжаю думать, что рискнуть *следует*, то посылаю Вам шестьсот франков: Вы возвратите мне их, когда, по приезде во Францию, получите пособие из «Комитета помощи писателям» или заработаете что-нибудь, словом, когда будете иметь возможность к тому (при чем, конечно, Вы сможете возвращать мне их по частям). Думаю, что без этих денег Вам слишком будет трудно выбраться. Кроме того, твердо повторяю наше приглашение: приезжайте на первое время к нам. «Это Вам сделает хорошо», как говорят французы, *во всех отношениях* — между прочим и в том, что от нас Вы многое узнаете о Париже, будете иметь некоторое представле-

ние о нем, прежде чем явиться в него. Что до путешествия на пароходе, то мне это дело не очень нравится: когда-то он еще будет, а главное — *сколько времени* будет Вы на нем мотаться до Руана! Может быть *теперь* (т.е. имея в кармане эти 600 фр.) Вам хватит на проезд по железной дороге?

Итак, надеюсь до свидания. Во всяком случае решайте что-нибудь и сноситься с Зеелером *поскорее*, дабы не *прожиться* в Риге даром и пораньше застать нас в Грассе (имеющем для Вас, повторяю, то преимущество, что Вы сможете в нем спокойно поработать литературно).

Ваш Ив. Бунин

25. X. 29

Получил нынче, милый Леонид Федорович, Ваше письмо от 21 окт. Очень рад, что дело наконец тронулось. Нынче-же получил письмо и от Зеелера на счет Вас — пишет, что будет стараться достать Вам визу возможно скорее.

Почему Вы хотите ехать (если поедете по железной дороге) через Австрию-Италию? Разве это лучше, то есть быстрее и дешевле? Знаете ли Вы, что есть такой путь: Рига — Берлин, затем (без пересадки) Берлин — Страсбург и (опять без пересадки) Страсбург — Канн? (Я только спрашиваю, ибо точно не знаю, как лучше. Но на всякий случай справьтесь).

Из Канн до нас, то есть до Грасс, всего 17 километров. Не думал, что так дорого стоит проезд по железной дороге. Боюсь теперь, что денег Вам не хватит. Может, займете у кого-нибудь в Риге? Постараемся устроить так, чтобы Вы смогли возратить этот заем тотчас же по приезде сюда. О долге мне не беспокойтесь: вернете, когда хоть немного опечитесь.

Вот пока и все.

Нажимайте понастойчивей письмами на Зеелера и Зайцева на счет ускорения визы.

Ваш Ив. Бунин

P. S. Писать нам всем на конвертах надо «Monsieur такой-то». То, что я пишу на обороте своих конвертов, — «Exp. Bouvine и т.д.» значит expéditeur, т.е. отправитель.

9. XI. 29.

Вилла Бельведер, Грасс.

Очень рад, дорогой Леонид Федорович, что с визой дело почти кончено, — нынче получил Ваши письма от 5 Ноября. Итак, ждем Вас и желаем доброго пути. Известите нас заранее, когда именно выезжаете и когда (в какое число и в какой час) будете в Канн: мы выедем туда встретить Вас — если, конечно, поезд Ваш приходит не ночью. Обнимаю Вас и извиняюсь за краткость — у меня ужасный насморк и голова весьма мутна.

Ваш Ив. Бунин

П.С. Одевайтесь потеплее, не надейтесь на юг — зимой у нас холодно. (Даже в домах, и не только в таких бедных как наш, но и богатых — почти нигде не топят).

Если почему либо не встретим Вас — если, например, письмо Ваше придет позднее Вашего приезда, то вот к Вашему сведению: из Канн в Грасс можно приехать или по железной дороге (поезд отходит с того же вокзала, на который Вы приедете) или с автокаром — автокары эти идут к нам с *площади* перед каннским вокзалом *каждые 30 минут*. А если ехать по железной дороге, то нужно брать билет Grasse-Ville, ибо с *с нашего* вокзала нужно еще подняться в *город* по фюникюлеру.

Автокары удобнее: Вас привезут тогда *прямо* в город. Только помните, когда будете спрашивать, как идти к нам: надо спрашивать Villa Belvédère, ибо есть еще у нас Hôtel Belvédère, в стороне прямо противоположной от нас.

Поезд в автокаре стоит 5 франков, железн. дорога чуть-чуть дешевле. Вещи автокары берут к себе на крышу.

Милица Грин, старший доцент Эдинбургского университета. Эдинбург, 1971 г.

ИЗ ДАВНИХ ЛЕТ

П. Н. МИЛЮКОВ И Н. Д. АВКСЕНТЬЕВ
В АМЕРИКЕ В 1921 ГОДУ

Осенью 1921 г. на Вашингтонскую конференцию по морскому разоружению прибыли также русские государственные деятели — Н. Д. Авксентьев и П. Н. Милюков. Они приехали, конечно, не как официальные представители России, а как «наблюдатели» и как видные представители антибольшевицкой российской демократии. С Авксентьевым я познакомился еще в начале 1919 года, когда он вместе с А. А. Аргуновым, В. М. Зензиновым и «Бабушкой» Ек. Брешковской, по дороге из Сибири в Париж, пробыли несколько недель в Нью-Йорке. Милюкова я встретил в 1921 году впервые. Но его книги и статьи, конечно читал, внимательно следя за его литературной и политической деятельностью. Я знал, что уже в 90-х годах он был известен как историк и публицист. Позже он выдвинулся, как признанный вождь российского конституционного либерализма. В годы 1903-1905 Милюков был одним из ближайших сотрудников нелегального либерально-демократического журнала «Освобождение», выходившего под редакцией П. Б. Струве. В 1904 г. Милюков был одним из основателей «Союза освобождения», который сыграл большую роль в освободительном движении России. В 1905 г. Милюков был председателем Союза Союзов, в который среди других представителей союзов профессиональной интеллигенции входил и Союз железнодорожных служащих. Этот Союз Союзов фактически подготовил всеобщую забастовку в октябре 1905 г., заставившую царя издать Манифест о даровании конституции и политической свободы. После Манифеста 17 октября 1905 г., когда была основана партия Народной свободы (или конституционно-демократическая), в которую вошли почти все видные либералы и демократы, П. Н. Милюков стал главным лидером этой партии.

Интересно, что после Манифеста 17 октября граф С. Ю. Витте, тогдашний премьер-министр, вел переговоры с Милюковым о возможном сотрудничестве кадетов с новым правительством. Но из этих переговоров, к сожалению, ничего не вышло. Позже в своих воспоминаниях Милюков рассказал, что он с Витте встретился во второй раз за несколько лет до революции на каком-то общественном собрании в Петербурге. Витте тогда уже был в отставке и в немилости у царя. «Заметив меня, пишет Милюков, он пробрался сквозь толпу, чтобы подойти ко мне, поздоровался, вспомнил про нашу первую встречу (в октябре 1905 года) и сказал мне несколько слов, которые не могли не запомниться: «Жаль, что я мало знал вас тогда. События могли бы пойти иначе».

Кадеты имели наибольшее число депутатов в первой и во второй Государственных думах. И даже в третьей и четвертой Государственных Думах конституционно-демократическая партия играла большую роль. За весь период существования Государственной думы, то-есть, с 1906 г. и до февральской революции 1917 г. П. Н. Милюков был ее лидером, хотя депутатом не был ни в первой, ни во второй Государственной Думе. Во время первой Государственной думы Николай II некоторое время колебался, удовлетворить ли требования Думы о введении в России настоящей конституции со всеми свободами и с министерством, ответственным перед народными представителями. По поручению царя дворцовый комендант генерал Трепов вел тогда переговоры об этом с Милюковым. Был момент, когда царь даже почти соглашался назначить Милюкова или председателя первой Думы проф. С. Муромцева премьер-министром конституционного кабинета, но П. А. Столыпин, министр внутренних дел, и ближайшее окружение царя, а также германский император Вильгельм II, двоюродный брат Николая II, повлияли на слабовольного Николая II, чтобы он не удовлетворял требований Думы, а распустил бы ее, что и случилось.

По мнению многих русских историков и политиков, если бы Николай II в 1906 г. удовлетворил главные требования Государственной думы и Россия стала бы свободной страной, то могло не быть ни первой мировой войны, ни большевицкой диктатуры в России, ни нацистской диктатуры в Германии, ни второй мировой войны.

Когда П. Н. Милюков в 1921 году прибыл вместе с Н. Д. Авксентьевым в Нью-Йорк, я имел с ним большое интервью для одной еврейской газеты, где тогда сотрудничал. Вместе со мной пришли интервьюировать его представители двух других еврейских газет. Помню, что и другие еврейские журналисты, тоже выходцы из России, прекрасно говорившие по-русски, были удивлены, что лидер партии социалистов-революционеров Н. Д. Авксентьев и лидер кадетской партии были во многом политическими единомышленниками и что Авксентьев называл П. Н. Милюкова «папаша». Я знал, что Милюков еще до революции был три раза в Соединенных Штатах, читал лекции о России в Чикагском и в других американских университетах. Свои доклады Милюков тогда читал на английском языке.

Начиная с конца 1908 и до 1918 года я был постоянным читателем петербургской газеты «Речь», одним из редакторов которой был П. Н. Милюков. Читал я и все его главные речи в Государственных Думах и хорошо знал его взгляды по внутренней и внешней политике России, считая Милюкова крупнейшим русским государственным деятелем. Помню, как в апреле 1917 г. один мой коллега, видный журналист, вбежал в ресторан, где мы обычно завтракали, и с большой радостью сообщил, что Милюков и Гучков вышли из Временного правительства и что в Петрограде ждут, что несколько социалистов войдут в правительство.

«Чему же вы так радуетесь? — сказал я. — Я считаю уход из Временного правительства Милюкова и Гучкова большим несчастьем для революции и для России. Милюков и Гучков самые сильные государственные деятели во Временном правительстве. Они оба знают, чего хотят и к ним питают полное доверие не только имущие классы и руководители армии и все офицерство, но и деятели земств и городов, и значительная часть русской интеллигенции. Их уход из Временного правительства — это большое несчастье!»

Во время революции и после нее я не во всем был согласен с Милюковым, но всегда систематически читал его журнал «Новая Россия», который он издавал в Лондоне по-английски, а потом его парижскую газету «Последние новости».

За два дня до моего интервью с Милюковым в Нью Йорке я поместил в газете, где тогда сотрудничал, большую статью под заглавием: «Милюков и Авксентьев — два выдающихся

представителя русской демократии — к их приезду в США». В статье были и их портреты. Когда я пришел интервьюировать Милюкова, у меня в кармане был номер газеты с моей статьей и я хотел показать Милюкову и Авксентьеву их портреты. Но как только я вынул газету, Милюков обратился ко мне: «А ну-ка, дайте посмотреть я ведь когда-то умел читать по идиш». Я подумал, что Милюков шутит. Каково же было мое удивление, когда он прочел заглавие моей статьи вместе со всеми ее подзаголовками. Хороший знакомый П. Н. Милюкова еще по Петербургу, присутствовавший при нашей беседе, шутя заметил: «Теперь я понимаю, почему антисемиты называют вас Милюковер». Все засмеялись. На вопрос одного из еврейских журналистов, где П. Н. научился читать по идиш? Он ответил: «некоторые из евреев, сотрудников «Речи», меня научили читать по идиш». А Н. Д. Авксентьев прибавил: «Ведь Павел Николаевич свободно читает на всех европейских языках, кроме финского, литовского и латвийского, кажется».

В интервью со мной Милюков высказал много интересных мыслей о России, о большевизме, об антисемитизме, о положении евреев в России. Осенью 1921 года, когда Милюков был в Нью-Йорке, положение в России было критическое. Миллионы людей умирали от голода, который был главным образом, результатом, того что в 1920 году чуть ли не три четверти посевной площади в России оказались не засеянными. Подавленные большевиками крестьяне не хотели сеять, а большевики отбирали у крестьян даже зерно, оставленное на семена. После восстания матросов и рабочих в Кронштадте и крестьянских восстаний в Тамбовской и в других губерниях Ленин был вынужден ввести так называемый «НЭП». В американских газетах тогда появились статьи о том, что Ленин якобы собирается ввести больше политической свободы в стране.

Я спросил Милюкова: «Думаете ли вы, что Ленин, убедившись в безнадежности своего коммунистического эксперимента, решит пойти на компромисс и образовать коалиционное правительство с участием хотя бы только представителей всех социалистических партий?».

«Нет, — ответил П. Н. — я не могу себе этого представить по целому ряду соображений. Во-первых, Ленин никогда не пойдет на то, чтобы делить власть с кем бы то ни было. Он

может пригласить несколько меньшевиков или социалистов-революционеров занять некоторые посты в правительстве, чтобы обмануть мир, но на настоящую коалицию он никогда не пойдет; во-вторых, ни один ответственный деятель какой бы то ни было социалистической партии не согласится вступить в кабинет Ленина без определенных гарантий со стороны большевицкой партии. А минимальные гарантии следующие: 1) амнистия всем политическим заключенным; 2) отмена чрезвычайной комиссии (Че-ка); 3) роспуск внутренней полицейской охраны; 4) свободные выборы во все советы. Без этих гарантий каждая общественная группа, которая согласится пойти на коалицию с большевиками, рискует кончить так же, как кончили члены московского «Общественного комитета помощи голодающим». В одно прекрасное утро Че-ка арестует всех некоммунистических членов правительства по обвинению в измене советскому правительству, как она сделала с членами «Общественного комитета помощи голодающим». А кроме того, общественные деятели, которые при таких условиях согласились бы войти в большевицкое правительство, этим только дискредитировали бы себя в глазах населения. Они только взяли бы на себя ответственность за все преступления террористического большевицкого режима. Настоящая коалиция была бы возможна только тогда, когда большевики дали бы все указанные гарантии. Но этого они никогда не могут сделать, потому что это означало бы для них подписать смертный приговор своей диктатуре. В тот день, когда они отменили бы Че-ка, распустили бы «части особого назначения» и допустили бы провести во всей стране свободные выборы в советы, они были бы сметены с лица земли. Большевицкая власть вызвала к жизни такое внутреннее сопротивление, какое она не в состоянии уже побороть. Она похожа на человека, который вскочил на тигра и едет на нем верхом. Но она не может с тигра соскочить».

Другой вопрос, который я тогда поставил Милюкову, был: — «не думает ли он, что падение советского правительства может привести к еврейским погромам во многих городах России?» На это Милюков дал такой ответ:

«Такая опасность, к сожалению, несомненно существует. И наша печать поэтому ведет постоянную энергичную пропаганду против правых монархистов и против антисемитов, ко-

которые идут рука об руку. Газета «Последние Новости», которую я редактирую в Париже, например, была первая, которая разоблачила фальсификацию знаменитых «Протоколов сионских мудрецов», которыми антисемиты долгое время отравляли умы наивных людей. Когда говорят о возможности еврейских погромов, надо иметь в виду, что погромы при Деникине и при Петлюре были искусственно вызваны некоторыми реакционными кругами. Там, где во главе антибольшевических восстаний стояли не крайние правые как, например, в Кронштадте в прошлом году или в крестьянском восстании в Тамбовской губернии, или в волжском районе, или на Дону, еврейское население ничуть не пострадало, несмотря на то, что там теперь сосредоточено значительное число евреев.

«Думаете ли Вы, что еврейский народ имеет будущее в России?» — спросил я.

«Несомненно, — ответил П. Н. — Россия не останется навсегда большевицкой, как и не вернется к царскому самодержавию. Россия будет демократической республикой. Хаос в конце концов исчезнет и, когда установится более или менее нормальная жизнь, евреи будут играть большую роль в экономической, политической и культурной жизни страны. Судьба евреев в России тесно связана с победой в России демократии. В демократической России евреи, как и все национальности, будут чувствовать себя свободными и равноправными гражданами».

П. Н. Милюков был большим русским патриотом, но не узким националистом. Для него каждый еврей, украинец, поляк, грузин, армянин, литовец был не ниже любого великоросса.

Когда Милюков был тогда в Вашингтоне, бывший американский президент Вудро Вилсон пригласил его к себе и Милюков провел у Вилсона несколько часов. По возвращении его в Нью-Йорк я при первой же встрече спросил его, какого мнения он о бывшем президенте США и какое впечатление он на него произвел? Милюков ответил, что книги Вилсона он читал еще до войны. Большим историком он его никогда не считал, но Вилсон, по его мнению, был хорошим стилистом и умел ясно формулировать свои мысли. Он произвел на Милюкова впечатление искреннего идеалиста, он представляет собой тип прекрасного американца. «Он все время расспра-

шивал меня, сказал Милюков, и поэтому я не имел возможности расспрашивать его. Мне кажется, что он сейчас чувствует себя как бы обиженным человеком, но верит, что его идеалы в будущем восторжествуют».

При этом Милюков выразил мнение, что величайшая ошибка, которую Вилсон сделал, была та, что он лично участвовал в Мирной конференции в Версале. Если бы он остался в Вашингтоне, он мог бы союзникам навязать гораздо лучший компромиссный мир и американский сенат такой мирный договор несомненно ратифицировал бы. Но когда Вилсон, который в европейских делах мало разбирался, приехал в Европу и остался там заседать на мирной конференции, как один из «Великих четырех», то два очень умных и опытных политика — премьер-министр Франции Жорж Клемансо и премьер-министр Великобритании Давид Ллойд Джордж, скоро «обкрутили его вокруг пальца» и во многих вопросах он был вынужден уступить им. «А теперь он стал, — сказал Милюков, — одной из самых трагических фигур в мире».

Помню, что на вечере у доктора Я. М. Джемса, среди гостей, где был Милюков, был также русский рабочий Г. Струмило, бывший член Исполнительного комитета петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в первые месяцы революции. Но в 1918-м году Струмило был одним из организаторов антибольшевицкого восстания на Воткинском и Ижевском заводах на Урале. После победы большевиков на волжском фронте и падения Директории в Сибири, Струмило уехал за границу. Он хорошо знал Милюкова и Милюков знал его. Во время беседы на этом вечере Струмило, обращаясь к Милюкову, сказал: «А знаете, Павел Николаевич, что в апреле 1917 года я участвовал в демонстрации против вас в Петрограде?» Милюков, улыбнувшись, сказал: «Если бы я был тогда на вашем месте то, по всей вероятности, сделал бы то же самое».

Союз русских рабочих-антибольшевиков в Бронзвиле, Нью-Йорк, через К. М. Оберучева обратился к П. Н. Милюкову и Н. Д. Авксентьеву с просьбой выступить на их массовом собрании с докладами о положении дел в России. Авксентьев отказался выступать на русском рабочем собрании в Нью-Йорке. «Нам теперь не до русских рабочих в Нью-Йорке», будто бы сказал Авксентьев, чем очень огорчил старого эсера

К. М. Оберучева. Милюков же, наоборот, охотно принял приглашение и выступал на многолюдном собрании рабочих в Бронзвиле. Его речь имела большой успех. Н. Д. Авксентьев на закрытом собрании членов нью-иоркской группы социалистов-революционеров и социал-демократов-плекхановцев прочел доклад о положении в России и о разных течениях среди русских эмигрантов в Париже, Берлине и Чехословакии.

Через несколько лет П. Н. Милюков опять приехал в США. Он читал тогда курс лекций в каком-то американском университете о России «Сегодня и завтра». Эти лекции П. Н. Милюков потом переработал в книгу, которая и вышла в большом американском издательстве под этим же заголовком.

П. Н. тогда провел несколько недель в Нью-Йорке, и я с ним неоднократно встречался у общих друзей. На одном вечере у А. И. Зака, бывшего нью-иоркского корреспондента петроградской газеты «Речь», Милюков как-то упомянул, что по его сведениям Сталин внимательно читает «Последние новости» «и я, — смеясь добавил П. Н. — некоторые передовые пишу специально для него». Я сидел около Милюкова и тихо сказал ему: «А я убежден, что Сталин, будучи твердокаменным большевиком одно время был и агентом Царского Охранного отделения».

«Какие у вас данные для этого?» спросил Милюков. Я подсел ближе к нему и начал ему излагать мои косвенные доказательства. П. Н. вначале слушал меня с явно скептической улыбкой, но чем дальше я говорил, тем внимательнее он меня слушал. Когда к нему обратилась его жена и хотела что-то сказать, он ее прервал словами: «Подожди, подожди, это очень, очень интересно». И когда я закончил П. Н. сказал: «Похоже на правду».

(Продолжение следует)

Д. Шуб

ООН И КНР

День 25 октября 1971 г. войдет в историю ООН как знаменательная веха в жизни этой международной организации. Как известно, в этот день 26-ая Генеральная Ассамблея ООН приняла так называемую «албанскую резолюцию». Предложенная Албанией совместно с двумя десятками других стран, эта резолюция призвала Генеральную Ассамблею «восстановить законные права КНР», как члена Генеральной Ассамблеи и постоянного члена Совета Безопасности ООН. Одновременно Генеральная Ассамблея, в соответствии с той же «албанской резолюцией», постановила исключить из ООН Китайскую Республику на Тайване. Долголетний спор о том, кто должен представлять в ООН Китай — Пекин или Тайбэй, закончился, таким образом, победой коммунистического Китая. Принципы, приверженность к которым позволяла большинству членов Генеральной Ассамблеи ООН более двух десятилетий сохранять в своих рядах Китайскую Республику, были принесены в жертву политическим соображениям.

Драматический исход голосования в Генеральной Ассамблее 25 октября по китайскому вопросу вызвал в мире разнобразную реакцию. Но в общем гуле одобрений раздавались и продолжают раздаваться голоса, осуждающие решение ООН. Некоторые политические деятели, особенно в США, считают даже 25-ое октября «черным днем» Организации Объединенных Наций, началом ее упадка и конечного распада. Это возмущение направлено не столько против решения Генеральной Ассамблеи допустить в ООН КНР, сколько исключением из состава этой организации Китайской Республики.

Страсти, разыгравшиеся в Генеральной Ассамблее 25 октября, сейчас немного поутихли. Наступило время попытаться более спокойно проанализировать, как и почему ООН, двадцать с лишним лет противившаяся присутствию среди ее членов представителей пекинского тоталитарного режима, сейчас не только пригласила Пекин занять место Китая в Гене-

ральной Ассамблее и в Совете Безопасности, но и исключила Китайскую Республику из международного сообщества наций.

Вспомним кратко историю обсуждения в ООН китайского вопроса. Китайская Республика, а не коммунистический Китай, была одним из 50 государств — основателей ООН, которые 25 апреля 1945 года подписали в Сан-Франциско Устав Организации Объединенных Наций. Но Китайская Республика была не только членом-основателем ООН — она заняла место одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности. В эту пятерку входили великие державы — союзники по Второй мировой войне: США, СССР, Франция, Англия и Китайская Республика.

1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика. Правительство Чан Кай-ши, вооруженные силы которого потерпели поражение в боях с коммунистическими армиями, перебазировалось на остров Тайвань. Считая этот остров нераздельной и неотъемлемой частью территории Китая, правительство Чан Кай-ши продолжало рассматривать себя как единственно законное правительство Китая. Такой же статут сохраняло оно и в ООН. Но и Центральное народное правительство КНР тоже провозгласило себя в 1949 году единственным законным правительством Китая. Проблема осложнилась еще тем, что КНР немедленно же после ее образования поставила перед ООН вопрос о ее месте в Генеральной Ассамблее и в Совете Безопасности, утверждая, что с появлением КНР делегаты Китайской Республики лишились права представлять в ООН Китай. Однако это обращение Пекина со стороны ООН игнорировалось.

С 1950 года пекинское правительство меняет тактику: не обращаясь в ООН непосредственно, оно действует через своих «адвокатов», функции которых принимают на себя СССР и Индия. В январе 1950 года советский представитель в Совете Безопасности Яков Малик внес предложение о лишении делегации Китайской Республики на Тайване ее полномочий. Предложение Малика было отклонено большинством членов Совета Безопасности. В сентябре того же года Индия предложила внести в повестку дня Генеральной Ассамблеи вопрос о членстве КНР. Но Генеральная Ассамблея обсуждать индийское предложение отказалась. Пекин к этому времени уже успел восстановить против себя большинство членов ООН

признанием режима Хо Ши Мина в Северном Вьетнаме и агрессивной позицией в корейском вопросе.

В феврале 1951 года Генеральная Ассамблея ООН 44 голосами против 7, при 9 воздержавшихся, *объявила Пекин агрессором*. И хотя Индия на протяжении девяти лет из года в год возобновляла усилия внести в повестку дня Генеральной Ассамблеи обсуждение вопроса «о восстановлении законных прав КНР в ООН», результаты ее усилий неизменно принимались отрицательно. Генеральная Ассамблея продолжала считать КНР *неквалифицированным для членства в ООН как по правовым, так и по моральным мотивам*. Правовое основание для отказа Пекину в членстве в ООН Генеральная Ассамблея видела в том, что сама же ООН *объявила КНР агрессором*. А несоответствие режима Пекина моральным принципам, провозглашенным ООН, вытекало прежде всего из внутренней его политики, жестоко подавляющей все основные права человека и гражданина, все основные свободы жителей этой страны.

Но шли годы. Споры в ООН по китайскому вопросу продолжались. И постепенно за это время позиция ряда членов ООН изменилась: от категорического «нет», они, исходя, главным образом, из экономических и политических соображений, пришли к согласию голосовать за предоставление континентальному Китаю места в ООН. Не лишне отметить, что в 1960 году Индия уже не вносила в Генеральную Ассамблею предложения о восстановлении прав КНР: пограничные конфликты, а также тибетский вопрос значительно охладили отношения между Дели и Пекином. «Чемпионом» кампании в ООН за членство в этой организации КНР вместо Индии стал тогда Советский Союз. Но и Советский Союз уступил свое место главного ходатая за КНР — маленькой Алабании, когда советско-китайские отношения резко ухудшились в начале 60-х годов.

Начиная с 1963 года Генеральная Ассамблея регулярно обсуждала албанскую резолюцию «о восстановлении законных прав КНР в ООН и об исключении представителя Чан Кай-ши». И каждый год эта резолюция *отклонялась*, так как она не собирала требуемого большинства в две трети голосов. Казалось, что принципы продолжали торжествовать в столкновении с политическими расчетами. Однако изменение между-

народной обстановки в связи, главным образом, с разрывом между Москвой и Пекином вызвало к жизни течения, которые постепенно размывали почву, на которой основывалось непризнание Генеральной Ассамблеей прав КНР в ООН. В 1970 году за «албанскую резолюцию» голосовало уже большинство членов Генеральной Ассамблеи, хотя эта резолюция так и не получила необходимые две трети голосов.

Что же произошло за последние годы? Известно, что пекинский режим не изменился ни в чем, не была отменена и резолюция ООН, обвинявшая КНР в агрессии. Но зато резко изменилась политика президента США Никсона в китайском вопросе. Мы вовсе не хотим сказать, что курс на нормализацию отношений США с КНР не заключал в себе ничего верного. Ричард Никсон был, вероятно, в какой-то мере прав, когда еще в 1967 году писал: «Мы просто не можем позволить себе, чтобы Китай навсегда оставался вне семьи наций». Международная, расстановка сил в мире, интересы безопасности США и сохранения мира теоретически требовали и требуют участия континентального Китая в международных делах. Требуют такого участия и интересы самого 750-ти миллионного китайского народа, хотя он и находится совершенно в бесправном и рабском состоянии под полным контролем коммунистической партии. Но, конечно, огромную, густонаселенную страну, действительно, трудно полностью игнорировать.

Однако большие и глубокие сомнения вызывает у нас та поспешность, с которой американское правительство в последние месяцы старается «умиротворить» Пекин и убрать все препятствия к «соглашению с Мао Цзэ-дуном». Подчеркнем, что американо-китайская дружба основывалась в прошлом и должна основываться в будущем на взаимопонимании и взаиморасположении *американского и китайского народов*, а не на иллюзорных надеждах правительства на мирное сотрудничество с тоталитарным коммунистическим режимом и использование этого сотрудничества в интересах США и всего мира.*

* *От редакции:* Разделяя общую политику президента США Ричарда Никсона, направленную на «мир во всем мире», мы весьма обеспокоены тем, как бы в своей новой китайской политике Ричард Никсон «не перехитрил самого себя». Последствия этого были бы катастрофальны не только для США, но и для всего мира. Р. Г.

США были стержнем, хребтом оппозиции красному Китаю в Организации Объединенных Наций. В течение более чем двух десятилетий США твердо и решительно преграждали путь в эту организацию еще одному тоталитарному коммунистическому режиму. Но вот в 1971 году американское правительство неожиданно снимает свои возражения против допуска Пекина в ООН. Означает ли это, что с осени 1970 года произошли какие-то события решающего характера, которые оправдывали бы такой крутой поворот в позиции США в ООН по китайскому вопросу? Как ни искали бы мы таких событий и причин, *мы их не найдем*. Правовые и моральные основания, двадцать с лишним лет препятствовавшие Пекину войти в ООН, *не устранены*: Пекин ничуть не отказался от своих агрессивных внешнеполитических замыслов, лишь внешне, слегка изменяет формы и методы работы. В сторону демократизации и либерализации этот режим не сделал никакого, даже самого ничтожного шага.

Сомнительным надо признать и аргумент, что вхождение в ООН КНР поможет решить такие серьезные проблемы, как отказ от атомного и ядерного вооружения и т. п. О будущем, конечно, говорить трудно, но пока что Пекин отказался подписать соглашение о запрещении термоядерных испытаний, соглашение о нераспространении термоядерного оружия и соглашение о запрещении термоядерных испытаний на морском дне. И уже совсем проблематично звучит утверждение сторонников членства КНР в ООН, что присутствие представителей пекинского режима в этой международной организации будет способствовать смягчению воинственности политики Пекина, смягчению его враждебности по отношению к внешнему миру и либерализации его внутренней политики. Членство СССР в Лиге Наций, к сожалению, не превратило Сталина из кровавого большевика-диктатора в демократа и не ослабило чудовищность террора в СССР. Да и Хрущев и Брежнев не постеснялись раздавить советскими танками Венгрию и Чехословакию, хотя СССР и состоит «членом-учредителем» такой организации как ООН.

Как бы то ни было, но факт остается фактом: 25 октября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН принципы этой организации были — в который уже раз! — принесены в жертву политическим соображениям, хуже того — в основном

конъюнктурным политическим расчетам. «Мир, справедливость и процветание» — под таким девизом отмечала ООН свое двадцатипятилетие год тому назад. Справедливости в праве была ожидать, конечно, и Китайская Республика. Член-основатель ООН, Китайская Республика на протяжении 26 лет лояльно и добросовестно, — по силе ее средств и возможностей, выполняла все обязательства законного члена этой международной организации и никогда, ничем не нарушила ее Устава. И если интересы мира, действительно, требовали участия КНР в работе ООН, то долг Генеральной Ассамблеи, долг всех ее членов заключался прежде всего в том, чтобы найти какое-то компромиссное решение, которое дало бы возможность видеть в ООН и КНР и Китайскую Республику. Решив исключить из своей организации государство с 14-миллионным населением под давлением ультимативных требований Пекина, Генеральная Ассамблея тем самым установила чрезвычайно опасный прецедент. В этом отношении вполне можно согласиться с государственным секретарем США Роджерсом, который охарактеризовал исключение Тайбэя как шаг, причинивший ущерб прежде всего самой ООН и обещающий ей неожиданные неприятности в будущем.**

Сейчас в кулуарах ООН и в мировой прессе стал создаваться необычайно опасный миф о том, что коммунистический Китай, став постоянным членом Совета Безопасности, будет выступать в ООН, как неустанный поборник мира и сотрудничества всех стран, и использует новую для него международную трибуну для «укрепления международного мира».

Все прежние многочисленные заявления пекинских руководителей говорят совсем о другом. О том, что КНР давным-давно уже выработала определенную политику по отношению

**** От редакции:** Особенно непонятно, как мог Израиль, борющийся за свою национальную свободу, голосовать за исключение Национального Китая из ООН. Такое голосование имеет некий трагический привкус. Пока что КНР ответила на это тем, что не приняла «поздравительной» телеграммы Израиля, подчеркнув этим дипломатическим оскорблением свое враждебное отношение к Израилю. Но в будущем опасный прецедент исключения из ООН Национального Китая — блок арабских стран, поддержанный Совсоюзом и КНР могут вполне использовать точно также и против Израиля. *Р. Г.*

к ООН. Этот курс предусматривал, что Пекин будет добиваться места в ООН, чтобы использовать ее *как трибуну для революционных выступлений*, а также чтобы употребить свой авторитет и присутствие в ООН *для ее реорганизации*.

В 1950 году ООН предложила правительству КНР направить в Генеральную Ассамблею специальную делегацию для обсуждения вопроса о Корейской войне. Пекинскую делегацию возглавил видный коммунист У Сю-цюань, который в следующем, 1951 году стал заместителем министра иностранных дел КНР. Можно, кстати отметить, что заместителем руководителя пекинской делегации был тогда Цяо Гуань-хуа — нынешний глава делегации КНР в ООН и заместитель министра иностранных дел КНР. Осенью того же 1950 года, выступая на митинге студентов и профессоров Народного университета Китая в Пекине, У Сю-цюань разъяснил, что КНР добивается места в ООН с определенными целями. «Высшая цель», как сказал тогда У Сю-цюань, заключается в «разделении Объединенных Наций». Если КНР будет принята в ООН, она, по словам У Сю-цюаня, постарается возглавить страны, недовольные существующим положением, чтобы объединить их на борьбу с свободными демократическими странами Запада. У Сю-цюань также заявил, что Пекин будет использовать ООН как трибуну для подрыва этой организации: КНР, действуя совместно с Советским Союзом, будет стремиться к образованию «Объединенных социалистических наций», чтобы противопоставить их ООН и тем самым парализовать ее работу. «Вещи, которые мы не можем захватить, должны быть разрушены. Им нельзя позволять существовать», подчеркнул У Сю-цюань.

Так было в 1950 году. В начале 60-х годов, когда многочисленные попытки китайских коммунистов занять место в ООН разбились о сопротивление США и других государств, выступления Пекина против ООН стали еще более остры и откровенны. В 1965 году Индонезия Сукарно вышла из Объединенных Наций. Пекин, приветствуя этот шаг Джакарты, заявил устами Чжоу Энь-лая 24 января 1965 года: «Объединенные нации совершили слишком много ошибок. Они совершенно разочаровали азиатские и африканские страны. ООН должна исправить свои ошибки и должна быть реорганизована... Надо разоблачить преступления, совершенные американским империализмом и его сторонниками, манипулирующими

ООН, и потрясти слепую веру в Объединенные Нации... В этих условиях вполне могут быть созданы другие Объединенные нации, революционные...»

Несколькими месяцами позже, на пресс-конференции 29 сентября 1965 года, маршал Чэнь И, занимавший тогда пост министра иностранных дел и заместителя премьера КНР, обрисовал позицию Пекина по отношению к ООН еще яснее и определеннее. Он заявил в частности следующее:

«Во время агрессивной войны США против Кореи ООН приняла резолюцию, назвавшую Китай агрессором. Как же можно ожидать, что Китай примет участие в международной организации, которая именует его агрессором? Не хлещет ли ООН сама себя по физиономии, называя Китай агрессором, а затем приглашая этого агрессора присоединиться к ней? Вопрос теперь в том, как реформировать Объединенные нации в соответствии с целями и принципами их Устава, и освободить их от контроля Соединенных Штатов и других великих держав. Если задача преобразования ООН не сможет быть выполнена, тогда непременно постепенно созреют условия для установления революционных Объединенных Наций... ООН должна признать и исправить все свои прошлые ошибки. Среди прочего, она должна отменить резолюцию, порицающую Китай и КНР как агрессоров, и принять новую резолюцию, признающую агрессором Соединенные Штаты».

Со времени приведенных заявлений Чжоу Энь-лая и Чэнь И прошло немного лет. Изменилась ли теперь позиция континентального Китая по отношению к ООН? Американский публицист Эдгар Сноу в беседе с Чжоу Энь-лаем в конце 1970 года спросил пекинского премьера, как тот смотрит на будущее ООН. «Будущее ООН трудно предсказать, — ответил Чжоу Энь-лай, — существуют две возможности. Одна возможность — будут перемены. Другая — ее может постигнуть такая же судьба, что и Лигу Наций. 25 сессия Генеральной Ассамблеи показывает, что всё возрастающее число средних и малых стран и даже некоторые великие державы противятся манипулированию сверхдержав в Объединенных Нациях». По существу, в 1970 году Чжоу Энь-лай сказал то же самое, что говорили раньше У Сю-цюань и Чэнь И, только не так многословно.

Заявление, сделанное правительством КНР 26 октября в

связи с голосованием в ООН, не вызывает уже никаких сомнений, что пекинская делегация в ООН будет руководиться мао-цзэдуновским принципом «раздвоения единого». Пекинские коммунисты, судя по этому заявлению, вступают в международное сообщество наций в качестве самоявленного вождя «третьего мира», «защитника средних и малых государств», чтобы попытаться направить эти государства против «одной или двух сверхдержав» и тем внести еще больший разлад в работу этой организации. Гипотеза, что Пекин, придя в ООН, признавшую Тайвань провинцией Китая, может обвинить США в «агрессии» из-за присутствия на этом острове американских войск, вполне может стать реальностью. С другой стороны, недалеко от истины может оказаться и шутка, что СССР, ратовавший за прием КНР в ООН, 25 октября, действительно, «потерпел победу».

При всем сказанном, однако, прежде всего не следует забывать, что СССР и КНР — коммунистические страны и «молются» они одним богам — Марксу и Ленину. Их разногласия, как откровенно надеются в Москве (а кое-кто, возможно, и в Пекине), могут сгладиться после смерти или устранения Мао Цзэ-дуна. Тогда примирение Пекина с Москвой может стать быстрым концом ООН как независимой и свободной международной трибуны. Пусть в этом отношении послужат предостережением для нас слова сэра Вильяма Хэйтера, бывшего британского посла в СССР. В книге «Россия и мир», вышедшей в 1970 году, Хэйтер отвергает популярную теорию о неоправимости советско-китайского раскола и о страхе, якобы испытываемом Советским Союзом перед Китаем. Он пишет:

«Прежде всего, раскол не непоправим... И даже при продолжающемся расколе не похоже, чтобы Россия чувствовала страх перед Китаем. Несчетные миллионы людей — это не то, что принимает в расчет современная стратегическая мысль, во всяком случае тогда, когда дело идет о такой стране, как Советский Союз... Ссора между Россией и Китаем — семейная ссора...»

К. Павлов

ВЕЧНЫЙ МИКОЯН

Когда известного Карла Радека друзья попросили рассказать последний политический анекдот, он недоуменно развел руками: — «Да разве вы его не прочли в сегодняшних газетах: — маленький армянин Микоян назначен министром великой России!»

Это было в 1926 г. Микоян, которому тогда едва исполнилось тридцать лет, был назначен вместо известного большевистского лидера Каменева министром (наркомом) внутренней и внешней торговли СССР. Однако то, что показалось Радеку анекдотом, стало феноменальным историческим фактом: Микоян вот уже более 50 лет непрерывно входит в состав правительства такого государства (он член ВЦИК с 1919 г.), где перманентная чистка министров — закон, а их личная безопасность — исключение.

Вот перед нами лежит список того фактического советского правительства — ЦК КПСС, которое было избрано по «завещанию» Ленина через четыре месяца после его смерти в 1924 г. (XIII съезд). Список включает 87 человек. Их судьбы: — своей смертью умерли 7 человек, убиты Сталиным 2 человека, покончил жизнь самоубийством 1 человек, в опале 4 человека, расстреляны Сталиным 72 человека, остался в живых и удержался в составе ЦК 1971 г. только один человек. И имя этого человека знает весь мир: Микоян!

Если итальянский ученый Фернандо Галиани говорил, что удержаться на своем посту — это первая задача, которую надо решить всякому министру, то Микоян в ее решении показал уникальный класс. Но удержался он не потому, что так цепко боролся за свой пост. Не менее цепко за свои посты боролись и его коллеги, что не спасло их от гнева Сталина или немилости Хрущева. Микоян сохранился и удержался у власти потому, что сумел перехитрить хитрейшего Сталина. Он сохранился еще и потому, что был больше полицейским, чем всеильные начальники тайной полиции Ежов и Берия;

он удержался и после Сталина потому, что был первым человеком в послесталинском коллективном руководстве, который точно знал, что править сейчас страной можно только отмежевавшись от Сталина и его прямых наследников; он сохранился и после Хрущева потому, что он был первым и в хрущевском руководстве, но вовремя понял, что Хрущев успешно закончил свою историческую миссию разоблачения преступлений Сталина и теперь власть надо отдать в руки нового поколения большевиков — Брежневу и его соратникам.

Чтобы понять и оценить величие личных успехов Микояна, надо рассматривать его политическую карьеру в прямой связи с той взрывчатой средой, в которой он жил, боролся и побеждал. Среда это — КПСС. Поэтому наш рассказ о Микояне будет одновременно и экскурсией в малоизведанные уголки необыкновенной истории этой необыкновенной партии от Ленина-Сталина до Хрущева и Брежнева.

Анастас Иванович Микоян родился 25 ноября 1895 г. на Кавказе в селении Санаин, Армянской советской республики. Кавказ — вавилонское столпотворение языков, народов, рас. Здесь говорят более чем на 50 языках. В одном только Дагестане говорят на 31 языке! Кавказ — страна, где представлены все главнейшие религии мира — христианство, ислам, иудейство и буддизм (Калмыки). Кавказ — страна, где кавказские народы с феодально-аристократической конституцией (грузины, дагестанцы, азербайджанцы, армяне, черкесы) жили по соседству с такими же кавказскими народами с натурально-родовой демократией (чеченцы, ингуши). Кавказ — страна европейцев, живущих в Азии, и азиатов, живущих в Европе. Кавказ — страна, именем которой знаменитый немецкий антрополог Блуменбах (1752-1840) назвал белую расу — «кавказской расой». Такова страна, где родился, воспитался и вырос Микоян.

Тяжкой была судьба того кавказского народа, из которого вышел Микоян — судьба Армении. Армяне — древнейший христианский народ в мире. Первым государством, где христианство стало официальной религией, была Армения (301 г.). В Риме оно было признано только через десять лет (311-313). Основателем армянской церкви был Григорий Просветитель, по имени которого и сама церковь называется «армяно-григорианской». В Эчмиадзине построен один из древнейших собо-

ров — в IV веке, но от этого собора осталось мало следов. Раскопаны и хорошо сохранились остатки другого памятника древней архитектуры армян: знаменитый круглый храм Звартноц (в переводе: «Храм блящих сил»), построенный в 640-660 г.г. Отлично сохранились «красавцы» — церкви Рипсимэ и Гаяне, построенные тоже в VII веке. Тут же возвышается всемирно известный монастырь Эчмиадзин. Здесь находилась с IV века, находится и сейчас, резиденция «Католикоса всех армян» — т. е. Главы григорианской автокефальной церкви. Тут же недалеко расположено, как бы для контраста, и правление Эчмиадзинского колхоза, который называется «Анаствац», что в переводе означает «Безбожник».

Армяне искони жили у подножья Арарата, но древний летописец армян Мосей Хоренский рассказывает, что праотцом армян был легендарный Гайк, который не пожелав покориться вавилонскому царю Бэлу, ушел из Вавилона со своим сыном Арменаком и со всеми другими сыновьями, дочерьми, внуками «числом около трехсот». По имени Гайка армяне называли себя «Хаями», а свою страну — Армению — «Хайястаном». Так они себя называют и сейчас. Армянами их называли по имени Арменака — иностранцы. Под этим именем о них пишут Геродот, Страбон, Ксенофонт, Тацит.

В 519 году до Рождества Христова Армения превратилась в сатрапию персидского царя Дария. Это было временным падением армянской независимости. В последующем армяне вновь восстанавливают свое государство, история которого насчитывает пять царствовавших династий (от VII века до 1795 г.) и одну республику (1918-1920 г.г.).

Лингвисты причисляют армян к индоевропейской семье народов. Историки говорят, что армянская народность образовалась из смеси индо-европейцев, ворвавшихся из Фракии в Малую Азию около 1200 лет до Рождества Христова и из старых аборигенов страны — халдов (государство Урарту). Известный исследователь русский академик Н. Марр относит язык армян к яфетической группе языков (иберийско-кавказская группа). Он также отмечает, что армянский язык образовался из смеси языка пришедших индо-европейцев и местных халдов. Армянская письменность — одна из древнейших: она создана 1500 лет тому назад, книгопечатание на армянском языке началось свыше 450 лет тому назад.

Выдающиеся коммерсанты, как и евреи, прирожденные музыканты как и итальянцы, остроумные собеседники как и французы — армяне — высокоодаренная от природы нация. Но судьба их, во многом схожая с судьбой евреев, оказалась трагической. Государство армян, существовавшее до 1795 г., распалось под ударом их более сильных мусульманских соседей. Когда в результате русско-персидских и русско-турецких войн армянские земли отошли к России (XIX век), то Россия также отказалась восстановить армянское государство. Началось великое «окседус» армян, продолжающееся и поныне. Отсюда рассеяние армян по всему миру. Армяне живут в десятках государств мира. В самом СССР по переписи населения 1970 г. живут 3559 тыс. армян, из них на их кавказской родине, в Армянской ССР, живут 2492 тыс. человек, а остальные — рассеяны в разных частях СССР.

Микоян родился в семье глубоко религиозной и патриархальной. Отец его Ованес, которого потом сын перекрестил в русского «Ивана», был неграмотным, но хорошо знал цену грамотности на тяжком опыте собственной жизни. Не было профессий, которых он не перепробовал бы — лавочника, грузчика, кузнеца, сторожа, плотника, но ни в одной из них не преуспел. Была энергия, была и смекалка, но не было счастья. Как сына впоследствии будет щедро сопровождать счастье, так отца вечно преследовало несчастье. Его последней профессией было плотничество в собственной мастерской, что даст потом сыну основание называться сыном «рабочего», хотя по марксистской догме он должен бы считаться сыном «мелкого буржуа», «реакционера». Умер он в 1918 г., оставив трех сыновей — старшего Ерванда (работал на заводе в Алаверди), среднего Анастаса и младшего Артема (по армянски: Анушаван), главного авиационного конструктора знаменитых истребителей «Мигов». Мать Талити умерла только в 1960 г.

Известный американский писатель Гюнтер говорит, что у Микояна был еще один брат, казненный за участие в революции, но это указание даже по советским источникам не поддается проверке.

У самого Анастаса Микояна четыре сына — Степан Микоян (р. 1922), генерал-лейтенант авиации, Алексей Микоян (р. 1925), генерал-майор авиации, Ваню Микоян, ученый авио-

конструктор, Серго Микоян, социолог и журналист. Один сын Микояна, Владимир (р. 1924) убит на войне в 1942 г. (он был летчиком).

Первоначальное образование Микоян получил в монастырской школе родного села Санаина. Это, вероятно, древнейшее село в мире. Вместе с тем оно и типичнейшее армянское горное село, а армянские горные села, по словам одной армянской писательницы, построены так, что «крыши одних домов служат двориками для других, построенных прямо чуть ли не над отвесным ущельем». В маленьком Санаине (в нем и сейчас только 205 дворов) вы за несколько минут делаете прогулку из глубокой древности через средневековые прямо в новое советское время, обозревая контрасты времен в истории их материальных памятников от древнего Санаинского монастыря, построенного в V веке, до группы величавых памятников армянского средневекового зодчества и до советского школьного здания Бог весть какого стиля, во всяком случае не армянского. Элементы современной цивилизации только-только проникают сюда, но родниковый водопровод построен в XIII веке. До нас не дошло никаких подробностей о школьных годах Микояна в родном селе, но зато мы знаем, что в 12 лет, 1907 г., Микоян был принят в число семинаристов Тифлисской армяно-грегорианской духовной семинарии. Этой чести удостаивались либо исключительно одаренные дети бедных родителей, либо дети тех, кто имел протекцию в кругах высшего армянского духовенства. Духовная семинария была подлинно народной школой, где дети обучались на полном иждивении церкви. Она готовила сельских священников, но те, которые кончали семинарию отлично, имели преимущественное право на поступление в знаменитую армянскую духовную Академию в Эчмиадзине. Академический режим в семинарии был весьма строг. Жизнь семинаристов контролировалась до обидных мелочей. И все таки (или даже именно поэтому) армянская духовная семинария выпускала, особенно после революции 1905 г. куда больше революционеров-националистов и марксистов, чем священников.

Между прочим, Сталин учившийся там же в Тифлисе, но в грузинской духовной семинарии, говорит, что он стал революционером именно из-за строгого режима в семинарии: — «Из протеста против издевательского режима и иезуитских

методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером».

Микоян же о себе сказал так: «после окончания духовной семинарии я уже в Бога не верил». Изучение богословия давало много пищи для умственной гимнастики. В семинарской библиотеке были списки рекомендованных и запрещенных книг. Микоян свой воскресный отпуск посвящал поискам именно запрещенных книг. Книги о Великой Французской революции, биографии Марата и Робеспьера, сочинения Дарвина, Маркса и Плеханова лежали под подушкой, а «жития» святых отцов церкви на подушке напоказ семинарским блюстителям порядка. Однако — внутренне уже совершенно неверующий Микоян, внешне, поражал своих строгих наставников и религиозностью и выдержкой. Умение раздваиваться, искусство скрывать подлинные чувства, мастерство убеждать других в том, в чем он сам не убежден, обезоруживающая «искренность» в проповеди чужой и чуждой ему философии «сильных мира сего», — все эти качества зародились в Микояне еще в семинарии и оченьгодились ему в мрачную эпоху Сталина.

Раннее политическое мировоззрение Микояна формировалось под влиянием двух весьма сильных политических течений в армянской общественной жизни — это идеология русского и армянского либерализма и программа армянского национализма. Первая политическая организация, куда Микоян записался, была нелегальная молодежная группа кадетской, то-есть, либерально-буржуазной партии при семинарии. Политическое кредо этой партии не шло дальше мирного превращения русского абсолютизма в конституционную монархию и разрешение армянской проблемы в ее рамках. Но довольно скоро Микоян разочаровался в кадетской партии и перешел, будучи еще в семинарии, в армянскую националистическую партию «Дашнакцутюн» с явно выраженной социалистической программой. Это был период, когда Микоян увлекался произведениями либерального писателя О. Туманяна с его «внеклассовым демократизмом» (см. БСЭ, т. 55, стр. 146, 1 изд.) и армянского классика Раффи. Об этом периоде Микоян пишет: «Читал очень много... то увлекался романами армянского классика Раффи, то зачитывался книгами Туманяна» («Юность», № 4, стр. 37, 1970, М.).

Как известно партия «Дашнакцутюн» ставила своей целью

воссоздать «Великую Армению», объединив русскую и турецкую Армению в одно независимое государство. Поворот Микояна от либерализма к национализму объясняется обострением армяно-мусульманских отношений, в которых русские либералы не всегда были на стороне армян, если речь шла о взаимоотношениях между кавказскими мусульманами и армянами. Надо сказать, что вопросы взаимоотношений армян с мусульманскими народами, подогреваемые с обеих сторон религиозным фанатизмом, составляли наиболее трагические страницы во всей истории армянского народа.

Ячейки партии «Дашнакцутюн» создавались во всех странах армянского рассеяния. Такая ячейка была создана и в армянской духовной семинарии в Тифлисе, где учился Микоян.

Год окончания Микояном семинарии совпал с началом первой мировой войны. Дашнаки, продолжая считать турок своим главным врагом, повели широкую пропаганду среди русских и зарубежных армян о вступлении добровольно в русскую армию, действующую на Кавказском фронте. Под руководством известного армянского националиста Андраника была создана «Первая армянская добровольческая дружина» на кавказском фронте, куда и записался свежеепеченный священник Микоян в качестве рядового. О службе в этой дружине, а также о тогдашних настроениях и характере Микояна есть интересные воспоминания его однокашника по дружине, доктора Е. Хатанасяна.

Воспоминания Хатанасяна ценны, тем что несмотря на то, что Микоян ренегат, а Хатанасян до сих пор убежденный дашнак, он вовсе не старается сделать Микояна задним числом негодяем. Вот некоторые отрывки из этих воспоминаний, которые, быть-может, проливают свет и на дальнейшую карьеру Микояна.

«С ним я познакомился в 1914 г. Он приехал на кавказский фронт с группой студентов школы имени Нерсисяна (духовная семинария), чтобы определиться в первую добровольческую армянскую дружину под командой Андраника. В течение его пятимесячного пребывания в дружине мы прожили совместно в тесном кругу молодых интеллигентов. За этот короткий период времени я составил себе некоторое представление о характере и направлении идей Микояна. Он сообщил мне, что в семинарии состоял членом Дашнакского

союза. Микоян был смелым бойцом, любившим приключения. Во всех боях он участвовал с увлечением. Тогда как большая часть, студентов будучи неопытными и боязливыми, скрыто пытались избегать вооруженных столкновений, Микоян радостно вступал в бой в наиболее опасных и обстреливаемых пунктах. Где призыв к сопротивлению, там Анастас бывал в первых рядах».

О храбрости Микояна, как солдата, пишет и другой свидетель, тоже дашнак, Рафаэль Хойлян: — «Я был близок с Анастасом Микояном, ибо мы вместе служили в добровольческой дружине Андраника. Анастас Микоян был примерным и отважным бойцом. Особенно своим бестрашием Микоян отличился в знаменитой Сорбской битве, к югу от Ванского озера против войск Халил-паши... Андраник никогда не наносил Микояну пощечины».

Микоян был, вероятно, не только в боях первым, но и в политических дискуссиях среди интеллигентных дружинников, сохраняя при этом внешний этикет национальной традиции в выражениях и осторожность в собственной интриге, которую он ловко умел приписывать другим.

Доктор Хатанасян вспоминает: — «Микоян был хорошо воспитан и знал армянские традиции. Во время споров никогда не нападал на противников. В своих выражениях бывал сдержан... Главной его заботой было заставить других высказаться, а самому слушать. По окончании спора свою мысль оформленным образом не высказывал, а больше старался подчеркнуть то, что находил ценным в суждении противника... Я всегда подозревал его в интригах, но никогда не смог этого доказать. Подозревал потому, что он передавал слова одного другому. Но он придавал этому или комический оттенок или такую ловкую двусмысленность, что некоторые положительно, а другие отрицательно принимали его слова. Микоян обычно говорил так: «такой то выразился так, но я не думаю, что его цель следующая...» и в этом «следующем» и было подливаемое масло в огонь, который приводил нас в смущение. На мои замечания он бывало отвечал так: «Но ведь это шутка, разве тебе не смешно?». Об этой черте его характера прослышал и Андраник. Микоян смекнул, что Андраник подвергнет его допросу и накажет. А у Андраника было единственное наказание: укладывать на живот солдата и публично сечь его».

В политической перспективе Микояна, перешедшего от либеральной буржуазной партии к революционной националистической, явно маячил новый, третий поворот: поворот к большевизму. Этот новый внутренний поворот в Микояне произошел очевидно еще в дружине как под влиянием поражений русской армии, так и под влиянием интенсивной нелегальной пропаганды кавказских учеников Ленина. Однако Микоян был настолько благоразумен, что тщательно скрывал от своих дашнакских соратников свои новые большевицкие убеждения. Да они и не были у него окончательно отшлифованы. Разочаровавшись в русском либерализме, армянском национализме, он шел к большевизму осторожно и со своими собственными расчетами — способны ли большевики осуществить на деле ленинский лозунг, «превращение империалистической войны в войну гражданскую», а значит и захватить власть, и если да, то как они разрешат армянскую проблему. В Микояне довольно рано проснулась «воля к власти». Какая будет власть — кадетская, армянская или ленинская — неважно, *важна власть*.

Микоян знал, что в дружине он не получит ответов на мучившие его вопросы. Наоборот, весьма вероятно, что за такие вопросы Андраник разденет его, положит на живот и публично высечет. Цитированный автор пишет: «Из чувства собственного достоинства, сильно в нем развитого, тем более, что он был всеобщим любимцем, он не мог допустить, чтобы его публично высекали. В 1915 г. без предупреждения, не сообщив ничего даже своим друзьям, он скрылся, покинув дружину, и, конечно, поразив тем самым многих, тем более, что для такого неоспоримого бойца такое дезертирство сочли недостойным и осудительным».

Об этом пишет и Микоян, но отрицает дезертирство: «...с группой товарищей по семинарии я очутился на фронте. Мне довелось участвовать в двух крупных сражениях против турецких войск... Но у меня возникли и новые тревожные мысли, недоуменные вопросы... Потом я серьезно заболел и меня направили в госпиталь» («Юность» № 4, 1970, стр. 38). Однако после выздоровления Микоян обратно в свою часть и вообще в армию не возвращается, что и есть дезертирство.

Но дезертиру Микояну благодаря каким-то связям с начальством удастся легализовать свое дезертирство и он, атеист,

поступает для продолжения своего духовного образования в армянскую духовную Академию в Эчмиадзине при Ереване. Как раз здесь-то Микоян и нашел ответы на свои вопросы. Профессор духовной Академии, атеист и большевик Ашот Овенесян, отложив в сторону богословские сочинения, за несколько месяцев перевел священника Микояна в новую веру — в материалистическую философию Маркса и революционную доктрину Ленина. Подпольная ячейка в Академии в том же 1915 г. вручила Микояну билет члена большевицкой партии. Сам Микоян пишет, что его завербовал в партию его родственник Шавердян.

Насчет армянской проблемы дело оказывается, обстояло гораздо проще — на «точном основании» марксизма Ашот Овенесян и другие лидеры местных большевиков объяснили Микояну, что армяне — это нация пролетариев, а пролетариат авангард большевицкой революции. Поэтому победа большевиков будет и победой армян, в чем от природы склонный к оппортунизму ум Микояна нашел утешение. К тому же Овенесян объяснил новоиспеченному большевику Микояну, что армяне собственно должны состоять не в одной, как дашнаки, а во всех русских и национальных партиях — какая-нибудь партия все равно выиграет, и Армения выиграет при всех условиях.

Вступив в большевицкую партию в 1915 г., пребывание в которой всегда считалось и считается несовместимым с верой в Бога, Микоян еще целых два года продолжает не только прилежно учиться богословским наукам, но и акуратно посещать церковную службу в Духовной Академии. Не только официальные биографы Микояна, но и сам Микоян в своих «Воспоминаниях» тщательно обходят этот отрезок времени в своей жизни. Богослов с атеистическим мировоззрением и «верующий христианин» с большевицким партбилетом в кармане — это столь феноменальное явление, что даже «всеспасаящая диалектика» оказалась бы тут бессильна дать какое-нибудь путное объяснение.

Во всей долгой, полной опасностей, но и непрерывных удач и успехов жизни Микояна, красной нитью проходит одна ведущая черта его жизненной философии — идя на риск, двигаясь в бой на врага, не сжигать за собою мосты, создавать себе всегда некое алиби, чтобы во-время отступить, если

предприятие окажется неудачным. Вот эта редкая интуиция политика всегда и спасала Микояна. Так было с ним и во время самых драматических страниц его биографии, связанных с историей гибели так называемых «Двадцатишести бакинских комиссаров». Но об этом поговорим в следующей статье.

А. Авторханов

ДОСТОЕВСКИЙ И БЕРДЯЕВ

В своей блестящей и несомненно гениальной книге о Достоевском Н. А. Бердяев как бы ПЕРЕРОС СЕБЯ. Как это могло случиться? Тайна сия велика. Но скорее всего это могло произойти по той причине, что огонь творчества Достоевского так ярк и жгуч на обоих противостоящих полюсах рая и ада, что он зажег и поджег Н. А. Бердяева.

Из предисловия к книге Н. А. Бердяева «МИРОСОЗЕРЦАНИЕ ДОСТОЕВСКОГО» ясно, что всему положительному и творчески прогрессивному (в хорошем смысле слова) Бердяев обязан Достоевскому и может быть назван его учеником в самом лучшем смысле слова, подобно тому как о. Сергей Булгаков может быть назван в самом хорошем смысле слова учеником и последователем о. Павла Флоренского. Любопытно, что оба они были вылечены своими учителями от ужасающего психопневматического недуга, от марксо-коммунизма: — о. Сергей окончательно и безповоротно, а Бердяев, увы, временно. Однако книга Н. А. Бердяева о Достоевском так сильна, глубока и гениальна, что после нее нечего бояться за судьбу ее автора ни в этом, ни в том мире.

В смысле понимания Достоевского, как типично национального гения и, в особенности, русского гения, Н. А. Бердяев вполне совпадает с тем, что говорит по этому поводу А. З. Штейнберг в своей «Системе свободы Достоевского». Но Бердяев настаивает на том, что его работа, в связи с особенностями духовного склада Достоевского является работой не по психологии но по пневматологии, именно потому, что Достоевский прежде всего великий мощный и персонально творческий дух и, притом, дух ярко выраженной русской национальности. «Достоевский был не только великий художник, он был также великий мыслитель и ВЕЛИКИЙ ДУХОВИДЕЦ. И так как ИДЕИ играют огромную, центральную роль в

* Изд. ИМКА-Пресс, Прага, 1923. Переиздано в Париже, 1968.

творчестве Достоевского» (стр. 7), то совершенно естественно сопоставить его с Платоном и даже признать его в известном смысле РУССКИМ ПЛАТОНОМ. Н. А. Бердяев этого не сделал, но мы должны это сделать и, конечно, ни в коем случае не заражаться специфической антиплатоновой идиосинкразией или аллергией Бердяева, входя тем самым в русло коммунистического тупого варварства и сатанизма «бесами одержимых свиней».

Ниспадение Бердяева в адскую бездну красной пошлости и предательство великой триады ИСТИНЫ, ДОБРА И КРАСОТЫ ради революционных ЛЖИ, ЗЛА и УРОДСТВА представляет собой целую тему, грандиозную тему подобную ПАДЕНИЮ САТАНЫ ИЛИ ДЕННИЦЫ, но только на почве СПЕЦИФИЧЕСКИ РУССКОЙ и в РУССКОМ ПЛАНЕ. Здесь нужно, конечно, принять во внимание громадность фигуры самого Бердяева, соотожествившегося с одним из важнейших героев «Бесов» — со Ставрогиным. Именно по этой причине Бердяев периода написания им «Миросозерцания Достоевского», «Философии неравенства», «Философии творчества», «Философии свободы», «Константина Леонтьева», сотрудничества в «Вехах», может быть в известном смысле уподоблен Люциферу до падения.

Что пленяет нас в Бердяеве этого периода, то-есть, периода написания «Миросозерцания Достоевского»? Нас пленяет его близость к гению Фридриха Ницше, который сам чувствует свою близость к Достоевскому и не скрывает этого. Это Ницше периода «РОЖДЕНИЯ ТРАГЕДИИ ИЗ ДУХА МУЗЫКИ», чего уж никак не могли понять, «свиньи марксо-коммунизма», стремившиеся всячески заглушить пение хоров дионисической трагедии, так увлекшей Ницше. Это тема Вячеслава Ивановича Иванова и Фаддея Францевича Зелинского — двух величайших знатоков классической древности, ее культуры, искусства, мифологии, философии и метафизики, словом всего того, что всегда так ненавидела и по сей день ненавидит нигилистическая радикальщина.

Бердяев классической школы не прошел, древние языки плохо знал, вернее сказать, совсем не знал и лишь в силу своей гениальной интуиции понял, что такое ДИОНИСИЧЕСКИЙ ЭКСТАЗ ДОСТОЕВСКОГО. И был такой момент, когда он в этом отношении, то-есть, в смысле древне-дионисического

понимания трагического начала Достоевского стал вровень с Вячеславом Ивановым, с которым его одно время соединяла дружба. Но впоследствии Бердяев, увы, предпочел старое корыто русской комреволюции...

В своем апогее, в том, что древние греки именовали «АКМЭ» Бердяев возвышается до вещания некоей Пифии когда говорит о Достоевском. «Он (Достоевский) весь погружен в дионисическую стихию и этот дионисизм рождает трагедию» (стр. 18). Что здесь пленяет у Бердяева, так это то, что здесь он воспарил вместе с Достоевским, который и поднял его на своих мощных крылах — «во области заочны». Согласно Бердяеву этого благословенного периода, Достоевский «ЗАТЯГИВАЕТ В ОГНЕННУЮ АТМОСФЕРУ ДИОНИСИЧЕСКИХ ВИХРЕЙ». Он знает только экстатическую человеческую природу. И ПОСЛЕ ДОСТОЕВСКОГО ВСЕ КАЖЕТСЯ ПРЕСНЫМ». Еще бы!

После чтения Достоевского «точно мы побывали в иных мирах, в иных измерениях и возвращаемся в наш размеренный, ограниченный мир, в наше трехмерное пространство. Глубокое чтение Достоевского есть всегда событие в жизни, оно обжигает, ДУША ПОЛУЧАЕТ НОВОЕ ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ. Человек приобщившийся к миру Достоевского становится новым человеком, ему раскрываются новые измерения бытия. ДОСТОЕВСКИЙ — ВЕЛИКИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР ДУХА. ОН ВСЕ НАПРАВЛЕН ПРОТИВ ОКОСТЕНЕНИЯ ДУХА» (стр. 18). Этим и объясняется тот поразительный факт, что в обычно понимаемой революции не только нет никаких переворотов, в ней ничего не раскрывается и нет ничего нового, но наоборот, все ранее бывшие перспективы закрываются, все погружается в серый смрадный ядовитый туман. Революция в обычном смысле слова, та, которую обличил и пригвоздил Достоевский, не только не дает ничего нового, но она ОТНИМАЕТ И ВСЕ ТО ХОРОШЕЕ ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ, ВСЕ ТО ЧТО ЧЕЛОВЕКА ПИТАЛО ДУХОВНО И ТЕЛЕСНО. Она приводит к «нагой и раскаленной пустыне» к «голому человеку на голой земле». Впрочем, раскаленный план революции не есть еще ее худший план — самый худший ее план — это ледяной девятый круг ада Данте, местообитание свалившегося вниз головой, изгнанного с неба гада-Люцифера.

Достоевскому несколько раз удавалось изображать ша-

баши революционных ведьм и чертей, но, кажется, глава «У наших» в «БЕСАХ» удалась ему лучше всего именно по своему изображению застойной скуки ...Вот почему был так прав уже цитированный Бердяев, сказав: — «ДУХ РЕВОЛЮЦИИ ВРАЖДЕБЕН РЕВОЛЮЦИИ ДУХА» Это именно так.

Но это вместе с тем налагает особые обязательства на всех, кто по настоящему с ней борются. Не может быть и речи о борьбе с революцией путем реакции и застойного мракобесия, как это сплошь и рядом бывает и чему мы были неоднократно свидетелями. ЗАОСТРЕНИЕ ДО ВЫСШИХ МЫСЛЕННЫХ ПРЕДЕЛОВ ТАКИХ СВЯЩЕННО СОФИЙНЫХ НАЧАЛ КАК ЛИЧНОСТИ, СВОБОДЫ И ТВОРЧЕСТВА — вот единственный способ и образ борьбы с революцией. НАДО ИДТИ ВПЕРЕД ОТ РЕВОЛЮЦИИ и, даже, не идти, но ЛЕТЕТЬ, НАДО ПАРИТЬ ТАЙНОЗРИТЕЛЬНЫМ ОРЛОМ и учиться «ВЗИРАТЬ НА СОЛНЦЕ», употребляя замечательное выражение ХРОМОНОЖКИ в «БЕСАХ», где этот образ прямо-таки диаметрально противостоит «потолстевшему» Николаю Ставрогину. В результате — МУЧЕНИЧЕСКАЯ КОНЧИНА ХРОМОНОЖКИ И САМОУБИЙСТВЕННОЕ СХОЖДЕНИЕ В АД СТАВРОГИНА.

С чрезвычайной смелостью Н. А. Бердяев бросает перчатку в этом смысле Льву Толстому и тем кто с ним, а с ним одно время была решительно вся радикально-демократическая и революционно-социалистическая часть России. «Поразительна противоположность Достоевского и Л. Толстого. Достоевский был глашатаем совершающейся революции духа, он весь в огненном динамизме духа ВЕСЬ ОБРАЩЕН К ГРЯДУЩЕМУ» (стр. 18). Здесь Н. А. Бердяев подчеркивает одну характерную антиномию или, если угодно, один парадокс у Достоевского, который надо разъяснить или раскрыть во что бы то ни стало, иначе оба сфинкса (черно-красный сфинкс революции и огненно-раскаленно-белый сфинкс Достоевского) могут погубить того, кто окажется между ними как между молотом и наковальней, между полюсами сильного источника электричества.

Дело ведь в том, что Достоевский «утверждал себя ПОЧВЕННИКОМ, он дорожил связью с историческими традициями, охранял исторические святыни, ПРИЗНАВАЛ ИСТОРИ-

ЧЕСКУЮ ЦЕРКОВЬ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО. Толстой никогда не был революционером духа; он — художник статический, устоявшегося быта, обращенный к прошлому, а не будущему, В НЕМ НЕТ НИЧЕГО ПРОРОЧЕСКОГО» (стр. 19). Еще парадоксальнее то, что при такой установке как артиста, художника «он бунтует против всех исторических традиций и исторических святынь, с небывалым радикализмом отрицает историческую Церковь и историческое государство, не хочет никакой преемственности культуры» (стр. 19).

Все дело в том, что парадокс этот лишь кажущийся. Он связан с тем, что ум у Толстого, как это заметила няня композитора С. И. Танеева — ГЛУПЫЙ УМ, это ум — плотяной. А обладатель плотского ума есть ДУХОВНО СЛЕПОЙ ЧЕЛОВЕК. Он прежде всего слеп к духовным ценностям и глух к небесной музыке, к «МУЗЫКЕ СФЕР». Люди этого типа, в том числе и русская революционная демократия и социалистическая интеллигенция пребывают, как некто сказал, «подобно пыли, оторванными от земли но не вознесенными на небо». Поэтому «Вехи» и говорили о том, что мы должны быть благодарны старому правительству, которое защищало людей духа и людей умственного труда своими пушками и своими штыками от ярости народной, то-есть от пресловутой «серой скотины» — от двуногих животных.

В противоположность ПЛОТСКОМУ УМУ ТОЛСТОГО И РУССКИХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ, Достоевский был наделен ГЕНИАЛЬНО-УМНЫМ ДУХОВНЫМ УМОМ, который не только не ослеплял его но делал его ТАЙНОВИДЦЕМ (ТАЙНОЗРИТЕЛЕМ). Ум Толстого и тех кто с ним окончательно ушел к земле — они ослепли потому, что это не была подлинная почва.

Ум Достоевского и тех кто с ним окончательно оторвался от земли и вознесся на небо и та почва, из которой это ум просиял, была не материальная и материалистическая, но зажегшийся во тьме свет как при творении мира и свет во тьме светящийся. Конечно, видеть это могли только умы типа Достоевского, умы духовные а не плотские. Н. А. Бердяев с необычайным искусством заостряет этот сравнительный анализ Толстого и Достоевского и доводит его до предела в порядке «ЛИМИТАТИВНОЙ» философии.

«Толстой всю жизнь искал Бога как ищет его язычник, природный человек, от Бога в естестве своем далекий. Его мысль была занята теологией, и он был очень плохой теолог. Достоевского мучит не столько тема о Боге сколько о человеке и о его судьбе, его мучит загадка человеческого духа. ЕГО МЫСЛЬ ЗАНЯТА АНТРОПОЛОГИЕЙ. Он не как язычник, не как человек природный решает тему о Боге, а как христианин как духовный человек решает тему о человеке. Поистине ВОПРОС О БОГЕ — ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ВОПРОС. ВОПРОС ЖЕ О ЧЕЛОВЕКЕ БОЖЕСТВЕННЫЙ ВОПРОС И, быть-может, ТАЙНА БОЖИЯ ЛУЧШЕ РАСКРЫВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ТАЙНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ, чем через природное обращение к Богу вне человека. Достоевский не теолог, но к живому Богу он был ближе чем Толстой, БОГ РАСКРЫВАЕТСЯ ЕМУ В СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА. Быть-может следует быть поменьше теологом и ПОБОЛЬШЕ АНТРОПОЛОГОМ» (стр. 20-21).

Здесь со всею силой и яркостью вскрылся ХРИСТИАНСКИЙ БОГОЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ Бердяева, получившего прививку духа от ПНЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА ДОСТОЕВСКОГО. Огромная заслуга Н. А. Бердяева та (в его труде о Достоевском), что он, опираясь на художественное творчество и мирозерцательную мысль, на метафизику Достоевского вступил в короткий, но решительный молниеносно-победный бой с так наз. реалистическим направлением в литературной критике главным образом в русской, ибо нигде это зловерное и поистине бездарнейшее направление критики не принесло столько вреда и не опустошило так души, как в России. Но несмотря на весь свой ум и одаренность вряд ли Бердяев так углубился бы в эту трудную тему и так бы в ней преуспел, не будь он в такой сильной степени стимулирован Достоевским.

«Искусство никогда не отражает эмпирической действительности, оно всегда проникает в иной мир, но этот иной мир доступен искусству лишь в символическом отображении. Искусство Достоевского все — о глубочайшей духовной действительности, о метафизической реальности, оно менее всего занято эмпирическим бытом. Конструкция романов Достоевского менее всего напоминает так называемый «реалистический» роман. Сквозь внешнюю фабулу напоминающую неправдоподобные уголовные романы, просвечивает иная реаль-

ность. Не реальность внешнего эмпирического быта, жизненного уклада, не реальность почвенных типов РЕАЛЬНЫ у Достоевского. Реальны у него духовная глубина человека, реальна глубина человеческого духа. Реально отношение человека и Бога, человека и дьявола, реальны у него идеи, которыми живет человек. Те раздвоения человеческого духа, которые составляют глубочайшую тему романов Достоевского не поддаются реалистической трактовке. Потрясающе гениальная обрисовка отношений между Иваном Карамазовым и Смердяковым, через которые открывается два «я» самого Ивана, не может быть названа реалистической. И еще менее реалистичны отношения Ивана и Чорта. Достоевский не может быть назван «реалистом» и в смысле психологического реализма. Он не психолог, он — пневматолог и метафизик-символист. За жизнью сознательной у него всегда скрыта жизнь подсознательная и с нею связаны вещие предчувствия. Людей связывают не только те отношения и узы, которые видны при дневном свете сознания. Существуют более таинственные отношения и узы, уходящие в глубину подсознательной жизни. У Достоевского иной мир всегда вторгается в отношения людей этого мира. Все прикованы у Достоевского друг к другу какими-то нездешними узами. Нету у него случайных встреч и случайных отношений. Все определяется в ином мире, ВСЕ ИМЕЕТ ВЫСШИЙ СМЫСЛ. Все встречи у него — как будто бы нездешние встречи, роковые по своему значению. Все сложные столкновения и взаимоотношения людей обнаруживают не объективно предметную, «реальную» действительность, а внутреннюю жизнь, внутреннюю судьбу людей» (стр. 23).

Н. А. Бердяев, к сожалению, не обратил внимания на одну очень важную и тесно связанную с только что сказанным тему, которую блестящий знаток и психоаналитик творчества Достоевского известный Бем назвал очень удачно «РАЗВЕРТЫВАНИЕМ СНА» (в повести «Вечный муж»). Впрочем автор этого исследования, Бем не сделал надлежащих и предельных, «лимитативных» выводов из своих собственных исследований, выводов, так сказать, общеантропологических и даже общекосмических, хотя они напрашиваются сами собой и очень важны для темы общего введения в творчество Достоевского. И это тем более, что работами Юнга и гл. обр., Фрейда и

Альфреда Адлера все уже методологически подготовлено. Речь, собственно, идет о расширенном и платоническо углубленном понятии **ВООБРАЖЕНИЯ** и о **ЖИЗНЕННО ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ ВОПЛОЩЕНИИ**, как **ФРАГМЕНТА ЭТОЙ ЭКЗИСТЕНЦИИ**, так и о **ВОПЛОЩЕНИИ КАРТИНЫ МИРА**, сочетающей **МАКРОКОСМ** и **МИКРОКОСМ** (то-есть человека).

Все это вне всякого сомнения входит в **ТЕМУ О ДОСТОЕВСКОМ**, не только вводя в нее но и даже **ЦЕНТРИРУЯ ЕЕ**. Повторяем, мы удивляемся тому что Н. А. Бердяев не сделал этих выводов из своей **АНТРОПОЛОГИИ** и из **АНТРОПОЛОГИИ ДОСТОЕВСКОГО** и здесь пытаемся сделать эти «лимитативные» выводы.

К этим темам в их окончательном виде мы приступим в порядке заключительном, теперь же надо поставить в порядке вводном вопросы о влияниях. Мнений или прямых утверждений на этот счет было много высказано и по разнообразным направлениям. Говорили о влиянии Гофмана, Дикенса (последнее отчасти верно в отношении самого первого периода вроде «Бедных людей»), Виктора Гюго, Жорж Занд. Оставляя эти влияния под вопросом и в тени, Н. А. Бердяев останавливается главным образом на влиянии Бальзака, «который также мало был «реалистом» как и Достоевский» (стр. 23).

Нам пришлось однажды написать исследование на тему «Гоголь и Достоевский». В этом исследовании речь идет главным образом о демонологии, где у Достоевского действительно много точек соприкосновения с Гоголем. Но этой близостью нельзя слишком увлекаться, иначе мы можем дать себя отклонить на боковые пути, притом же и «демонизм» у Гоголя и Достоевского очень различного типа (конечно, не говоря о точках полного соприкосновения, которые тоже есть). Однако у Достоевского, как правило, это бесноватая одержимость, человек остается человеком (за редкими исключениями вроде Петра Верховенского, Шигалева и др.) У Гоголя же это видимые черты, выходцы с того света, «гномы» (теперь говорят — «элементалы»); или же это при сохранении человеческих черт все же нечто до предела отвратительное даже тогда, когда человеческие черты не только сохранены, но «даже в них много сахара», на чем особенно настаивает сам Гоголь, рисуя физиономию Манилова, которую в первую минуту знакомства очень похвалишь, во вторую ничего не скажешь, а в третью

скажешь «чорт знает что такое» — и отойдешь; если же не отойдешь то почувствуешь «скуку смертельную». Ноздрев «слышащий в школе за хорошего товарища», что очень важно и составляет целую тему, тему будущего нации и народа, этот самый Ноздрев может сколько угодно пьянствовать, скандалить, лгать, шуллерничать, и, вообще, приближаться к уголовщине — обыкновенной и политической, — все равно, это — пустое место на котором выросли «густые и очень хорошие бакенбарды...» Все это как правило очень чуждо Достоевскому, суд которого над людьми может быть как угодно суров, но он всегда суд христианский и потому милующий (в каком-то смысле милующий, то-есть оставляющий место для финального спасения, хотя бы «как бы из огня» по слову св. ап. Павла). Вот почему так прав Н. А. Бердяев говоря, что «отношение Достоевского к человеку существенно иное, чем у Гоголя» (стр. 23).

Н. А. Бердяев считает, что решительным переломным периодом Достоевского является написание «Записок из подполья». Я думаю что Достоевский пережил два переломных периода. Первый перелом связан с каторгой, это период знакомства с миром, так сказать, «сверхчеловеков» дерзнувших на преступление. У него самого это связано с ожиданием неминуемой смерти по приговору — нечто гораздо более жуткое, чем то, что пережили его товарищи по каторге, хотя на самой каторге Достоевский во второй раз пережил ожидание неминуемой смерти от рук такой гадины как Газин: совершенно случайно Газин его не убил. Это описано в очень сильных штрихах в «Записках из мертвого дома». Между этими переживаниями и «Записками из подполья» протек период переходный. «До «Записок из подполья» Достоевский был еще психологом, хотя с психологией своеобразной, он — гуманист, полный сострадания к «униженным и оскорбленным», «бедным людям», к «героям» «Мертвого дома». С «Записок из подполья» начинается гениальная идейная диалектика Достоевского. Он уже не только психолог, он — метафизик, он исследует до глубины трагедию человеческого духа. Он уже не гуманист в старом смысле слова, он уже мало общего имеет с Жорж Занд, В. Гюго, Дикенсом и т. п. Он окончательно порвал с гуманизмом Белинского» (стр. 24). Мало того, для него как для человека высших степеней и ступеней остроумия и про-

никновения в подлинные глубины мира и человека все эти лица должны были казаться не только простовато наивными, но подчас и глупыми.

Во вторую половину своей творческой деятельности Достоевский «если и гуманист, то гуманизм его совершенно новый, трагический». В данном случае заметим, что термин «трагический» совершенно эквивалентен термину «диалектический» с прибавкой «пневматологический». Для нашей эпохи можно еще выразиться, что «гуманизм Достоевского экзистенциально христианский». Это следует подчеркнуть в особенной степени, ибо после Достоевского, равно как и после софиологии о. Сергия Булгакова, о. Павла Флоренского, после возрождения интереса к Серену Киркегору и «Нового религиозного сознания» и «Смысла творчества» Н. А. Бердяева само христианство приняло совершенно иной вид и вернуть его к благочестью старых деревенских баб и даже славянофилов вроде Петра Васильевича Киреевского совершенно невозможно. Мало того. Придется утверждать что под огнем «Заратустры» и других вещей Ницше и чудовищно кровавых, мучительских гонений претерпенных христианством от русского радикализма в лице большевиков-чекистов, марксо-коммунистов всё в христианстве приняло иной вид.

Мы радуемся вычитывая в этой книге Бердяева о Достоевском такие слова: «ЧЕЛОВЕК БЕРЕТСЯ НЕ В ПЛОСКОМ ИЗМЕРЕНИИ ГУМАНИЗМА, А В ИЗМЕРЕНИЯХ ГЛУБИНЫ, ВО ВНОВЬ РАСКРЫВШЕМСЯ ДУХОВНОМ МИРЕ» (стр. 24). Понятно почему «Достоевский окончательно становится трагическим писателем», и почему в нем «мучительность русской литературы достигает высшей точки напряжения», почему «БОЛЬ О СТРАДАТЕЛЬЧЕСКОЙ СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА И СУДЬБЕ МИРА ДОСТИГАЕТ БЕЛОГО КАЛЕНИЯ» (стр. 25). Тут, однако, следовало бы выбрать другие слова и даже другие установки, ибо с такими старыми словами легко соскользнуть в проклятую палаческую бездну от которой пахнет вместе со всем своим сентиментализмом окровавленным лезвием гильотины времен Дантона, Марата и Робеспьера вместе с горами детских трупов времен «сентябрьских убийств». Любопытно, что Бердяев столь умилявшейся ламентациям Белинского и Ивана Карамзова о «слезинке ребенка» НИКОГДА не вспомнил о дет-

ских трупах времен сентябрьских убийств. Не надо забывать, что в том белокальном жаре сострадательной любви к человеку, о которой говорит (и справедливо говорит) Бердяев в отношении Достоевского прежде всего должны БЕЗ ОСТАТКА СГОРЕТЬ ТЕ ПРОКЛЯТЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ «ИДЕАЛЫ», ВО ИМЯ КОТОРЫХ ЗЕМЛЯ ДАВНО ОПОЗОРЕНА САМЫМИ УЖАСНЫМИ ЗЛОДЕЯНИЯМИ перед которыми бледнеют все злодеяния «Великого Инквизитора».

Тема Достоевского дает повод Н. А. Бердяеву вновь поднять вопрос об отсутствии в России ренессансного духа, вопрос который он считает окончательно решенным и притом в резко отрицательном духе. С этим вряд ли можно согласиться так уж окончательно и бесповоротно, тем более что сам Бердяев делает исключения. Приняв же во внимание, что в число исключений попали две таких крупнейших фигуры как Пушкин и Константин Леонтьев, приняв во внимание что Достоевский был ученик Пушкина, что у Гоголя были целые полосы в его характере, духовных установках и в самом творчестве исполненных ренессансного духа, — после разочарования в нигилизме 60 и 70 годов и после подавления первой революции 1905 года у нас процвел роскошным цветом очень характерный и оригинальный ренессанс с такими типичными фигурами как Брюсов, Бальмонт, Блок, Белый и особенно Вячеслав Иванов и Ф. Ф. Зелинский, и стало возможным появление таких журналов как «Аполлон», «Весы», «Золотое Руно» и такого сборника как «Вехи». Поэтому тезу Бердяева о полном у нас отсутствии ренессансного духа придется признать весьма шаткой и сомнительной. Мало того. Высокий «КРАСОТОЛЮБИВЫЙ» дух самого Достоевского, ученика Пушкина, его решительная и беспощадная борьба с «внутренним варваром» ДЕЛАЮТ ЕГО САМОГО РЕНЕССАНСНОЙ ФИГУРОЙ. На этом необходимо остановиться.

Весь мир обошло крылатое словечко Жана Жореса «революция есть варварская форма прогресса». Но задача подлинного прогресса — очищать мир культуры от остатков варварства — где бы и в какой бы форме это варварство не проявлялось. Поэтому в знаменитом определении Жореса содержатся два противоречия. Во первых, нельзя уничтожать варварство насаждая вместо него другое варварство (и всегда горшее и отвратительнейшее). Кроме того. По отношению спе-

циально к русским революционерам, и особенно к таким как большевики, следует помнить, что сплошь и рядом уничтожение культуры и насаждение варварства было их прямою целью — стоит только вспомнить пресловутый «Катехизис революционера» и Нечаева, столь одобрявшегося Лениным, чтобы тотчас же исчезли всякие на этот счет сомнения. Мы здесь не цитируем характерные места рацей Петра Верховенского и Шигалева из «Бесов» Достоевского, ибо они достаточно известны.

Вся история большевицкой революции вне всяких сомнений показывает, что РЕВОЛЮЦИЯ ЕСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО САМАЯ НИЗКАЯ ФОРМА ДЕЛЯЧЕСТВА И СПЕКУЛЯЦИИ и ЧТО, КАК ПРАВИЛО, ЭТИ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО БЕСЧЕСТНЫЕ ДЕЛЬЦЫ, ОТЛИЧНО ЗНАЮЩИЕ КАК, ГДЕ И ЧЕМ НАБИВАТЬ СВОЙ КАРМАН, ВКУСНО ЕСТЬ и КРЕПКО СПАТЬ БЕЗ ВСЯКИХ СНОВИДЕНИЙ ОБЛИЧАЮЩИХ НЕСПОКОЙНУЮ СОВЕСТЬ, которой у них совершенно нет, да и которую они принципиально отвергают. Они крепко спят, по-чичевски как «те счастливы, которые НЕ ВЕДАЮТ НИ ГЕМОРРОЯ, НИ БЛОХ НИ СЛИШКОМ СИЛЬНЫХ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ...»

Последнее особенно и т. ск. «без швов» спаивает революционеров с чичиковщиной и ставит между ними полный знак окончательного равенства. Да собственно их антропологическая задача — ПРЕВРАТИТЬ ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В СКОПИЩЕ ГЛУПЦОВ И ПОДЛЕЦОВ, И, УЖ ПРЕЖДЕ ВСЕГО В БЕЗДАРНОСТЕЙ, ПОГАСИТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ ВСЯКИЕ СЛЕДЫ ТВОРЧЕСКОГО ОГНЯ и ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ ЧТОБЫ ОН НИКОГДА НИ В КОМ НЕ ЗАГРЕЛСЯ. Словом РЕВОЛЮЦИЯ — ЭТО НАСИЛЬСТВЕННО НАСАЖДАЕМАЯ КРАСНАЯ ЧИЧИКОВЩИНА. Можно представить себе, во что бы превратилось человечество если бы ленинский план в мировом масштабе удался!

«Сами идеологи и деятели не понимали до глубины характера совершающегося движения», говорит Н. А. Бердяев (стр. 134). И прибавляет: «Не они создали этот процесс, а процесс этот создавал их». Вымазанные кровью паяцы и чичиковы «они были активны по внешним жестам, но пассивны по состоянию

своего духа, отдавались во власть стихийных духов. Достоевский лучше понимал, что такое началось и к чему это идет. Он с гениальной прозорливостью почувствовал идейные основы грядущей революции русской, а может быть и всемирной. РЕВОЛЮЦИЯ СОВЕРШИЛАСЯ ПО ДОСТОЕВСКОМУ. Он раскрыл ее идейные основы, ее внутреннюю диалектику и дал ее образ» (стр. 135). Другими словами — и это очень уместно здесь вспомнить — ДОСТОЕВСКИЙ БЫЛ и ОСТАЛСЯ МОРФОЛОГОМ И ИКОНОГРАФОМ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. «Он из глубины духа, из внутренних процессов постиг характер русской революции, а не из внешних событий окружающей его эмпирической действительности» (тамже).

Это значит, что он не только был МОРФОЛОГОМ РЕВОЛЮЦИИ И ЕЕ ИКОНОГРАФОМ, но еще и ФЕНОМЕНОЛОГОМ, ее ПСИХО, ПНЕВМО ГЕНЕТИКОМ. Достоевский подобно преп. Серафиму УЗРЕЛ НАСТОЯЩИХ, ОБЫЧНЫМ ЛЮДЯМ НЕВИДИМЫХ ЧЕРТЕЙ-ДЕМОНОВ, ПОДЛИННЫХ БЕСОВ, стоявших за мелкой человеческой уличной сволочью — и подобно св. Серафиму УЖАСНУЛСЯ ИХ БЕЗОБРАЗИЮ И УРОДСТВУ. На языке оккультной философии можно сказать, что ДОСТОЕВСКИЙ ПОЛНОСТЬЮ РАССМОТРЕЛ ЭЛЕМЕНТАЛОВ революции.

Конечно «нельзя было бы назвать Достоевского консерваторм или реакционером в обычном, вульгарном смысле слова» (стр. 135). Н. А. Бердяев придумал для него термин — «революционер духа» — и нам кажется, что этот термин весьма удачен, «ибо он был революционером духа в каком-то более глубоком смысле слова». И уж конечно «для него нет возврата к тому устойчивому, статичному, душевно бытовому строю и укладу жизни, который века существовал до начавшейся революции духа» (стр. 136). Н. А. Бердяев объясняет это тем, что «ДОСТОЕВСКИЙ СЛИШКОМ АПОКАЛИПТИЧЕСКИ И ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИ настроен, чтобы представить себе такой возврат, такую реставрацию старой спокойной жизни».

Конечно, новый создавшийся революционный антибыт во всяком случае бесконечно хуже обычного обывательского быта тем, что от него всегда можно сбежать, а от революционного антибыта сбежать некуда, он задуман навеки, это ВЕЧНАЯ КАТОРГА ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Это вечный ад и агенты этого быта воистину бесы от которых надо отбиваться

как от бешенных свиней и крестом и пестом. Ведь это апокалиптические бесы, «элементалы» девятого круга. Но чтобы их рассмотреть надо обладать апокалиптическим ясновидением, хотя они порой и видимы просто в качестве отвратительных чекистских рож...

Итак, вражда Достоевского к революции была «ВРАЖДОЙ АПОКАЛИПТИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА, СТАВШЕГО НА СТОРОНУ ХРИСТА В ЕГО ПОСЛЕДНЕЙ БОРЬБЕ С АНТИХРИСТОМ» (стр. 136).

Владимир Ильин

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Л. Ф. ЗУРОВ

Статья «Отчина и ее автор» была написана в августе этого года. Я запросил Л. Ф. Зурова, в каком эмигрантском органе печати еще не было отклика на переиздание его книги. Писатель в первую очередь назвал «Новый Журнал», предполагая, что Р. Б. Гуль примет статью, сочетающую литературную критику и «исторические замечания» об авторе и книге.

10 сентября Леонид Федорович умер от разрыва сердца. Мой «веночек» на преждевременную могилу «приснопамятного боярина Леонида» — эта — неизменная и после его кончины — статья об «Отчине», которую писатель ожидал с видимым нетерпением, ибо знал о моем отношении к его творчеству вообще, и о ряде моих английских публикаций по истории Пскова и Псково-Печерского монастыря, то-есть о «субъектах» его повествования в «Отчине».

Леонид Федорович Зуров (1902-1971) — уроженец города Острова. Сознание его сложилось в России, охваченной испытаниями первой Мировой войны и революции. «По зову совести» (его собственное выражение) пошел он юным добровольцем в Северо-Западную армию. Ранение, а после «похода на Петроград» — интернирование и сыпняк в Эстонии, студенческий период в Чехословакии. На некоторое время он «пускает корни» в многоязычной балтийской Риге с ее яркими и выразительными культурными наслоениями: ливонско-латвийско-российскими. Но самым важным для молодого писателя была непосредственная близость к осколкам подлинной России: русскому крестьянству в Латгалии и в Печерском краю. Именно эта близость к русской «матери-сырой земле» и помогла писателю развить его столь богатый и своеобразный, «свой, зуровский» язык и стиль его прозы, определила, во многом, тематику и отозвалась на его мировоззрении, которое можно

определить, как *почвенническое* (кстати сказать, это именно то *начало*, которое, придает движущую силу творчеству А. И. Солженицына). Но, в первую очередь, Зуров был не только инстинктивно, но и сознательно взыскательным, к самому себе, *художником*. Черту эту сразу подчеркнул Бунин, когда обратил внимание на первые произведения писателя. Это признание писательского дара Буниным способствовало переезду Л. Ф. во Францию, где он оказался среди литературной элиты. Его печатали «Современные Записки» и «Последние Новости». Он выпустил в 1934 году повесть «Древний путь», в 1938 году еще более пронзающее «Поле», а после войны, в 1958 году «Марьянку», — в этот том вошли некоторые его короткие повести, рассказы и наброски. Его творческое внимание по-прежнему было, в основном, устремлено к теме русской стихийности (и в положительных и в отрицательных ее проявлениях). Его этнографическо-археологические путешествия в русские районы Прибалтики (в 1935, 1937 и 1938 годах), частично по поручению парижского музея «Человек» и французского министерства просвещения, обогащали его впечатления о русской деревне. В 1935 году он прекрасно реставрировал Никольскую церковь в Псково-Печерском монастыре, — факт, который дал ему большую славу в русской Прибалтике.

Писатель долго и упорно работал над романом «Зимний дворец», отрывки из которого были напечатаны в журнале «Новоселье». Получение свежих сведений от одного из рядовых участников «занятия дворца», заставило писателя изменить его первоначальные замыслы и задержало завершение произведения. Некоторые личные лирические мотивы, повидимому, должны были войти в незаконченную повесть «Иван да Марья». Л. Ф., как писатель, работал, главным образом, на «своем материале», то-есть писал только о том, что хорошо знал и чувствовал: именно поэтому он столь достоверно, убедительно и сильно (но без каких-либо «нажимов») мог рассказывать о бурях над Псковщиной и в XVI и в XX веках.

Л. Ф. стал своим человеком у Буниных (некоторое время он исполнял обязанности «личного секретаря» у Ивана Алексеевича). Целый ряд страниц в книге А. Баборека о жизни Бунина зарубежом написан на основании сведений, сообщенных биографу Зуровым. Немало страниц, написанных Буниным, было опубликовано в «Новом Журнале», благодаря Л. Ф., на-

шедшему их среди бунинских бумаг. Одно время Л. Ф. председательствовал в Объединении писателей и поэтов в Париже и оставил по себе добрую память, как доброжелательный и справедливый человек, никогда не включавшийся в «местнические счеты». У него было много друзей и в разных странах и в разных общественных слоях.

Книги Леонида Зурова останутся в русской литературе не в разряде литературных экспериментов, но как важные и правдивейшие свидетельства очевидца, совестливого и чуткого, русских трагедий и русской стойкости, запечатленные талантливым мастером прозы в полномесном писательском слове.

Кембридж, 1971 г.

Н. Андреев

О ПОЭЗИИ МИХАИЛА КАНТОРА

Стою один, как будто мне известна
Иная тайна и иной закон.

Так жил он, устремив взгляд в какую то загадочную даль, будто открыта ему была истина никому другому неведомая. А между тем в творчестве этого поэта, при всей его гармоничности и чистоте, нет ни обещаний ни утешений. Оно говорит о том, что навсегда было утрачено, о человеке отказывающемся от человечности, о неукротимом его стремлении к пустоте:

Так, не построив ничего, —
Ни теоремы, ни лачуги, —
Труд превративши в баловство
И промотав свои досуги,
Плетусь протоптанной тропой
И замечаю вдруг, что в чаще
Она теряется глухой,
Непроницаемой, грозящей.

Михаил Кантор скончался в прошлом году, после долгой болезни, 86 лет отроду. В качестве литературного наследия, кроме множества статей, разбросанных по различным русским журналам и газетам, он оставил тоненький сборник, скромно

озаглавленный «Стихи»: 28 стихотворений, о самом существовании которых почти никто не знал. Каждое из стихотворений отмечено мастерством встречающимся не часто. Слушая эти стихи, — а стихи эти надо именно слушать, как музыку, — невольно спрашиваешь себя, кто научил поэта, повидимому не осознавшего своего призвания, от всех скрывавшего свои сомнения и муки, кто, какой новый Буало научил его «с трудом писать столь легкие стихи». Писать стихи, которые поют: явление редкое. Кантора гармония и ритм слиты со словом и в слиянии этом некое чудесное «легато» возникает само собой.

Кто же мне унять поможет
Мысли медленный огонь,
На горячий лоб положит
Мне прохладную ладонь?

Каждое слово, подвернувшееся будто по счастливой случайности, стоит на незаменимом месте и подчиняясь дыханию поэта, дает каждой фразе единственно подходящий ей строй.

Это ветер, это ветер
Ускоряет свой полет,
Это ветер на рассвете
Песни дикие поет.

За такими удачами чувствуются долгие годы раздумий и труда. Не знали, не подозревали об этом труде даже друзья поэта. Кантор был выдающимся, талантливым юристом, критиком, эссеистом, одно время, с 1926 до 1929 года, он занят был редактированием зарубежного русского литературного журнала, — кто мог догадаться, что прежде всего он — поэт? Была у Михаила Львовича редкая особенность: он никогда не говорил о себе. О чем бы ни шла беседа, какие бы вопросы, пусть и близко затрагивавшие его как поэта, ни были в ней затронуты, он никогда, ни одним намеком не давал понять о наличии у него поэтического опыта. Суждения его всегда обогащали собеседника, но невозможно было догадаться, что источник обогащения в общении с истинно-творческим духом. Никто не подозревал и того, что этот утонченно-просвещенный человек, прочитавший, казалось, все написанное на четырех языках, которыми он владел в совершенстве, — русском, французском, английском и немецком, — каждое утро

садится за свой письменный стол и в тетрадь заносит свои мысли, заметки, наблюдения, наброски стихов. К сожалению, тетради эти до сих пор никем еще полностью не прочитаны. Здесь тоже обнаруживается отсутствие малейшего желания выйти из мрака, назначенного ему судьбой. Здесь, как в книге Марка-Аврелия, все происходит в уединении, «наедине с собой». Нет руки, властно указывающей нужный путь, здесь наоборот чудится рука, прижатая к губам, чтобы не вывалось ни лишнее слово, ни упоминание о стране снов:

Страна, где ваша радость неуместна,
Где истиной иной я покорен...

В страну эту поэт нас не зовет, он хранит для себя то, что открылось его внутреннему взору. Он как будто говорит: ищите сами свою истину, — та, которую я нашел, вам чужда, она нужна только мне, как все, что я делаю, все, что я думаю, все, что я пишу.

Не часто случается, чтобы поэт с такой настойчивостью стремился отойти в тень, и в такой мере достиг своей цели. Большинство пишущих ведь нетерпеливо ждет признания. Михаил Кантор, наоборот, склонен был продлить ожидание чуть ли не до бесконечности. Однако, когда русская критика, — по крайней мере та, которая внимательна к стихам, — откроет и уловит то, что в поэзии его неповторимо, то, что ускользает от каприза вкусов и литературных веяний, она именно в критических статьях его найдет к этой поэзии ключ. Такова судьба поэтов подобных Кантору: они не в силах сказать что-либо о себе иначе, чем говоря о других не замечая при этом, что их суждения о других относятся к ним самим и, значит, их разоблачают.

«Поэма без героя» Анны Ахматовой, написанная между 1940 и 1943 годами, была опубликована в Нью-Йорке без ведома автора. 5 января 1960 года Кантор дал о ней отзыв. «Возможно, — писал он, — что в ней Ахматова достигла вершины своего творчества». Действие поэмы происходит в призрачном городе, в Петербурге накануне первой мировой войны, в 1913-м году, а город этот обречен исчезнуть, как и весь тот мир, символом и центром которого он был. Призрак разрушения витает уже и над этим городом и над этим миром. Тени из этого прошлого и из прошлого более близкого (поэма по-

священа памяти «друзей и сограждан, погибших в Ленинграде») приходят на свидание с поэтом, внушая ему предельный ужас:

Нету меры моей тревоге,
Я, как тень, стою на пороге,
Стерегу последний уют...

Однако, надвигающиеся видения не поддаются ни иронии, ни скепсису, и ощущение жути, внушаемой их присутствием, невольно передается читателю».

Поэзия самого Кантора тоже пренебрегает поздне-романтической образностью. Стремясь дать представление об ужасах небытия, она довольствуется выражениями самыми обыденными, и вся ее сила в этом отказе от традиционных образов. В статье об Ахматовой Кантор цитирует ее скорбные строки с таким чувством, будто в них сказано то, что едва-едва не сказал он сам:

И всегда в духоте морозной,
Предвоенной, блудной и грозной,
Непонятный таился гул...
Но тогда он был слышен глухо,
Он почти не касался слуха
И в сугробах невских тонул.

Еще показательнее большая статья, написанная приблизительно в то же время и появившаяся в «Русской Мысли» 9 фев. 1960 г., под названием «Чехов: западные отклики». Кантор дает в ней новое, на мой взгляд вполне оригинальное истолкование чеховского творчества, ссылаясь при этом на суждения английских и немецких писателей. Сначала он приводит отрывок из того, что писала Вирджиния Вульф, — отрывок, кстати сказать, превосходно переведенный:

«...Метод на первых порах казавшийся нам таким небрежным, неубедительным, привлекающим внимание к пустякам, теперь представляется нам покоящимся на удивительно тонком и требовательном вкусе, смелом в выборе, безошибочно подбирающем детали и проверяемом совестью, притом со строгостью, которая встречается только у русских же писателей. Может быть, на поставленные вопросы нет ответа, но не станем подтасовывать доказательства, чтобы получилось нечто

приемлемое, изящное, льстящее нашему тщеславию. Пожалуй, расположения публики таким путем не приобретешь: она привыкла к музыке погромче, к ритмам поглубже; но он записал мелодию такой, какой ее слышал. Так получилось, что читая эти маленькие рассказы «ни о чем», мы видим, как горизонт расширяется, душа приобретает сознание необыкновенной свободы».

По мнению Кантора, Вирджиния Вульф «нащупала суть дела: на Западе Чехов произвел впечатление своей писательской честностью и скромностью, нежеланием пожертвовать чем-либо ради мнимых требований определенного жанра. Простота Чехова показалась прямым откровением. Оказалось, что вовсе не необходимо дать читателю законченную фабулу с развязкой. Оказалось, что возможно, не повышая голоса, рассказать что-то правдивое и существенное о незаметных людях и о повседневной серой их жизни. Вот в чем состояло то «расширение горизонта», та «свобода», о которых пишет Вирджиния Вульф. Искусство Чехова — трудное искусство, и поэтому кое-кому уроки его впрок не пошли. Их сумели использовать только те, кто памятуя о великом учителе честности, простоты и скромности, сохранили, однако, свою индивидуальность и остались верны своему художественному темпераменту, как удалось это Катерине Мансфильд».

Вслед за тем идет цитата из посмертной статьи Томаса Манна, посвященной преимущественно «Скучной истории», произведению, по мнению Манна, исключительному, в своем печальном и спокойном своеобразии стоящему в литературе особняком. «Это, — говорит Манн, — извечный русский вопрос «Что делать?», — вопрос, на который старый профессор, изображенный в рассказе, не имеет ответа». Русский ли только это вопрос? Верно, что в свое время в России постановку его критика приписывала подавленности русского общества в 80-х гг. Однако, Манн не уверен, что ответ на него вообще возможен. Писателя же, который, подобно Чехову, ставит правду выше всего и поэтому избегает ответа, начинают упрекать в беспринципности, в безразличии к добру и злу... Манн убежден, однако, что Чехов этого упрека не заслужил. Так и Вирджиния Вульф, и Томас Манн невольно в своей оценке Чехова от эстетического критерия переходят к критерию этическому».

Кантор утверждает в заключение, что влияние Чехова на

западную литературу основано главным образом на синтезе двух начал, эстетического и этического. «Не высшая ли это похвала, — спрашивает он, — какой может удостоиться писатель?»

Здесь критика вскрывает тайный замысел поэта, так как говоря о Чехове, критик-поэт говорит и о себе и о своем искусстве, стирающем границу между мыслью и напевом, речью и музыкой. Не знаю, можно ли найти лучший образец этого, чем те две строфы, которыми сборник Михаила Кантора оканчивается:

Как и ты, я не знаю, какие нас ждут испытанья,
Как и ты, я блуждаю в тревожной, отравленной тьме,
Только я не хочу ни советов, ни веры, ни знанья,
Замыкаюсь упрямо в своей добровольной тюрьме.

Жить осталось не долго — нам всем да и нашей планете,
Право, стоит ли нам предаваться пустой ворожбе?
Поздно, поздно гадать. Что-б теперь ни случилось на свете,
Не откроются райские двери ни мне, ни тебе.

Евгений Винавер

БИБЛИОГРАФИЯ

ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ТРУДАХ Н. Е. АНДРЕЕВА*

В Лондоне вышла книга кэмбриджского, но русского, ученого Николая Ефремовича Андреева. В ней собраны (фотомеханическим способом воспроизведены) его работы — почти за сорок лет — по истории Московской Руси XVI и XVII века. Часть их написана по-русски, часть по-английски. Опубликованы они были в различных ученых журналах и сборниках, в том числе одна («Об авторе приписок в лицевых сводах Грозного») в XVIII томе «Трудов отдела древнерусской литературы», издаваемых Академией Наук в Москве. Первые четыре (по времени), положившие начало репутации их автора как историка, появились в пражском «Семинариум Кондаковиа-нум», в пятом, седьмом, восьмом и десятом (последнем) томах; первая (О «деле дьяка Висковатого») — в 1932 году. Я тогда же напечатал отзыв об этом томе «Семинариума» в «Современных Записках» и в отзыве отметил выдающиеся качества этой обстоя-тельной, столь же вдумчивой, сколь и тщательно документированной первой работы лично мне в то время не знакомого молодого автора. Специалистом по русской истории — и уж тем более московского ее периода — я никогда не был, но историей иконописи занимался уж и тогда, а «дело дьяка Висковатого» или «Розыск о сомнениях дьяка Висковатого», как гласит другое заглавие того же текста, имеет отношение именно к ней. Да и не полностью верно мнение (по крайней мере, в области исторических наук), что лишь специалист может судить о трудах другого специалиста. О его *знаниях* «чело-век со стороны» судить не в состоянии, но об остроте его *понимания* и точности мысли может составить себе представление. На этих основаниях я первую работу Николая Ефремовича и оценил. С тех пор читал я многие другие его работы, вошедшие в отчетный сбор-ник, и всегда, в моих глазах, эту первую мою оценку они подтвер-ждали; только теперь *моих* глаз ни автору, ни его читателям больше не нужно, и мои оценки его работ тоже никому не нужны. Он — общепризнанный крупный исследователь; мое признание ничего к его славе не прибавит; и если я скажу, что по-моему он правильно определил время и адресата послания старца Филофея (не Иван

* *N. Andreyev. Studies in Muscovy. Variorum Reprints. London. 1970.*

Грозный, а Иван Третий) или автора приписок в лицевых сводах Грозного (Висковатый, а не царь), то, поскольку новых аргументов к им выдвинутым я прибавить не могу, и эти заявления мои никакого веса иметь не могут. Я поэтому ограничусь слегка критическими замечаниями по очень общему вопросу, касающемуся нашего иконописания — писать о несогласии ведь и вообще плодотворней, чем о согласии. Но сперва скажу несколько слов о том, о чем в настоящей ученой рецензии писать было бы неуместно.

После войны я ведь и лично познакомился с автором. Было это всего недели через две после того, как попал он, совершенно для него неожиданно, в Кэмбридж. Забросили удочку оттуда и выудили его в 48-м году из Берлина, где он уже месяц или два пребывал без документов, денег и друзей, после того как провел больше двух лет в различных тюрьмах и лагерях, управляемых русскими военно-полицейскими властями. Он говорил мне, что каждое утро щиплет себе руку, просыпаясь: не во сне ли, мол, все это? «Каким чудом попал я в зеленый этот и ученый городок, где я буду заниматься своим делом, где нашлись у меня друзья, где никакие невзгоды мне не угрожают?» Николай Ефремович — очень русский человек, «русее» я пожалуй, никого не видывал, кроме разве что художника Коровина (Куприн в счет не идет — не посчастливилось мне видеть его трезвым). Его чрез двадцать с лишним лет Кэмбридж в англичанина не переделал. Я бы его принял за москвича, если бы не знал, что родился он в Петербурге (в 1908 году), гимназию кончил в Ревеле, а университетское образование получил в Праге, где Кондаковский институт дал ему ту особую выучку, которая пошиб и почерк его ученых трудов в значительной мере и определила. Темпераментный он человек. На лекциях или докладах его не случалось мне присутствовать, но слышал не раз об увлекательности их и о том, что читает Н. Е. с большим огнем, горячо, отстаивая свою правоту и свидетельствуя всей своей манерой говорить о силе своих научных убеждений.

Тем замечательнее в каждой работе его заново проявляемая строгость к себе, выверенность каждого шага, осторожность и точность формулировок, воздержание от преждевременных обобщений, внимание к доводам противников, отсутствие всякой горячности в полемике. Все добродетели эти, победы, добытые, нужно думать, не без борьбы, обретены им были, прежде всего, благодаря врожденной и пламенной вере в их необходимость, но и вскормлены были в нем Кондаковским институтом, из чьей традиции, однако, или непосредственно из трудов во славе почившего и в небесах пребывающего главы Семинара проистекает и одно маленькое предубеждение, о котором я теперь поведу речь. Чтобы совсем просто — а, тем самым, и грубо — его обозначить, назову его предубеждением про-

тив истории искусства. Никодим Павлович Кондаков был превоклассный ученый и, судя по его воспоминаниям, очень «самовитый» человек (недаром выскочило у меня из-под пера это словцо: воспоминания написаны удивительным языком — смесью Хлебникова с Глебом Успенским, но которые писали бы оба для «Журнала Министерства Народного Просвещения»). Много поработал он, много существенного даже и открыл для истории искусства (византийского и русского), не имея, однако, об истории искусства (о том, прежде всего, чем оно стало после Букгардта в странах немецкого языка) никакого, пусть и отдаленнейшего, представления. Да и о самом искусстве... с той его стороны, которая его делает искусством. Художественного качества русских икон совершенно не чувствовал — ни в смысле со-чувствия ему, ни в смысле распознавания веков, школ и мастеров. В своей двухтомной, на французском языке опубликованной, создавшей ему славу и, действительно, основополагающей книге о византийской книжной живописи расценивал ее (как, впрочем, и другие в то время) по степени близости к каким-то гипсовым, в академиях списываемым, «антикам», то есть навыворот, если судить о ее сути и подлинном развитии; к тому же все попытки другого восприятия этих искусств клеймил как эстетские, любительские и недостойные истинной науки.

Ныне всё это самими же русскими учеными сдано в архив. В своих статьях «Литература и иконопись» и (английской) «Никон и Аввакум об иконописи» Н. Е. Андреев ссылается с полным одобрением на их работы (В. Н. Лазарева, М. В. Алпатова, а также младших В. И. Антоновой, Н. Е. Мневой), но все-таки именно в этих его статьях просвечивает некоторое с молоком его пражских кормилиц всосанное недоверие к методам истории искусства и к основной точке зрения, определяющей их; всё еще к заветам Кондакова возвращается его мысль, всё еще хвалит он его не совсем за то, за что можно и должно его хвалить, все еще эстетствующим ему кажется (а не научным) изучение искусства как искусства. Признаю, однако, что это утверждение мое нуждается в пояснениях и даже извинениях. Во-первых, это почти что «чтение в мыслях», рецензентам вполне справедливо воспрещаемое: нигде Н. Е. таких мыслей в основу своей работы не кладет и если высказывает их, то походя и с большой осторожностью; а, во-вторых, когда указывает он конкретные недостатки или пробелы, связанные с тем подходом к материалу, который он и вообще склонен осуждать, то указывает он их совершенно правильно, и я каждый раз вынужден бываю с ним согласиться. В первой из названных только что статей он с полным основанием сетует на то, что исследователи иконографии древнерусских святых не всегда принимают достаточно во внимание житийную литературу, которая нередко помогает иконографию эту

объяснить. Приводимые им примеры убедительны; ссылка на чрезмерную специализацию тоже; была бы убедительна и ссылка на Кондакова, который, действительно, письменных источников, каковы бы они ни были, не забывал, если бы не чрезмерная ему хвала (стр. 65) и не сказанное вслед за ней: оно-то как раз и показывает ее чрезмерность. Читаем:

«Кондаков делал свои анализы, не упуская из виду, что иконопись прежде всего религиозное искусство, служившее дидактическим заданиям церкви, и что возникновение иконных тем, смысловое движение в композициях не было пустым звуком для людей той эпохи. Виртуозная — иногда — иконная техника, блеск и игра колорита — в конечном счете — только средство для достижения религиозных целей церковной политики».

Верно, что иконопись — религиозное искусство, но служить религии и служить дидактическим задачам церкви — две вещи разные: могут служения эти совпадать, а могут и не совпадать, но одной дидактикой искусства не сделаешь; и при той же самой дидактике искусство может быть совершенно разным. А уж «виртуозная иконная техника» или «блеск и игра колорита» (можно подумать, что устами своего поклонника это сам Никодим Павлович какую-нибудь «италокритскую» Мадонну хвалит) совсем ничего не имеет общего с искусством Дионисия или Рублева. И «религиозная цель» это — спасение души, а цели церковной политики бывают разные. Религиозное искусство, прежде еще, чем служение религии, есть выражение религии. Все дело в том, что Дионисий выражает в своем искусстве немножко другую религию, чем Рублев. Одним «стилистическим» или формальным анализом этого изъяснить нельзя, но и одним иконографическим — тоже. Иконография для этого должна еще подняться до иконологии, что Кондакову и не снилось, а целостное понятие стиля должно включать и присущую ему интерпретацию сюжетов наряду с тем, что начисто эстетствующим историкам приучили нас называть стилем, т.е., например, характеристику готики независимо то того, чем для религии был готический собор.

Я их не защищаю. Только забывать все-таки не следует, что Владимирская Божия Мать Симона Ушакова — иконографически точнейшая копия Владимирской Божией Матери, и что, несмотря на это, несоизмеримы они: небо и земля. Когда в статье о Никоне и Аввакуме Николай Ефремович корит историков, объясняющих приверженность обоих к старому иконописанию их эстетическими вкусами, он прав; но он неправ, объясняя ее чисто церковными или исключительно религиозными соображениями и чувствами. Во втором случае он еще менее прав: Никон, пожалуй, и мог свирепствовать устава ради, забывая, вместе с искусством, и религию; Аввакум, описывая свое отвращение к «живству», искусства от религии не

отделяет. Эстеты отделяют, но ведь он знать ничего не знает об эстетстве, как и об эстетике. Анахронизм — говорить о его эстетических симпатиях или антипатиях; но такой же анахронизм и думать, что, глядя на икону, мог он в своем чувстве отделить религиозное ее приятие или неприятие от того, которое мы теперь религиозным не стали бы называть.

Повторяю, однако, что все эти мои замечания лишь совсем с края задевают книгу, о которой я говорю, и больших достоинств ее ничуть не хотят преуменьшать. Я не воздержался от критики этой лишь потому, что мне очень дорога мысль о таком построении истории древнерусского искусства, при котором религиозная его основа не забывалась бы и была бы поставлена в связь с его лицом, с тем, что его характеризует как искусство (в свидетельство чего, т.е. любви моей к этой мысли, сошлюсь на мою напечатанную в «Новом Журнале» статью «О религиозном корне древне-русского искусства»). В трудах Н. Е. содержится много ценного материала именно для такого истолкования поздней нашей иконописи — в том, например, что он говорит о мистико-дидактических иконах, как их весьма удачно назвал Кондаков. Только «мистико-дидактический стиль» — формула все-таки преждевременная; она получит оправдание лишь когда будут показаны формальные коррелаты того, что нынче позволительно именовать не стилем иконы (или иконописи), а всего только стилем иконографии. Конечно, и у нее есть стиль; иконология может его определить; у Рембрандта в религиозных сюжетах обнаруживается стиль иконографии вполне адекватный формальному его стилю и оттуда же проистекающий, откуда проистекает любой целостный стиль: из религии, из его, Рембрандта, религии. Вот мне и хотелось бы, чтобы древнерусское искусство изучалось не по муратовским (упрощенно говоря) заветам, но и не по кондаковским, а в неразрывной связи иконологии со всем прочим и при постоянном учете общей укорененности его в религии, а развития его в ее изменениях, колебаниях, вплоть до ее выветривания или иссушения.

Что же до Н. Е. Андреева, то к нему я обращаю робкое дружеское пожелание, чтобы занялся он Симоном Ушаковым — фигурой изумительной, художником, хоть и потерпевшим крушение в своем искусстве, но человеком ума и добра, которым в России заниматься должным образом не могут (оттого лучшие наши **искусствоведы** и избегают занятий им) — по причинам жалким, ярлыковым (ежели «реализм», значит, хорошо), но которые едва ли будут в ближайшие годы отменены. А за книгу от души его хвалю и с выходом ее в свет сердечно поздравляю.

В. Вейдле

History of the Russian Non-Marxian Social-Economic Thought by Dr. Boris Ischboldin, New Book Society of India, New Delhi, 1971, pp. 328.

По окончании первой мировой войны много было написано о социально-экономических доктринах русских марксистских авторов. Зато интересно, пожалуй даже удивительно, что так мало внимания было оказано русским не марксистским идеям. В своей только что появившейся книге профессор Ижболдин, известный русско-американский экономист и знаток социальных наук, дает крайне необходимый научный анализ развития русской не-марксистской социально-экономической мысли, то-есть, исследует проблему, недостаточно освещенную самими русскими. Его книга искусно ведет читателя от древнейших писаний православных монахов в последний период средневековья к трудам русских ученых в изгнании, напечатанным в по-революционную эпоху.

Для студента, изучающего эволюцию мысли, эта книга воистину является кладом идей, дающих блестящее проникновение в экономическую, социальную, культурную и политическую историю России. Профессор Ижболдин правильно отмечает, что, хотя некоторые западные экономисты оказали большое влияние на русскую социально-экономическую мысль, ее развитие во многих отношениях отражает самобытное развитие русского народного хозяйства. Начиная с 1760-х годов наиболее значительной чертой русской экономической мысли была, пожалуй, критика крепостного строя. Идея социальной справедливости, покоящейся на коллективной совести, была доминирующим элементом и непопулярность «стяжательного принципа» являлась значительной чертой русской социальной мысли.

Изложение автором различных течений мысли столь превосходно организовано, что читателю нетрудно ориентироваться в эволюции русской социально-экономической литературы. Оценка трудов меркантилистов ведет к анализу роли физиократического движения, которое впрочем мало развилось в России. Хотя Екатерина II-я основала Вольное Экономическое Общество, вдохновленное физиократами, крепостной строй оказался для физиократов непреодолимой помехой. За исследованием аргументов в пользу крепостничества в 18-м веке и за исследованием учения ранней исторической школы следует анализ идей Радищева, который считается «первым русским радикальным экономистом». Засим следует анализ влияния классической школы в XIX-м веке и радикального учения Декабристов, сложившегося под влиянием великой французской революции. Руководящие русские протекционисты в значительной степени отражали взгляды Александра Гамильтона и Фридриха Листа.

Учение славянофилов в 19-м веке было основано на защите православия, христианского братства и национального романтизма,

сочувствовавшего до-Петровской Руси. Позитивные стороны функциональной собственности в русской сельской общине выдвигались в ущерб западному материалистическому и чисто правовому подходу к понятию собственности.

Первоначальное народническое движение, руководимое интеллигенцией, явно стремилось к революционным целям — что вытекает из писаний Герцена. В частности создание славянской федеративной демократической республики открыто рекомендовалось Герценом. Предсказание некоторых народников, что Россия перестроит социально-экономическую жизнь всех славянских стран оставляет читателя в некоторой тревоге. В частности, Герцен сказал, что «экономическая наука ставит вопрос, на который только социализм может дать ответ». Идеи более поздних либеральных народников (начиная с 1880-х годов) отражали некоторый отход от радикализма предшествовавших десятилетий и придали народничеству характер «буржуазно-демократического» движения. Чернышевский в отличие от подлинного народничества выдвинулся в XIX веке в качестве вождя радикальной группы социалистов. Эти радикалы смотрели на политическую экономию как на «социальную гигиену», которая должна помочь перестроить данный социально-экономический строй в такой, где эксплуатация человека человеком стала бы невозможной.

После анализа русской исторической школы в экономической науке в 19 веке и в начале текущего столетия проф. Ижболдин обращается к анализу научных трудов трех руководящих русских экономистов начала нашего века. Двое лидеров, Туган-Барановский и Струве, были первоначально известны как «легальные марксисты», но затем отошли к идеализму. Даже в период их увлечения марксизмом они отвергали тоталитарный строй. В отличие от них Бунятян никогда не сочувствовал марксизму и после второй мировой войны был известен, как критик идей знаменитого английского экономиста Кейнса.

В дальнейших главах разбираемого труда автор анализирует идеи Бернацкого (последнего русского министра финансов), объясняет непопулярность математических экономистов в России, исследует учение руководящих русских анархистов и по-революционное «евразийское» движение за рубежом. Евразийцы отвергают марксизм-ленинизм, подчеркивают туранский элемент в истории и культуре русского народа и считают, что Россия не принадлежит к Европе или Азии, но представляет собой отдельный континент. В экономике евразийцы сочувствуют плановому хозяйству.

Последняя глава рецензируемой книги посвящена анализу идей школы «Экономического Синтеза», которой профессор Ижболдин является одним из основателей и лидеров. Эта глава взята из книги

«Экономический Историзм», опубликованной профессором Г. М. Бакиром в Нью Дели в 1968 году. Школа экономического синтеза представляет собой нематематический подход к науке о хозяйстве и пытается объединить в себе главные элементы классического, неоклассического, исторического, романтического и Кейнского направления в теории хозяйства. В своем учении профессор Ижболдин придает большое значение влиянию истории и культуры на экономическую жизнь, процессу эволюции и «диалектической игре» социальных сил. Рецензия на его труд «Экономический синтез» появилась в 62 книге «Нового Журнала».

Выдающейся чертой разбираемой книги является факт, что она не только дает глубокий анализ русской не-марксистской социально-экономической мысли, но знакомит и с современным советским взглядом на многие не-марксистские идеи. Этот научный труд несомненно является мастерским изложением различных идей, которые фундаментально повлияли на структуру русского общества в до-советский период. Чтобы ясно понять под какими влияниями складывалась хозяйственная жизнь в императорской России эта книга необходима не только для изучающих русские проблемы в до-советский период России, но и для лиц, посвятивших себя изучению советского строя.

*Др. Д. Викор,
профессор экономических наук
Западно-Каролинского Университета*

HALF A CENTURY RUSSIAN SERIALS 1917-1968. Cumulative Index of Serials Published Outside the USSR. Compiled by MICHAEL SCHATOFF. Edited by N. A. HALE. Part II, 1917-1956. N - R. Russian Book Chamber Abroad, New York, 1971. xlv, 174-355 pp.

Вышел второй том библиографического указателя «Полвека русской периодики. 1917-1968», выпускаемого Русской Зарубежной Книжной Палатой. Составитель — М. В. Шатов. Редактор — Н. А. Хэйл. Первый том его вышел в прошлом году.

Указатель рассчитан на четыре тома. С выходом следующего — третьяго — тома будет охвачен период с 1917 по 1956 год. В четвертый том войдут периодические издания 1957-1968 годов.

В указателе отмечены научные труды альманахи, бюллетени, газеты, ежегодники, журналы, календари, выходящие в местах русского рассеяния. До Второй мировой войны это был весь мир, кроме Советского Союза. С началом войны территория Зарубежной России начинает уменьшаться. Отпадают Польша, Прибалтика, Бессарабия, после войны — Болгария, Чехословакия, Югославия и другие страны-спутники, а еще позже — Маньчжурия и Китай.

Потеряны не только территории, но и огромное население. И вторая эмиграция, несмотря на ее многочисленность, не восполнила потерь.

Язык указателя — английский. Транслитерация проведена согласно правилам Библиотеки Конгресса. Издания расположены в алфавитном порядке — по их названиям или по имени издающей организации. Издания с одинаковыми названиями расположены в алфавитном порядке по месту их выпуска.

Библиографические сведения приведены в следующем порядке: название, выпускающая организация, кем основано, издательство или издатель, редактор, место выпуска, периодичность, год выпуска первого номера, количество выпущенных номеров, способ печати, орфография.

Конечно, не для всех изданий удалось собрать полные сведения. В некоторых случаях пришлось ограничиться названием и страной, даже год выпуска не установлен.

Вторая часть начинается с буквы N и кончается буквой R. Всего в ней приведено 1149 названий, из них 324 — начинающихся со слова «Русский» в разных родах и падежах, не считая многочисленных «Россий», «Русей» и «Российских».

Но не все, что печаталось на русском языке, выпускалось русскими. В 1925 году в Белграде инициативная группа студентов-калмыков издавала журнал «Ойрат» под редакцией Д. П. Баянова, а в 1947-48 годах выходил в Пфаффенгофене (Бавария) калмыцкий же еженедельник по-русски «Обозрение» под редакцией Ш. Балинова.

В 1933 году в Париже Комитет осетиноведения при «Европейском центре музея академика Н. К. Рериха» издавал под редакцией Джамбулата Джанти журнал «Осетия». Профессору Дж. Джанти удалось заинтересовать серьезных исследователей, и уже после Второй мировой войны он редактировал журнал «Осс-Алан», выходивший тоже в Париже. В нем статьи печатались в оригинале на разных языках. Помню статьи проф. Г. Вернадского по-английски. Сам Дж. Джанти путем сличения языков доказывал родство осетин и басков. После его смерти в середине 50-х годов журнал прекратился.

В 1920-22 годах в лагерях пленных и интернированных в Польше выходило пять разных изданий, включая ежедневную газету. Местом издания четырех из них дан город Торунь (Торн). Во вторую часть указателя попало только одно издание военнопленных чинов РОА. Это литературный журнал «Русская Мысль», выпущенный в лагере Дахау. Он помечен январем 1946 года. Трагический месяц. В начале января лагерь узнал о предстоящих выдачах. Прокатилась первая волна самоубийств. 10 убили себя. 20 попали в госпиталь. Во время выдачи, в кровавое воскресенье 29 января, 24 человека покончили с собой. Почти все остальные, около двухсот, были ранены или при

попытке к самоубийству, или при сопротивлении выдаче. Всего в лагере Дахау находилось около 270 чинов РОА.

Во втором томе не так поражает разносторонность изданий, которая обнаружилась уже в первом томе, как неожиданность городов и стран выпуска. Брисбэн, Ужгород, Сидней, Печоры, Тяньцзинь, Бендеры, Тегеран, Салоники, Сан-Пауло соседствуют с общеизвестными центрами русского рассеяния. Даже «Вестник» Русского объединения, выходивший в Каире в 1931 году, не вызывает особого удивления. В 1920-22 годах в Египте существовали лагеря русских беженцев. Не удивляет и «Парагвай», аполитический орган, выходивший в Парагвае в 1933-35 годах. Это было время переселения туда русских.

Но когда натыкаешься на «Наш Отдых», выходивший в Аддис-Абебе в 1930-31 годах, то разводишь руками. Кто, как и для кого его издавал. И, пожалуй, еще большей загадкой кажется «Бюллетень» Русского благотворительного общества, выходивший на Филиппинах в 1937 году.

Сколько труда, терпения, поисков и времени вложено в этот указатель, трудно даже себе представить. Работа, проделанная М. В. Шатовым и Н. А. Хэйлем, неоценима. Первый раз за полстолетия русская зарубежная периодика переписана и запечатлена на бумаге. Это та основа, по которой впоследствии будет написана история Зарубежной России.

Насколько мне известно, издание последних двух томов указателя «Полвека русской периодики» обеспечено. Будем надеяться, что М. В. Шатову и Н. А. Хэйлу удастся также выпустить уже подготовленный к печати указатель «Полвека русской книги».

Ю. Сречинский

К. С. ПЕТРОВ-ВОДКИН О ЖИВОПИСИ

Долгие годы в СССР замалчивалось творчество художника К. С. Петрова-Водкина, которое с трудом укладывалось в рамки социалистического реализма. Теперь понемногу начинается «реабилитация» этого весьма своеобразного художника. В 1966 году появилась монография В. И. Костина о работах Петрова-Водкина, а в 1970 году переизданы его книги, ставшие давно библиографической редкостью. Это «Самаркандия», издания 1923 г., «Хлыновск», 1932 г. и «Пространство Эвклида», 1933 г.

Петров-Водкин родился в 1878 г. в Хвалынске на Волге. Незаурядные способности и поддержка двух меценатов выдвинули его еще в начале века в ряды передовых русских художников. В последние годы жизни он был профессором Академии Художеств, где ста-

рался утвердить свою особую программу преподавания. Скончался Петров-Водкин в Ленинграде в 1939 году.

В своем искусстве он связывал национальные традиции с поисками новых путей. Его особенно привлекала древняя русская иконопись.

«Есть люди, — говорит о нем художник Конашевич, — которые все явления окружающего мира воспринимают как-то совсем по-своему. Я имею в виду Петрова-Водкина. О чем бы он ни заговорил... он ко всему подходил с какой-то совершенно неожиданной стороны».

Основное качество живописи Петрова-Водкина — это полное пренебрежение к внешней красивости. «Пусть первое впечатление от картины будет даже колющим», говорил он. Поиски сущности предметов, желание постигнуть пространство, освоить его и связать с космическими понятиями видимы во всех его работах, будь это портрет, фигура, пейзаж, натюрморт. Еще в детстве он был поражен величием Исаакиевского собора и вспоминает об этом так: «...меня странно поразило ощущение масштабности, соотношения меня маленького с огромностью кубатуры здания. Трудно передать сущность этого пространственного ощущения, ...я его искал потом, оно меня толкало всю жизнь на поиски соотношений форм, могущих воспроизвести такое ощущение планетарного порядка».

Приведу некоторые выдержки из его писем. Они отчасти осветят понимание Петровым-Водкиным современных ему задач живописи. Далеко не всегда его предвидения в области искусства оправдывались, но тем не менее осмысливание им современной живописи весьма интересно. Краткие пояснения к письмам помогут понять их содержание. Мой знакомый был учеником Петрова-Водкина и, храня добрую память о своем профессоре, отправил ему из Риги продовольственную посылку, ибо в 1919 году жители Петрограда голодали. В ответ на полученную посылку Петров-Водкин пишет:

«Наконец-то получил милую Вашу посылку с чудесными сухарями, которыми не нахвалимся и которые (Вы знаете сами) так кстати для нашей голодовки. Посылка, видимо, шла около месяца; получили в полной сохранности. После благодарности прибавлю: не забывайте нас и впредь. В Академии работаем, несмотря на все трудности, программа двигается, хотя и не в том масштабе, в каком хотелось бы... Живем здесь на слухах и на голоде... Устал я дьявольски от невозможности спокойно работать у себя. Весной думаю обязательно уехать на Волгу в Хвалынский, м.б. там удастся отдохнуть за эти три года».

Среди рижан, почитателей искусства Петрова-Водкина, возникла мысль — уговорить его приехать в Ригу. В 1922 г. Петров-Водкин отвечает: — «Соберусь непременно написать Вам подробно по во-

просу искусства — особенно европейского, а сейчас... только хочу сообщить — как видите, поездка моя в Ригу отложена на неопределенное время и посему, если Вас и друзей Ваших м.б. не затруднит, — используйте посылки Нансена или какие есть; заранее шлю благодарность мою и жены. Бог поможет — рассчитаемся хотя бы в обмен на мою работу».

Но все же в начале 1924 г. Петров-Водкин решает посетить Францию, где он раньше бывал, и по пути остановиться в Риге. Он пишет: — «...весной в апреле этого года собираюсь поехать за границу — жене нужно лечение, а мне наконец-то нужно ознакомиться с теперешним состоянием искусства в Европе и, если удастся, поработать и самому. Путь такой: прежде всего хотелось бы застрять немного в Риге, м.б. устроить выставку, доклады об искусстве и т.д., а потом двинуться дальше... Академию более или менее удалось наладить по моей программе, хотя и сильно искажаемой, и если отдельные группировки художников не разбазарят Академию, она встанет прочно... Сейчас или весной в Америке открывается выставка русских художников, куда я дал несколько солидных вещей».

В другом письме Петров-Водкин добавляет: — «О статье об искусстве — попытаюсь написать в середине марта — уж очень занят, а если не соберусь — напишу по приезду в Ригу».

Наконец, летом 1924 г. Петров-Водкин приехал с женой в Ригу, пробыл недолго, но успел все же прочитать доклад о живописи, в котором указывал на необходимость постоянной связи художника с космическим началом.

В августе 1924 г. Петров-Водкин попал, наконец, в Париж, откуда пишет: — «Париж — чудесный город — встретил меня сурово. До сей поры еще не устроился ни с мастерской, ни с квартирой... Но город (я уже забыл за 15 лет) — какой он поразительной красоты. Как в родной въехал в него... Все, кого видел здесь, предсказывают мне большие трудности с заработком. Французов еще никого не видел. Был только в Лувре. Непокоем, потому что еще не начал работать».

Несколько позднее Петров-Водкин снова пишет: — «Мне в Париже до сей поры не везет ни с мастерской, ни с квартирой... А мысль у меня на зиму открыть мою Академию в Париже — это говорят очень желательно, и желающих много... Париж снаружи весь высмотрел и снова вспомнил. Был в музее Люксембург, где ничто не порадовало — даже Сезанн. Матисса думал встретить лучшим. Может быть в Орне поработаю! На-днях должен войти в гущу французских живописцев... Пришлю Вам несколько рисунков из Орна, а если нужно и статью... Видел народу пропасть, да все только шушеру».

В декабре 1924 г. Петров-Водкин пишет из Версаля: — «...Больших вопросов касаться не буду, очень будет длинно. С генералами от живописи не встречался еще лично, но работы, имеющиеся в Париже, кажется все знаю. Два раза был в Осеннем Салоне. Также встречался и с профессурой академической. Уйма впечатлений, а главное — самому хочется работать. Не повезло мне с мастерской. Живу в гостинице и работаю при неимоверно плохих условиях. Но работаю много. Долго писал с натуры Собор Парижской Богоматери — кончил. Рисую в альбом тушью парижское, пишу натюрморт и небольших размеров «большую» вещь. Материально очень трудно, но Бог помогает. Продал издательству серию рисунков (право печатания) из России. Выйдет альбомом с латинским текстом. Обещают выпустить к Рождеству, но тянут и верно опоздают. Сделал обложку в Берлин для «Die Dame» — пишут — очень довольны и заплатили щедро. Вот на это пока и скрипим с семьей понемножку... До невероятия здесь много русских, особенно на Монпарнасс и потому — как в провинции — все друг друга знают и мешают. Трудно уединиться. Вобщем в Париже уйма иностранцев, и в сущности есть не французское искусство, а искусство во Франции: японцы, русские и немцы больше всех на виду по работам. Много евреев, и я бы сказал, что их коричнево-земно-серый колорит сильно влияет и отражается на здешней живописи, они же и немцы действуют и на сюжетное углубление, и сюжет воскресает здесь. Во Франции начало передвижнической эпохи — при мастерстве французов это будет любопытно. Пикассо № 1-й, это последний могикиан, единственный, доведший до острия волны проблему культуры европейской живописи. Прюно (ученик Пикассо) — это спад волны в голый эстетический романтизм. В кризисе спроса на живопись сказывается мировой кризис — это утешительно для нас в России, но еще больше убедился здесь, что в этом виновата сама живопись — *она отстала* от эмоций, науки и мышления, она профессионально щекочет нас, профессионалов, но *не действует* на массы... Вот этими вопросами делюсь с Вами спешно, мимоходом, бездоказательно, может показаться, но Вы знаете, как мною ощущается будущее живописи. И не подумайте, что я сам достиг чего-либо в этом направлении — нет, я барахтаюсь, как щенок в луже, и чувствую себя беспомощным перед огромностью задач».

К сожалению, дальнейшие письма Петрова-Водкина мне не известны. Искренние признания большого русского художника показывают в нем отсутствие всякой гордости и сознание скромного места, занимаемого им в общем развитии мировой живописи.

Е. Климов

Виктор Петров. Колумбы российские. Вашингтон. 1971 (195 стр.)

Теперь когда странные пожары на Форту Росс грозят полностью уничтожить один из уже немногих памятников Русской Америки, следует особенно приветствовать появление интересной, живо написанной книги проф. В. Петрова. Названием для нее послужила часть слегка измененной строки из эпитафий, выгравированных на памятнике Григорию Шелихову в Иркутске, в которых и Державин и поэт Дмитриев назвали этого отца Русской Америки «Колумбом Русским».

Но не «именитый рыльский гражданин», совершивший в конце 18-го века три путешествия к берегам Америки и положивший начало заселению русскими Аляски и Алеутских островов, является главным героем повести. Ему и его жене, красавице Наталье Алексеевне, сопровождавшей мужа в его трудных и опасных странствиях, бывшей первой белой женщиной, ступившей на берега северо-западной Америки и возведенной императором Павлом уже после смерти мужа в дворянское достоинство, посвящены лишь немногие страницы.

Центральной фигурой повествования стал легендарный Александр Андреевич Баранов, о ком в его время в Петербурге ходили самые легендарные слухи как о выскочке-мещанине, проводившем русскую политику в Америке якобы с исключительной жестокостью и стяжательством. Говорили, что Баранов нагребил миллионы рублей за время своего пребывания на Алеутских островах и Аляске, но «люди, побывавшие на Кадьяке, кардинально меняли свое мнение и преисполнялись уважением к этому необыкновенному человеку» (стр. 156).

В своей повести В. Петров постарался объективно нарисовать сложный образ крутого управляющего делами Шелиховской компании, ставшего правителем Русской Америки в тяжелейших условиях голодного быта и непрестанной физической опасности, опиравшегося только на горсточку русских сотрудников, из которых вернейшим был «молодой бухгалтер Иван Кусков, впоследствии правитель русской колонии Росс на берегах Калифорнии» (стр. 67).

«Почти сразу же по прибытии на Кадьяк, Баранов ясно увидел, что на обещания Шелихова надеяться нельзя было не потому, что Шелихов пытался обмануть его, а потому, что, несмотря на все свои усилия и искреннее желание, Шелихов просто физически помочь ему не мог» (стр. 11). И вот Баранов, обладавший большой силой воли и настойчивостью, сметливый, находчивый, человек настоящего государственного ума, к тому же и редкого бесстрашия, суровый и властный, крутой рукой повел дело. Нет жалости к окружающим, нет жалости и к себе самому, уже немолодому, замученному ревматизмом в этом сыром климате.

Страницы повести — яркие картины нечеловеческого труда и лишений и самого Баранова, и его сподвижников. В. Петров показывает, насколько положение обострялось и глубокими распрями между Барановым и членами Духовной миссии архимандрита Иоасафа — вражда зашла так глубоко, что монахи даже часто отказывались служить литургию, когда Баранов появлялся в церковке (стр. 81). Особенно озлобляло монахов «греховное сожительство» Баранова с молодой дочерью могущественного вождя индейского племени кенайцев, которую им все же удалось обратить в православие и даже сделать фанатически преданной новой вере. В повести многократно приводятся письма Иоасафа с жалобами на правителя и на обстановку, царившую тогда на Кадьяке, как и жалобы не очень твердого в грамоте Баранова на членов духовной миссии и на трудность своего положения.

Неожиданными союзниками монахов оказались мореходы, посланные в помощь Баранову водить суда и собирать меха; особой ненавистью пылал к Баранову штурман Талин, образованный морской офицер, дворянин, не желавший подчиняться «купчишке». В повести ярко показаны затруднения Баранова в отношении мореходов, либо неопытных, губивших суда, либо непокорных, призывавших и русских «промышленных» и особенно алеутов к неповиновению Баранову. Как противоположность им Виктор Петров живо воссоздает образы корректного и доброжелательного Ю. Ф. Лисянского, умело поддерживавшего Баранова в его борьбе с индейцами, а также молодых офицеров Хвостова и Давыдова. Поступление их на службу Российско-Американской компании сразу изменило дело, а пожалование «купчишке» чина коллежского советника и назначение его главным правителем колоний в Америке поставило Баранова в положение, когда все мореходы стали, наконец, обязаны считаться с его приказами.

Проф. Петров не забыл подчеркнуть тот важный факт, что Баранов не продал ни одного ружья, ни одной пули индейским племенам Америки, хотя это могло принести ему большую личную выгоду, и строго запрещал подобные дела, преследуя за них иностранных торговцев.

Но скрестить оружие с индейцами русским пришлось не раз. Главы 8-12 отчетной повести посвящены яркому описанию постройки форта Михайловского на острове Ситка, нападению на него воинственного индейского племени тлинкитов, трагедии на Ситке и возмездия — походу Баранова и его людей на Ситку, поддержанному силами фрегата «Нева» под командой Лисянского. Во многих местах книги В. Петров обвиняет англичан в уничтожении форта.

Приходится пожалеть, что автор не снабдил свое повествование указанием источников использованных им и не привел, хотя бы в

конце книги, списка печатных трудов и рукописей, из которых он почерпнул исторические данные.

Книга заканчивается в мажорном тоне — описанием закладки Новоархангельска и роста его благополучия, а также сценой заключения дружбы с индейским вождем Котлеаном, так долго бывшим заклятым врагом русских.

Написанная живым языком, без излишней архаизации его, книга порой грешит неоправданными модернизмами.

Повесть Петрова, потребовавшая большой исследовательской работы, освещает настолько интересные моменты в истории Америки и России, что можно от души пожелать автору осуществить ее повторное издание, где автор мог бы исправить некоторые мелкие недочеты.

Татьяна Фесенко

Boris Kriukow. Edicion Olga Gurski. Buenos Aires, 1977. 77 репродукций, частично в красках. Текст (с иллюстр.) на испанском, украинском и английском языках.

Имя Бориса Ивановича Крюкова (1895-1967) было известно всему читающему и любящему искусство Киеву. Ученик Федора Кричевского, он окончил в 1918 году Киевскую Высшую Художественную школу. С 1923 года и до второй мировой войны Крюков, заслуженно считавшийся одним из лучших украинских графиков, принимал участие во всех художественных выставках Киева и Харькова и, не покладая рук, трудился над оформлением более чем 500 книг иностранных и украинских авторов для таких крупных издательств, как «Культура», «Державне видавництво України», «Книго-спілка», «Слово» и др.

Помню, как в голодном и разрушенном Киеве времен войны, мы радостно ухватились за возможность побывать на открывшейся там художественной выставке, где всеобщее внимание привлекала картина Б. Крюкова «Прodelки Бахуса». Однако только из вступления к отчетной книге, изданной в Аргентине при помощи друзей вдовой художника, Ольгой Гурской-Крюковой, я узнала, что эта картина, хоть и отмеченная надписью «не для продажи», была все же бесцеремонно забрана немецким офицером в высоком чине, утверждавшим, что современный художник не мог написать такую вещь, и, следовательно, она «украдена из Эрмитажа»!

В каких бы условиях ни жил художник, он упорно продолжал свою творческую работу. Так, в Гмюндене, в Австрии, где семья Крюковых провела четыре года, (1944-1948), Б. И. создал серию портретов и картин, находящихся теперь в частных собраниях и государственных галереях Австрии. В 1948 г. Б. Крюков с семьей

переселился в Аргентину, и уже в следующем году в Буэнос-Айресе состоялась первая выставка его работ. Такие выставки имели место в этом городе в 1951, 1952, 1954, 1956, 1958, 1965 и 1967 годах. Имя Б. Крюкова становится все более известным не только в Южной, но и в Северной Америке: в 1956 г. он принимает участие в выставке книжной графики в Торонто, в 1963 г. выставляет свои работы в Украинском Литературно-художественном клубе в Нью-Йорке, в 1964 г. принимает участие в выставке Объединения художников в Америке, состоявшейся в Нью-Йорке. Затем уже следуют посмертные выставки в Нью-Йорке и Монреале в 1969 году.

Вступительный текст к отчетной книге включает тщательно собранные отзывы о работах Крюкова, появившиеся в разные годы в украинской прессе разных стран, а также отзывы аргентинской печати. Многие из отзывов принадлежат перу компетентных людей, отметивших своеобразные черты этого оригинального мастера — широкий диапазон в выборе тем, цветовое богатство палитры, вечные поиски новых приемов и любовь к сюжетам, связанным с давно прошедшими временами.

К сожалению, нет в книге оценки работы Б. И. Крюкова, относящейся к периоду его жизни в СССР. Эта тщательно подготовленная книга посвящена, в основном, образцам того, что художник создал за годы эмиграции: с 1949 г. и до своей смерти в 1967 г. В частности, Б. Крюков пользовался заслуженной славой как иллюстратор многочисленных книг, выпущенных украинскими (эмигрантскими), немецкими, аргентинскими, канадскими и северо-американскими издательствами. Чрезвычайно удачны были его иллюстрации к серии «Незабвенные классики», выпускавшейся аргентинским издательством «Атенео», над которыми Б. Крюков работал больше десяти лет. Перелистывая помещенные в отчетной книге репродукции, можно только поражаться разнообразию техники и стиля иллюстраций к таким различным по духу произведениям, как «Тысяча и одна ночь», фантастические рассказы Эдгара По, «Дон Кихот» Сервантеса, поэмы Кеведо, «Божественная комедия» Данте, романы Анатоля Франса, Эмиля Золя... О проникновенном подходе к творчеству тех авторов, произведения которых довелось иллюстрировать художнику, свидетельствует хотя бы тот факт, что Борис Крюков удостоился в 1964 г. премии на мировом конкурсе в Мадриде за иллюстрацию к «Дон Кихоту». Недаром в заметках, найденных после смерти художника, среди которых была и «Моя анкета», Крюков на вопрос — «кто я по национальности», ответил: — «украинец, но чувствую себя гражданином всего мира».

Гейне Цернаск, видный аргентинский журналист, в статье, посвященной памяти художника («Ля Насион», март 1968 г.), писал: — «Борис Крюков умер в марте 1967 года. Но... действительно ли он

умер?... Где-то там его картины, рассеянные по всему свету, где-то там его загадочные карнавальные фигуры, где-то там его картежники, сосредоточенные в ожидании; молодая красавица, погружившаяся в чтение; воин, ведущий галантный разговор с двумя дамами; где-то там его козаки с веселой усмешкой на лице. Они танцуют, поют, живут. И Борис Крюков живет в них».

Татьяна Фесенко

ОДА «БОГ» ДЕРЖАВИНА

Интерес к поэту «Фелицы» и «Жизни Званской» в России жив, еще с легкой руки Тынянова. Издаются сборники статей, напр., «Державин и Карамзин», Л. 1969 г. В хрестоматию по XVIII веку, изд. 1970 г. включена и ода «Бог». Однако, ни в России, ни за границей мне не известен и краткий анализ существа этой единственной во всей русской поэзии хвалы Творцу такого размера и силы. В СССР сие, конечно, нечто запретное, за границей — неинтересное. Только Архимандрит Константин,* указал, на ветхозаветный тон восприятия Бога у Ломоносова и Державина. Восторженно — величав гимн поэта Творцу и неистов его порыв ввысь. Совсем недавно размышляя над книгами Гейзенберга и А. Креси Моррисона я поразился сходностью ряда мыслей ученых XX века и поэта самоучки XVIII века. Есть в оде «Бог» некая непреходящая современность, раскаленность души. Трижды принимался поэт за свою оду и троекратность вдохновения была равной во всей оде. Конечно же, Державин — сын своего времени. Оды Ломоносова — «Утреннее размышление о Божием величестве» и «Вечернее размышление» — откликнулись в стихах Державина.

Ломоносов сравнивает громадность солнца со Всевышним: она — «как искра пред Тобой одна». Он же говорит о бездне, которую пронизывает один Господний взор. Ода заканчивается словами, сходными опять с державинскими: «И на Твою взирая тварь, хвалить Тебя, Бессмертный Царь». В «Вечернем размышлении» подчеркнута бездонность небес и бесчисленность миров: «Открылась бездна звезд полна, Звездам числа нет, бездне дна». Сравните у Державина: «Светил возженных миллионы, В неизмеримости текут... Тебе числа и меры нет». Думая о безграничности вселенной Ломоносов заключает: «Скажите ж, коль велик Творец». В других одах он называет Создателя «Ужасный чудными делами, Зиждитель мира искони...» Есть у обоих и чувство радости перед силой человеческой мысли, перед значением науки. Не менее важно для понимания всей конструкции

* См. книгу, «Лекции по истории русской словесности». 1968.

оды «Бог» — ее превосходная и вместе архаичная лексика Библии. Сравните в первой строфе у Державина «Дух всюду сущий и единый... Кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет», и молитву Царю Небесный: «Душе истины, иже везде сый и вся исполняй». Царем Небес назван Господь и у поэта. Державин говорит сходно с Библией о создании Богом света; Бог создает и человека по Своему подобию («по образу и по подобию своему») Державин замечает: «Во мне Себя изображаешь, Как солнце в малой капле вод». По Библии же говорится и о духах света и о Троичности: «в трех лицах Божества». Важны и слова, образы, сравнения из ряда Псалмов, особенно — 8, 23, 61, 73, 92 и 103. Вот, один-два примера: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро». У Державина: «Твоей премудрости я тварь». Далее — «Но что́ (есть) человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его перед Ангелами, славою и честью увенчал его». Державин: «Я — связь миров, повсюду сущих, я крайня степень вещества, я — средоточие живущих, черта начальна Божества». Бог для поэта — «Душа души моей и Царь». Псалом же 73: «Боже, Царь мой отвика». и т. д.

Есть в православном богословии отдел трактующий понятие Бога в терминах отрицания: Вечный, Вневременный, Бесконечный, Неисследимый, Непостижимый и т. д. К Богу не приложимы наши вещноограниченные понятия. Так в основном и построена вся ода Державина: «Неизъяснимый, Непостижный!... Не могут духи просвещенны, От света Твоего рожденны, Исследовать судеб Твоих...» Сама Троичность Божества, говорит нам в примечании Державин, видна во вселенной: «Три Лица метафизические, то есть, бесконечное Пространство, непрерывную Жизнь в движении вещества и неокончаемое течение Времени, которые Бог в Себе совмещает». Это мысль весьма глубокая и выражена она с предельной силою в оде «Бог». Десять первых вводных стихов есть горячее воззвание — призыв, а десять стихов заключения новое славословие Бога в том же напряжении голоса поэта. Самые первые стихи словно вопль восторга: Тут, будто, удар колокола и перезвон — «О, Ты, пространством бесконечный, Живой в движеньи вещества...» А через край всей оды льется неумолчный, звонкий гимн Творцу и Его творению: «Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю, я царь — я раб, я — червь — я Бог!»

Наши ученые современники (напр., Гейзенберг А. Креси Моррисон) видят во вселенной, в космосе присутствие Бога, а Гейзенберг и личного — Сверхличного Господа. Моррисон приводит и свои и чужие доказательства бытия Божия в книге «Человек не одинок» (1970 г.). В основном их бы можно свести к следующим пунктам: Жизнь не могла образоваться случайно, Творческий Разум обнару-

живается в законах вселенной, в инстинкте у животных и в «изобретательности Жизни». Да и сам человек с его верой и разумом не есть результат случайности. И вот, если сравнить многие из доказательств бытия Бога в книге Моррисона, то почти все они, в той или иной форме, упомянуты в оде нашего Державина 1784 года. Но эти мысли выражены поэтическим языком взволнованного сердца и ума поэта. И после Державина нет ни у нас, ни на Западе такого стихотворения по его силе размаха, глубине, мелодике и вдохновению. И напрасно сказал Пушкин о Державине: «Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы». Гениальная ода лучшее опровержение. О себе справедливо и с правом сказал певец Фелицы:

«О Муза, возгордись заслугой справедливой
И презрит кто тебя, сама тех презирай!
Непринужденною рукой, неторопливой
Чело свое зарей бессмертия венчай».

Р. Плетнев

ПИСЬМО Н. Е. АНДРЕЕВА Р. Б. ГУЛЮ ОБ «АВГУСТЕ 1914-го»

Глубокоуважаемый Роман Борисович,

Сегодня утром я получил Вашу замечательнейшую работу о Солженицыне. Благодарю Вас за внимание. Я прочитал Вашу работу уже дважды (сам немедленно по получении и «вопреки рассудку», ибо отложил «неотложимое», а — затем — вслух днем, в ожидании research students, моей жене, полностью разделившей мои определения Ваших наблюдений, как «единственных в рост с Солженицыным и — выше его — по культуре и знанию века»). Позвольте не только Вас поздравить, но и поблагодарить от имени «внимательных читателей», ибо то, (и как) Вы сказали, и есть подлинная критика, помогающая писательской работе и вносящая ясность в ряд подробностей «Августа 14-го», беспокоивших читателей, но не всегда ими осознанных. «Похвалы во что бы то ни стало» не нужны великому писателю. И если Солженицын оказал доверие эмиграции, именно Вы сказали то, что ему важно услышать в его «советской изоляции» (к несчастью, едва ли не все советские люди, в той или иной мере, теряют ощущение «пропорции эпох» и «чувства стиля»). Мое горячее пожелание, чтобы Ваша работа дошла до Ал. Ис... Если Солженицыну предстоит создать еще «узлы» (кстати, «узлы» — это от Ремизова: «В человеческой памяти есть узлы и закруты, и в этих узлах-закрутах «жизнь» человека, и узлы эти на всю жизнь...»), ему необходимо знать то, что Вы с такой ясностью и наглядностью показали. Я в восхищении и как историк: всю мою академическую

жизнь я стараюсь показать ошибочность того отношения к России, которое — увы — столь часто оказывается общим для советских и западных историков. Ваши замечания на тему европейскости *правового* строя России, высокого уровня «капиталистов», карикатурности некоторых подчеркиваний Солженицына (его «степняк» мне напомнил... Хрущева!), Ваши наглядные уроки этикета и терминологии (частично она — продукт II-й Мировой): «не в бровь, а в глаз».

И, конечно, мне крайне ценно и дорого, что Вы ощутили *почвенность* Солженицына в его отношении к России, — это есть и мое ощущение (см. мою фразу в Послесловии к Отчине).

Я полностью разделяю Ваши чувства в отношении *явления* Солженицына и именно поэтому благодарен Вам сердечнейше за нелицеприятность Вашей критики, вдумчивой, меткой и конструктивной, — помогающей и направляющей в *методах* писательской работы.

Преданный Вам Ник. Андреев

ОТ РЕДАКЦИИ

К сожалению в эту книгу не вошли некрологи Г. И. Газданова, Н. Турова (Н. Ф. Тизенгаузена) и Б. В. Сергиевского.

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- Марина Цветаева.* Лебединый стан. Перекоп. 2-е изд. под ред. Г. Струве с вступ. статьей Ю. Иваска и тремя приложениями. ИМКА-пресс. Париж. 1971 (167 стр.). Ст. орф.
- Вячеслав Иванов.* Собрание сочинений. Под ред. Д. Иванова и О. Дешарт. Введение и примечания О. Дешарт. Том I. Foyer Oriental Chrétien. Bruxelles. 1971 (pp. 871).
- Роман Гуль.* Читая «Август Четырнадцатого» А. И. Солженицына. Изд-во Rausen Publishers. New York. 1971 (p. 32).
- Николай Бердяев.* Миросозерцание Достоевского. ИМКА-пресс. Париж. 1968 (238 стр.)
- Ж. Медведев и Р. Медведев.* Кто сумасшедший? Изд. Макмиллан. Лондон. 1971 (163 стр.)
- «Вперед!» (1873-1877).* Том I. Очерк истории «Вперед». Том II. Документы. Edited by Boris Sapir. Reidel Publishing Company. Dordrecht. Holland 1971 (pp. 403-556).
- Процесс четырех.* Сборник матер. по делу Галанскова, Гинзбурга, Добровольского, и Лашковой. Составление и комментарии П. Литвинова. Фонд имени Герцена. Амстердам. 1971 (634 стр.).
- Поэма России.* Стихи и песни советского подполья. Предисл. арх. Иоанна С. Ф. 1971 (51 стр.).
- Иньяцио Силоне.* Судьба одного бедного христианина. Перев. с итал. И. Альберти. Вступ. статьи И. Хау и В. Вейдле. Неаполь. 1971 (294 ст.).
- Е. Олицкая.* Мои воспоминания. Т. I и II. Изд. Самиздата. Перепечатано изд. «Посев». Франкфурт н/М. 1971 (270 и 318 стр.).
- Мих. Булгаков.* Пьесы. Адам и Ева. Багровый остров. Зойкина квартира. Имка-пресс. Париж. 1971 (252 стр.)
- Джордж Орвелл.* Памяти Каталонии. Изд-во Сены. Париж. 1971 (312 стр.)
- Ю. М. Лотман.* Структура художественного текста. Вступ. статья Т. Виннера. Браун Университи Пресс. Провиденс. 1971 (381 стр.).

- М. Горький.* Несвоевременные мысли. Статьи 1917-18 г.г. Составление, введение и примечания Г. Ермолаева. Изд-во Сены. Париж. 1971, (304 стр.).
- Крейн Бринтон.* Истоки современного мира. История западной мысли. Перев. с англ. В. Франка. Изд-во «Аврора». Рим. 1971 (467 стр.).
- А. Шарагин.* Туполевская шарага. Изд. «Посев» Франкфурт н/М. 1971 (124 стр.).
- В. С. Соловьев.* Собрание сочинений. Томы 11 и 12. Изд. «Жизнь с Богом». 1971 (стр. 460 и 673 стр.).
- Прот. Н. Афанасьев.* Церковь духа святого. ИМКА-пресс. 1971 (332 стр.).
- Alexander Solzhenitsyn. The Major Novels.* By Abraham Rothberg. Cornell University Press. Ithaca. 1971 (pp. 215).
- California Slavic Studies.* V. 6. Editors R. Hughes, S. Karlinsky, V. Markov. University of California Press. Berkeley. 1971 (pp. 175).
- Aleksis Rannit. Sõrmus.* Eesti Kirjanike Kooperatiiv. Lund. 1971.

НОВАЯ КНИГА:

Роман Гуль
«ЧИТАЯ 'АВГУСТ 1914-го'
А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА»

С ПОРТРЕТОМ СОЛЖЕНИЦЫНА

Первый подробный разбор знаменитого последнего романа
А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Цена 1 дол. 50 ц. Книготорговцам обычная скидка

Заказы направлять:

RAUSEN PUBLISHERS AND DISTRIBUTORS,
124 West 72 Street, New York, N. Y. 10023 Tel. (212) 874-1547

Вышло второе издание (первое распродано) книги:

Надежда Мандельштам
«ВОСПОМИНАНИЯ»

В книге 432 стр. В изящном переплете

Цена 7 дол. Книготорговцам обычная скидка.

Заказы направлять:

RAUSEN PUBLISHERS AND DISTRIBUTORS,
124 West 72 Street, New York, N. Y. 10023 Tel. (212) 874-1547

Готовится к печати четвертое исправленное издание:

Роман Гуль
«АЗЕФ»

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

RAUSEN PUBLISHERS AND DISTRIBUTORS,
124 West 72 Street, New York, N. Y. 10023 Tel. (212) 874-1547

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ



ТРИДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1972 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1971 год 15 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 4 доллара
Во Франции — 15 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня
